АЙ ВЭЙВЭЙ
1000
ЛЕТ
РАДОСТЕЙ
И ПЕЧАЛЕЙ
АНО
АЛЬПИНА НОН-ФИКШН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания одного из самых влиятельных художников и активистов современности Ай Вэйвэя на фоне драматических событий истории Китая последних ста лет. Сын выдающегося китайского поэта Ай Цина, подвергшегося репрессиям в годы «культурной революции», Ай Вэйвэй разделил судьбу семьи в изгнании и теперь, воскрешая в памяти картины страшного детства, пытается осмыслить связь времен. Он рассказывает о собственном схожем опыте переживания насилия и унижения, о непростом решении оставить семью, чтобы изучать искусство в Америке — где позже подружился с Алленом Гинзбергом, был вдохновлен творчеством Энди Уорхола и работами Марселя Дюшана. Откровенно и остроумно он описывает подробности своего возвращения на родину и становления — от никому не известного художника до суперзвезды мирового искусства и международного правозащитника, показывая, как на его творчество влияла жизнь в условиях авторитарного режима.

- Ай Вэйвэй
  -
  -
  - Глава 1. Прозрачная ночь
  - Глава 2. Сердца пылают
  - Глава 3. Снег падает на землю Китая
  - Глава 4. К солнцу
  - Глава 5. Новая эпоха
  - Глава 6. Мечта садовника
  - Глава 7. С крайнего северо-востока на крайний северо-запад
  - Глава 8. Весь мир ваш
  - Глава 9. Свободнее ветра
  - Глава 10. Демократия или диктатура?
  - Глава 11. «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
  - Глава 12. Перспектива
  - Глава 13. FAKE-дизайн
  - Глава 14. Сказка
  - Глава 15. «Гражданское расследование»
  - Глава 16. Нарушение спокойствия
  - Глава 17. Праздник речного краба
  - Глава 18. Восемьдесят один день
  - Глава 19. Живи же как следует, в полную силу
  - Послесловие

- Благодарности
- Описания иллюстраций
- Об авторе
- О переводчике с китайского языка на английский
- Источники иллюстраций
- Фотографии
- Рекомендуем книги по теме

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53

Ай ВЭйВЭй

1000 лет радостей и печалей

Перевод с английского

АНО
АЛЬПИНА НОН-ФИКШН

Москва, 2023

Ай Вэйвэй
1000 лет радостей и печалей

Переводчик *Дарья Алюкова*
Научный редактор *Юлия Дрейзис, канд. филол. наук*
Редактор *Роза Пискотина*
Издатель *П. Подкосов*
Руководитель проекта *М. Ведюшкина*
Ассистент редакции *М. Короченская*
Художественное оформление и макет *Ю. Буга*
Корректоры *Т. Мёдингер, Ю. Сысоева*
Компьютерная верстка *А. Ларионов*
Дизайн обложки *Ай Вэйвэй*

© 2021 by Ai Weiwei
Th is edition published by arrangement with Crown, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2023

* * *

Посвящаю эту книгу своим родителям и сыну

Городище Цзяохэ

Как караван проходит навылет город,
гомон людской обнимает трещотки верблюдов,
Так же шумны улицы и базары,
повозки рекой, коней вереницы — извивы дракона.

Но нет — великолепный

дворец
уже обратился в руины.
От тысячи лет радостей и печалей
нет и следа.

Живущий — живи же как следует, в полную силу,
Не жди, что земля будет помнить[1].

Ай Цин, 1980 год

Глава 1. Прозрачная ночь

Прозрачная ночь.
…Безудержный хохот летит с края поля…
Толпа выпивох
бредет, спотыкаясь, к уснувшей деревне…[2]

Строки из стихотворения «Прозрачная ночь», написанного моим отцом в шанхайской тюрьме в 1932 году

Я родился в 1957 году, через восемь лет после образования «нового Китая». Моему отцу было сорок семь. Пока я рос, он редко говорил о прошлом, потому что все было окутано густым туманом господствующей политической риторики и за любую попытку разобраться в фактах грозила такая расплата, о которой и подумать страшно. Чтобы соответствовать требованиям нового порядка, китайцам приходилось мириться с увяданием духовной жизни и невозможностью называть вещи своими именами.

Прошло полвека, прежде чем я стал об этом задумываться. Третьего апреля 2011 года, когда я собирался сесть в самолет в аэропорту Пекина, на меня налетел рой полицейских в штатском, и следующие восемьдесят один день я провел в темнице. Будучи в заключении, я стал размышлять о прошлом — в частности, я думал о своем отце и пытался представить, каково было ему восемьдесят лет назад в тюрьме для политзаключенных. Я понял, что почти ничего не знаю об этом его суровом испытании и никогда не проявлял особого интереса к тому, что он пережил. Мое детство пришлось на время, когда от яркого, всепроникающего света государственной пропаганды наши воспоминания исчезали, словно тени. Воспоминания казались тяжелой ношей, и лучше всего было разделаться с ними раз и навсегда; вскоре люди потеряли не только желание, но и способность помнить. Когда вчера, сегодня и завтра сливаются в одно размытое пятно, память — помимо того, что она таит опасность, — вообще не имеет особого значения.

Мои детские воспоминания по большей части разрозненные. Когда я был маленьким, мир представлялся мне в виде

разделенного экрана. На одной его стороне с тросточками в руках вышагивали американские империалисты в смокингах и цилиндрах, а за ними семенили приспешники: британцы, французы, немцы, итальянцы и японцы, а также гоминьдановские реакционеры, засевшие на Тайване. На другой стороне стоял Мао Цзэдун в окружении подсолнухов, символизирующих народы Азии, Африки и Латинской Америки, которые стремились к независимости и освобождению от колониализма и империализма; именно мы олицетворяли свет и будущее. На пропагандистских картинках лидера Вьетнама дедушку Хо Ши Мина сопровождали бесстрашные молодые вьетнамцы в бамбуковых шляпах, с ружьями, наведенными на пролетающие над ними американские военные самолеты. Нам каждый день рассказывали истории их героических побед над разбойниками-янки. Между двумя сторонами экрана зияла непреодолимая пропасть.

В те времена информационной изоляции личный выбор напоминал ряску на воде, зыбкую и лишенную корней. Воспоминания, не подкрепленные личными интересами и привязанностями, иссыхали, трескались и рассыпались: «Для собственного освобождения пролетариат должен сначала освободить все человечество», как тогда говорили. После всех потрясений, пережитых Китаем, от подлинных эмоций и личных воспоминаний остались жалкие крохи, а их с легкостью вытеснила риторика борьбы и перманентной революции.

К счастью, мой отец был литератором. В своей поэзии он описывал чувства, спрятанные в глубине души, пусть даже эти ручейки честности и прямоты не находили выхода, когда многочисленные политические события неслись бурным потоком. Сегодня все, что я могу, — это подобрать раскиданные повсюду обломки, оставшиеся после шторма, и попытаться сложить их в единую, хотя и неполную картину.

В год моего рождения[3] по воле Мао Цзэдуна разразилась политическая буря — кампания по борьбе с «правыми элементами», нацеленная на зачистку «ультраправых» интеллектуалов, критикующих правительство. Водоворот, поглотивший отца, перевернул и мою жизнь, а его последствия я ощущаю на себе по сей день. Отец был главным «правым элементом» среди китайских писателей, так что его отправили в ссылку для принудительного «трудового перевоспитания» — так пришел конец относительно безбедной жизни, которую он вел после смены власти в 1949 году. Сначала нас загнали в дикие ледяные степи у северо-восточной границы страны, а потом перебросили в город Шихэцзы, что в Синьцзяне, у подножия гор

Тянь-Шань. Как лодочка, укрывающаяся от тайфуна, мы нашли там приют, пока политические ветры не сменили направление снова.

Затем в 1967 году «культурная революция» Мао вступила в новую фазу, и отец, которого теперь считали идеологом буржуазной литературы и искусства, опять оказался в черном списке идеологических врагов вместе с прочими троцкистами, отщепенцами и антипартийными элементами. Мне уже было почти десять лет, и последовавшие за этим события навсегда остались в моей памяти.

В мае того года наш дом навестил один из главных революционеров-радикалов Шихэцзы. Он сказал, что отец слишком хорошо устроился, а теперь его отправят в отдаленное полувоенное производственное поселение на «перевоспитание».

Отец ничего не ответил.

«Чего смотришь, ждешь прощальной вечеринки?» — осклабился тот.

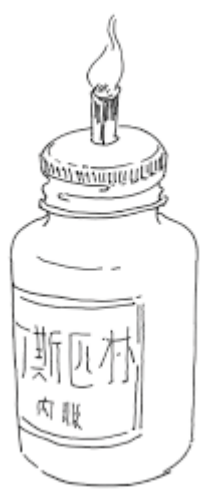
Вскоре у входной двери нашего дома затормозил армейский грузовик. Мы загрузили в кузов кое-что из простой мебели и груду угля, а поверх — скатанные в рулоны постельные принадлежности. Больше у нас ничего и не было. Начал накрапывать дождь, отец занял место на переднем сиденье, а мы со сводным братом Гао Цзянем забрались в кузов и уселись на корточки под брезентом. Пункт нашего назначения находился на окраине пустыни Гурбантюнгут, которую местные называли «маленькой Сибирью».

Вместо того чтобы поехать с нами, мать решила вернуться в Пекин с моим младшим братом Ай Данем. Она провела в изгнании целых десять лет и была уже немолода, так что и думать не могла о переселении в еще более дикую глушь. Дальше Шихэцзы она уезжать не хотела. Сохранить семью не было никакой возможности. Я не стал умолять мать отправиться вместе с нами или оставить братика. Я промолчал — не попрощался и не спросил, вернется ли она когда-нибудь. Не помню, как скоро они пропали из виду, когда грузовик отъехал от дома. Мне было все равно, оставаться или уезжать, — в любом случае решать было не нам.

Грузовик мотало из стороны в сторону, пока он пробирался по этой бесконечной грунтовой дороге, усеянной ямами и промоинами, и пришлось вцепиться в раму кузова, чтобы меня не подбрасывало в воздух. Порыв ветра подхватил лежавший рядом коврик и за считаные секунды унес прочь — он исчез в облаке пыли, поднятой нашим грузовиком.

После нескольких часов ужасной тряски машина наконец остановилась на краю пустыни. Мы прибыли на место: в Синьцзянский военный производственно-строительный корпус, 8-ю сельскохозяйственную дивизию, 23-й полк, 3-е отделение, 2-ю роту. Это было лишь одно из многих подобных учреждений, появившихся в 1950-х годах в приграничных районах Китая. Цели у них было две. В мирное время работники производственно-строительного корпуса могли обрабатывать землю, культивируя ее и собирая урожай, что способствовало росту экономики страны. А если бы Китай вступил в войну с одним из соседних государств или же случились бы волнения среди этнических меньшинств, работникам предстояло военизироваться и участвовать в обороне страны. Как нам пришлось убедиться на своем опыте, такие подразделения иногда выполняли дополнительную функцию: становились домом для неугодных властям людей, выдворенных из их родных домов по всему Китаю.

Сгущались сумерки, и над чередой приземистых домиков раздавались звуки флейты. Несколько молодых рабочих стояли снаружи, с любопытством разглядывая нас. Комната, в которую нас поселили, была абсолютно пустой, за исключением двуспальной кровати. Мы с отцом внесли туда маленький стол и четыре стула, привезенные из Шихэцзы. Пол был земляной, стены — из саманного кирпича с торчащими пшеничными стеблями. Я смастерил простую масляную лампу: налил керосин в пустую аптечную бутылочку, проткнул крышку и продел через нее обрывок шнурка.



Мой отец был очень неприхотлив, от жизни ему требовалось

только одно — возможность читать и писать. Обязанностей у него тоже было немного. Мать сама выполняла всю работу по дому, не ожидая от нас помощи. Но теперь мы остались втроем — отец, Гао Цзянь и я; а наша жизнь на новом месте возбуждала любопытство у других рабочих — простых «бойцов военизированной фермы», которые стали задавать бесцеремонные вопросы. «Это твой дед?» — спрашивали они меня. Или: «Скучаешь по матери?» Со временем я научился сам вести хозяйство.

Я попытался сделать печку, чтобы мы могли согреваться и кипятить воду. Но печной дым выходил откуда угодно, только не из трубы, так что от всей этой возни у меня мучительно болели глаза, я задыхался, пока наконец не сообразил, что нужен свободный доступ воздуха к топке. Были и другие домашние дела: принести воду из колодца, забрать еду из столовой, подкинуть дров в печь, выгрести из нее золу. Кто-то должен был это делать, и чаще всего этим кем-то оказывался я.

Казалось, что между нашей прошлой и нынешней жизнью порвана всякая связь: ничего общего, кроме закатов и рассветов. Наше существование превратилось в бесконечный курс выживания в дикой природе, и неизвестно было, удастся ли нам выжить. Фасад здания производственной роты выходил на север, на пустыню размером со Швейцарию. Увидев ее впервые, я пришел в такой восторг, что побежал по голому песку и остановился, только когда запыхался. Затем я распластался по земле и стал смотреть в бесконечное синее небо. Но восторг быстро прошел. Под безжалостными лучами солнца на поверхности пустыни не было ни тени: соляное плато было таким белым, что казалось покрытым толстым слоем снега. Каждый порыв горячего ветра приносил сюда верблюжьи колючки, которые вместе с песчинками соли впивались мне в кожу, как иголки.

Прошлое работников было загадочным и темным, и этот приграничный регион помогал им оставить его позади. Этих людей уже забыли в родных местах, и они жили здесь и сейчас. Многие из них принадлежали к заклейменным «пяти категориям дискредитировавших себя слоев населения» — помещикам, кулакам, контрреволюционным элементам, преступникам и «правым». Или это были дети представителей «пяти категорий», как я. Встречались отставные военные, а также молодые люди, нежелательные в родных городах, либо беженцы из нищей китайской глубинки. Здесь, по крайней мере, они могли спастись от голодной смерти, обрабатывая пустую землю и выращивая урожай, достаточный для их пропитания.

Моего отца поначалу определили в отряд лесников. Чтобы изолировать его и ограничить тлетворное влияние на других, ему приказали в одиночку подрезать деревья и выдали секатор и пилу. Высаженные в хозяйстве вязы и лохи еще ни разу не подрезали, и они так разрослись, что напоминали скорее кустарник, чем деревья. Овцы обглодали и ободрали их стволы, а боковые ветви торчали во все стороны. Но отца новая работа вскоре увлекла — он любил деревья и радовался возможности находиться подальше от людей.

А я по утрам отправлялся на занятия, которые вел один на всю школу учитель в единственном классе, где, кроме меня, было еще шесть-семь второклассников и третьеклассников. В нашей роте не предлагали образования для детей постарше, так что мой брат Гао Цзянь, старше меня на пять лет, ходил в среднюю школу в другом подразделении производственного корпуса — там он и жил как школьник интерната.

Когда занятия заканчивались, я брал термос и отправлялся в долгий-долгий путь к отцу. Издали я наблюдал, как он ходит вокруг дерева, подравнивая ветки то тут, то там, а потом отступает на пару шагов и проверяет, симметричны ли стороны. Когда он наконец замечал меня, ему требовалось несколько секунд, чтобы расслабиться. Помню, как однажды он вытер пот со лба, жадно глотая принесенную мной воду, а потом протянул мне отпиленную ветку вяза. Он предусмотрительно отполировал ее, убрав все сучки и неровности, так что она стала гладкой и блестящей, как древний жезл.

В центре штаба роты находилось здание актового зала с пятиконечной звездой на фасаде, поблекшей и превратившейся из ярко-алой в ржавую. Здесь, в производственном корпусе, актовый зал выполнял ту же функцию, что святилище у наших далеких предков. Такие залы теперь можно встретить повсюду в Китае: на фабриках и в коммунах, в государственных учреждениях, школах и армейских частях. Над сценой висел портрет Мао, с Марксом и Энгельсом по левую сторону, Лениным и Сталиным — по правую, с обращенными в зал лицами и устремленными вдаль взглядами.

Независимо от того, насколько тяжелым был трудовой день, каждый вечер после ужина устраивали собрание. Под ярким светом ртутной лампы 240 рабочих и члены их семей расставляли

по залу табуретки и садились слушать политинформацию с анализом политических процессов на национальном уровне. В те времена, когда политика вторгалась во все сферы жизни, человек должен был каждое утро запрашивать инструкции председателя Мао перед началом работы или учебы, а в конце дня проводился аналогичный ритуал: председателю Мао докладывали о том, как прошел трудовой или учебный день. Политрук давал указания: как нужно следовать политическому курсу, осуществлять политику партии и исполнять решения и директивы высшего руководства, а также изучать марксизм-ленинизм и маоизм. После этого начальник оценивал результаты трудового дня и распределял задания на завтра.

Обычно тех, кто подпадал под «пять категорий», вызывали на сцену, где им полагалось покаянно склонить головы перед сидящими внизу. Даже если было очевидно, что мой отец присутствует, председатель все равно кричал: «Крупный правый элемент Ай Цин здесь?» Обращаясь к моему отцу, люди обычно добавляли «крупный» к слову «правый», ведь он был известным и влиятельным писателем. Однажды его даже обозвали «буржуазным романистом» — что странно, ведь прославился он все-таки как поэт. Но аудитории не было никакого дела до того, кем он был и чего достиг. Все сказанное на собрании рассматривалось как стандартная процедура и при этом в высшей степени разумная, ведь революции враги были нужны, иначе в народе зрело бы недовольство.

Когда отца вызывали, он вставал с табурета, пробирался через толпу и занимал свое место на сцене; он отвешивал низкие поклоны, каясь в преступлениях, а на его лоб падали волосы. На мгновение аудитория затихала, а потом снова погружалась в привычную беззаботность: дети носились по залу, мужчины обменивались похабными шутками, а женщины кормили грудью младенцев, или вязали, или же сплетничали, щелкая семечки.

Если начальник на сцене говорил: «А теперь пусть крупный правый элемент Ай Цин выйдет», отец поспешно выходил из зала. Он никогда не знал заранее, выпроводят его или нет. Все зависело от того, пришла ли от председателя Мао новая директива, которую потребуется довести до аудитории. Если она приходила, то людям вроде моего отца присутствовать запрещалось.

На заре «культурной революции» директивы от председателя Мао передавали почти каждый день или каждый вечер. Ротный секретарь записывал их под диктовку по телефону слово в слово, строчку за строчкой, а потом на вечерних собраниях их публично зачитывали. Эти сообщения выполняли примерно такую же

функцию, как ночные твиты Дональда Трампа в пору его президентства. Это была прямая передача мыслей лидера его преданным последователям для поддержания священного статуса его власти. В случае Китая эти заявления превосходили трамповские и требовали полного повиновения. Стоило им прозвучать, как в ознаменование мудрости Мао раздавалась разноголосица барабанов и гонгов, наполняя слушателей энергией. Здесь, как и по всей стране, такие сцены разыгрывались каждый день, и оглашение «последних» директив продолжалось еще много лет.

Как нам говорили, «культурная революция» была «новой стадией углубления и расширения социалистической революции», «революцией, трогающей людей до глубины души». Ставилась цель «низложить власть имущих, идущих дорогой капитализма, подвергнуть критике буржуазные реакционные академические „авторитеты“, равно как идеологию буржуазии и всех эксплуататорских классов, провести реформу образования, культуры, а также всех элементов надстройки, не соответствующих социалистическому экономическому базису, в интересах консолидации и развития социалистической системы». В годы моего детства повседневная жизнь была насыщена такими вычурными выражениями, и, хотя их смысл ускользал, похоже, они обладали гипнотическим, даже наркотическим эффектом. Все были ему подвержены.

Актовый зал служил также и столовой. Каждый день во время трапезы отцу полагалось вставать при входе и бить в старую эмалированную миску, объявляя во всеуслышание, что он «правый элемент» и преступник. Вскоре все привыкли к этому зрелищу, и рабочие просто проходили мимо, не замечая его, и становились в длинную очередь к окну раздачи. Им полагалось протягивать туда свою тарелку и талон на еду и цитировать председателя Мао, после чего повар накладывал порцию еды. Повар тоже произносил эту цитату в унисон, подтверждая свою приверженность делу революции. Наша жизнь была театром, и каждый на автомате играл отведенную ему роль: если бы отца не оказалось на его обычном месте у входа в столовую, это могло быть знаком приближения более серьезной беды, и люди могли встревожиться.

В те времена унылой рутины и нехватки продуктов все помыслы людей крутились вокруг кухни, пусть даже день ото дня ничего там не менялось. Каждое утро повар смешивал кукурузную муку с теплой водой и помещал тесто в решетчатый ящик площадью в квадратный метр, затем пять таких ящиков ставил в чугунный котел и полчаса держал на пару. Когда он

снимал крышку, вся кухня наполнялась паром, и повар нарезал кукурузные хлебцы по вертикали и горизонтали. Получались четырехугольные куски по двести граммов. Он публично взвешивал эти кусочки, дабы продемонстрировать свою беспристрастность. Один и тот же кукурузный хлеб подавали каждый день, кроме 1 мая (Международного дня труда) и 1 октября (Дня образования КНР) — в эти праздники на хлебцах появлялся тонкий слой красной глазури из сахара и, вероятно, из ююбового повидла. Если кому-то случалось обнаружить в своем хлебце кусочек ююбы, это вызывало некоторое возбуждение. Вокруг было раздолье кукурузных полей, но мы ни разу не ели свежую кукурузную кашу — только зерно из «военных запасов», которое хранилось неизвестно сколько, — от него саднило горло и несло плесенью с бензином.

Каждому из нас (отцу, Гао Цзяню и мне) полагалось только пособие в 15 юаней в месяц, что в то время составляло чуть больше 5 долларов. Так что наш совокупный месячный доход составлял 45 юаней, тогда как обычному рабочему платили 38,92 юаня. Отец курил дешевые папиросы, которые стоили пятерку за пачку и едко пахли паленой шерстью. Папироса часто гасла после пары затяжек. Из-за них в отцовской военной телогрейке появилось еще больше дыр. Спички считались стратегическим ресурсом, и каждой семье выделяли по коробку в месяц. Спички частенько заканчивались раньше, и мне приходилось ходить за огоньком к соседям, чтобы разжечь печку.

Ради экономии отец перешел на табак, который выращивала наша рота. Мы скручивали трубочки из старых чеков и набивали их измельченными табачными листьями. Каждый вечер я помогал отцу скрутить около двадцати папирос и аккуратно уложить их в бело-голубую фарфоровую банку, которая неведомым образом пережила набеги хунвэйбинов на наш старый дом. Крышка с ушком была из чистого серебра, а на самой банке был изображен мостик над ручьем и мальчик-слуга с цинем, а рядом — скалистый обрыв, низко склонившие ветви ивы и домик с соломенной крышей и приоткрытым окошком. Сияние белого фарфора и синего кобальта освещало даже самый темный угол.

Когда наступала ночь и на пшеничные поля опускалась непроглядная тьма, насекомые стрекотали без умолку. Мы с отцом садились по разные стороны столика, а масляная лампа отбрасывала на стены за нашими спинами тени — одну большую, одну маленькую. В голове у меня зачастую было так же пусто, как и в комнате, — ни фантазий, ни воспоминаний, и мы с отцом сидели, словно чужие, которым нечего сказать друг другу. Нередко я просто неотрывно смотрел на дрожащий огонек лампы.

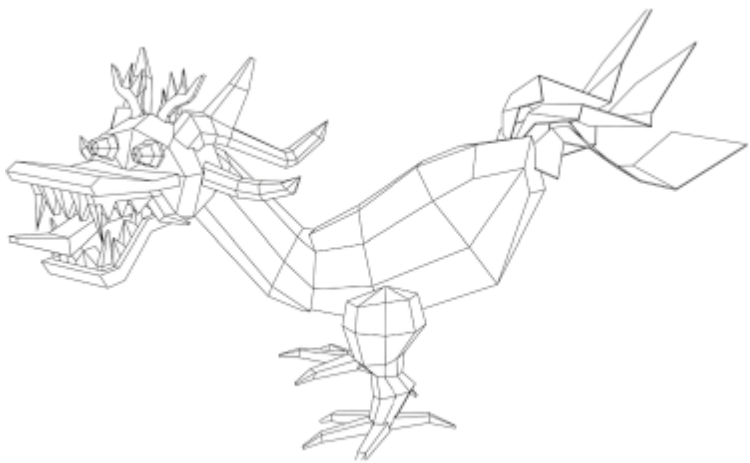
Но иногда, когда я уже начинал клевать носом, отец погружался в воспоминания и принимался рассказывать о прошлом. Постепенно я переносился в места, где он бывал, встречал мужчин и женщин, которых он знал, и узнавал кое-что о его влюбленностях и браках. Пока он говорил, меня будто и не было рядом. Его рассказы, казалось, имели одну цель: добиться того, чтобы не иссяк поток воспоминаний. Здесь, в «маленькой Сибири», оторванность от внешнего мира сближала нас, а материальные лишения влекли за собой изобилие другого рода, что предопределило мой дальнейший жизненный путь.

Глава 2. Сердца пылают

Появление моего отца на свет было непростым. Во время беременности бабушке приснился странный сон, в котором ее ребенка выбросило на берег небольшого острова посреди бушующего моря. Родственники и друзья согласились, что это дурной знак, и моя двадцатилетняя бабушка, которая тогда еще исповедовала буддизм (позже она приняла католичество), каждый день воскуривала фимиам и молилась о счастливом исходе. Однако тревога не отступала. Схватки продолжались два дня и две ночи, словно испытывая ее на прочность. Но наконец за шелковым балдахином кровати, украшенной красным лаком и позолотой, раздался пронзительный крик новорожденного.

Дед уже придумал ему имя, говорящее не только о месте мальчика в череде поколений, но и о моральном авторитете и социальном статусе семьи. Подобно тому, как на лаковый сосуд крепится кусочек перламутра, имя надлежало аккуратно вписать в генеалогию семьи, и оно неведомыми путями должно было влиять на будущее его носителя. Имя отца звучало как Хайчэн, где «хай» (海) означало «море», а «чэн» (澄) — «хрустально-чистое».

Отец родился в семнадцатый день второго лунного месяца второго года правления Сюаньтуна (27 марта 1910 года). В соответствии с китайским народным календарем этот день совпадал с весенним равноденствием, когда день равен ночи, а вся природа радуется пробуждению.



В деревнях считается, что дети, родившиеся в тот год,

появились на свет, оседлав хвост дракона. И действительно — через восемнадцать месяцев в трехстах милях оттуда, в городе Учан, прогрессивные элементы из числа военных устроили переворот, положивший начало революции 1911 года. Вскоре южные провинции Китая стали одна за другой отделяться от империи Цин. В 1912 году империя Цин официально прекратила существование, а с ней закончился и двухтысячелетний период феодального самодержавия.

В глазах суеверных людей тяжелые роды были зловещим предзнаменованием. Через двенадцать дней, когда бабушка поправилась достаточно, чтобы принимать гостей, дедушка по тогдашним обычаям позвал предсказателя. Тот первым делом поинтересовался точным временем рождения ребенка, а потом спросил год, месяц, день и час рождения каждого из родителей. Затем он стал проверять координаты по большому компасу, который принес с собой.

После долгого и напряженного процесса сбора данных предсказатель огласил ошеломительный прогноз: новорожденный станет проклятием для родителей, и, если те вырастят его в своем доме, он «принесет родителям смерть». Они трактовали это так, что ребенка должен растить кто-то за пределами семьи. Радость от появления младенца сменилась ужасом, что он может принести несчастье. Даже если мальчик доживет до совершеннолетия, поведал предсказатель, ему лучше никогда не называть родителей отцом и матерью — только дядей и тетей.

Серьезность и мрачные предчувствия прорицателя глубоко впечатлили моих предков. Его толкование ситуации казалось столь же прочным и незыблемым, как мебель вокруг, и это зловещее пророчество отпечаталось на судьбе моего отца, как родимое пятно.

Отец, конечно же, ничего не знал о визите вещуна. Он спокойно лежал в бамбуковой колыбельке, закутанный в одеяло, на котором были вышиты слова «Десять тысяч радостей», и лишь бугорок на голове напоминал о долгих и тяжелых родах.

Отец родился в семье землевладельца в деревне Фаньтяньцзян, что в северо-восточном уголке тогдашнего округа Цзиньхуа, входящего в приморскую провинцию Чжэцзян. Бабушка и дедушка умерли до моего рождения, но, судя по двум сохранившимся фотопортретам, они очень походили друг на друга. Если бы не борода деда, их было бы не различить: и у мужа, и у жены круглые лица, высокие лбы, зачесанные назад волосы и выпуклые глаза с чуть опущенными уголками. Аккуратная одежда, добрые лица.

В своей деревне примерно в сотню домов мой дед Цзян

Чжунцзунь считался культурным человеком. Свой кабинет он называл «кабинетом стремления к совершенству» и развесил по нему свитки с написанной им самим каллиграфией, что подтверждало его тягу к саморазвитию. В гостиной висела деревянная табличка с вырезанной надписью: «Блаженство в семейных узах», что в целом отражало его взгляды.

Дед владел лавкой, торговавшей соевым соусом, и магазином, где продавались импортные продукты, и, помимо этих дел, он тратил много времени на то, чтобы следить за текущими событиями и читать новые книги. Он был подписан на *Шэньбао* — газету на китайском языке, которую основал живущий в Шанхае уроженец Лондона. Если какой-нибудь житель деревни желал узнать, что творится в мире — например, каково положение дел на войне Китая с Японией, — он мог догадаться по одному только выражению лица моего деда. Дедушка также любил сосредоточенно изучать атлас мира, с интересом следил за новыми достижениями в прогнозировании погоды и читал «Эволюцию и этику» Томаса Гексли.

В деревне он считался сторонником реформ и одним из первых отрезал косу, бывшую символом подчинения ханьцев власти маньчжуров во времена Цин. Он разрешил женщинам своей семьи не бинтовать ноги и отправил двух дочерей учиться в христианскую школу, основанную Стеллой Релья — миссионеркой при Американском баптистском обществе иностранных миссий, которое в те времена насчитывало четверть миллиона последователей в Китае. Дед также состоял в Международном сберегательном обществе — французском банке в Шанхае. Доверить свои сбережения банку считалось тогда очень смелым шагом.

Моя бабушка, Лоу Сяньчоу, происходила из знатной семьи из соседнего уезда Иу. После моего отца она родила еще семерых детей, трое из них умерли в детстве, так что у отца было два брата и две сестры. Добросердечная и щедрая, бабушка часто угощала наемных работников то горстью дынных семечек, то арахисом. Студенты, жившие по соседству, захаживали в их дом почитать газеты и журналы, а также поболтать с ней. Она не умела ни читать, ни писать, но декламировала по памяти некоторые стихи эпохи Тан и народные песенки, а также обладала необычайным чувством юмора.

В 1910-м, в год рождения моего отца, бабушке едва исполнился двадцать один. Империя Цин приближалась к закату своего правления, длившегося 266 лет, а в России оставалось всего семь лет до свержения монархии и прихода советской власти. В тот год умерли Лев Толстой и Марк Твен, а Эдисон в

далеком Нью-Джерси к тому времени давно изобрел фонограф. В Сянтане, в провинции Хунань, семнадцатилетний Мао Цзэдун еще учился в школе, а его первая жена, выбранная родителями по договорному браку, умерла за месяц до рождения моего отца. Но в Фаньтяньцзяне, как и многих других китайских деревнях, жизнь словно замерла, оставаясь ничем не примечательной и бесцветной.

Вскоре после того самого предсказания в одной крестьянской семье Фаньтяньцзяна родилась девочка, которую (по крайней мере, по одной из версий) сразу же утопила собственная мать, рассудив, что устроиться кормилицей в семью Цзян куда выгоднее, чем растить дочь, от которой мало проку в долгосрочной перспективе. Знаю, что звучит жестоко, но в те времена такое происходило нередко, да и сейчас случается.

Мать той малышки родилась в семье Цао из соседней деревни Даехэ (название переводится как «крупнолистный лотос»). Она попала в Фаньтяньцзян в качестве малолетней невесты одного из обедневших дальних родственников из большой семьи деда. Никто в Фаньтяньцзяне не потрудился узнать ее настоящее имя, и ее просто называли Даехэ — по названию ее родной деревни. Ей было тридцать три, когда она стала кормилицей моего новорожденного отца — таким образом она подрабатывала, чтобы обеспечить алкоголика-мужа и пятерых детей. Местные считали, что ей очень повезло так хорошо устроиться.

Дом Даехэ был в нескольких шагах от дома Цзянов. Он состоял из двух комнатушек с низким потолком и почерневшими от кухонного чада стенами, где стояли деревянная кровать да колченогий квадратный столик. Между черепицами крыши проглядывало небо, а каменная плита снаружи служила ей сиденьем, на котором она кормила младенца.

В этом крошечном домике отец проводил все дни и ночи, за исключением Нового года и других важных праздников, когда родители на несколько дней брали его к себе в дом.

Владения семьи Цзян состояли из главного дома с пятью комнатами и пары двухэтажных флигелей из дерева с перекладинами, карнизами и окнами, украшенными резьбой с изображением символов удачи и исторических сцен. Приятный и тихий в любую погоду дворик был вымощен темными плитами, а в каменной кадке у водосточной канавы росли орхидеи и декоративная спаржа. Дом деда и прилегающие к нему здания были выстроены в одном и том же стиле и из одних и тех же материалов. Среди них не было двух одинаковых, но строения тесно переплетались, подобно нитям парчовой ткани, образующим основу, суть которой — конфуцианство. В их

композиции воплощались созидание и недюжинное мастерство, демонстрирующие заведенный порядок, передаваемый от поколения к поколению веками.

В доме Даехэ отец лакомился сладкими рисовыми лепешками, копченой свининой и хрустящей выпечкой, начиненной молодыми листьями горчицы, которую он обожал. А потом сидел у Даехэ на коленях у огня и слушал истории. Она была всецело предана ему, и стоило мальчику позвать ее, бросала все дела и заключала его в объятия, прижимая свое опаленное солнцем лицо к его бледному личику. Даехэ наполнила его раннее детство теплом и любовью.

Цзиньхуа, крупнейший город района, лежал в котловине, окруженной со всех сторон холмами и рассеченной двумя реками, которые в конце концов сливаются и текут на север. Фаньтяньцзян находилась в двадцати пяти милях к северо-востоку от Цзиньхуа, на окраине уезда Иу. К северу от деревни виднелась Двуглавая гора, которая в определенном освещении озарялась теплыми красками. Из-под заросших колючками камней бил источник, а ниже по течению в глинистой почве, красной от оксидов железа, росли самые разные растения, в том числе бамбук, камфора, пихта и грецкий орех. Камелии, азалии, гранаты и османтусы также испещряли пейзаж.

Два древних камфорных дерева на пригорке встречали каждого, кто приходил в деревню. Понадобилось бы несколько человек, чтобы обхватить их необъятные стволы, а кроны за несколько столетий разрослись в широкий навес из листьев. В одном из деревьев было такое большое дупло, что дети забирались в него играть, а еще имелось углубление с прикрепленным изображением Будды. Жители деревни называли

это дерево Бабулей и приходили к нему в поисках благословения для их детей.

Отец поздно произнес свои первые слова, а ходить начал лишь к трем годам — в деревне некоторые считали его дурачком. В четыре года пришла пора учиться, и дед забрал его от Даехэ обратно домой. Мальчик стал жить с родителями. В 1915 году, когда ему исполнилось пять, в деревне открылась частная начальная школа, где уроки вел учитель, искусный в живописи и ремеслах. Это пробудило у отца интерес к изготовлению вещей своими руками. Он сделал из дерева миниатюрный домик с открывающимися дверками и окошками и смастерил волшебный фонарь — затейливый, как калейдоскоп. Однажды зимой, когда мать дала ему угольную грелку, чтобы погреть руки, он взял ее и принялся раскачивать из стороны в сторону, отчего угли стали шипеть и потрескивать — к восторгу и удивлению младших детей. Видя, как увлеченно мой отец мастерил поделки, дед насмешливо говорил: «Может, отправить тебя к беднякам в работный дом?» В те дни ремёсла не считались уважаемым занятием.

Находились у деда и другие причины для недовольства старшим сыном. Однажды воробей нагадил прямо деду на голову. Тот счел это дурным знаком и, дав сыну деревянную миску, велел сходить к соседям за специальным травяным чаем, чтобы «отвести беду». Однако отец даже и с места не двинулся, сочтя, что подобное поручение ниже его достоинства. Возмущенный непослушанием сына, дед схватил чашу и так сильно ударил его по голове, что рассадил кожу до крови.

Тетя (жена старшего брата деда) пришла в ужас, отвела мальчика в сторонку и пожарила пару яиц, чтобы утешить. «Если он тебя в другой раз побьет, — сказала она, — пожарю еще яиц, идет?» Отец кивнул. А потом сделал запись: «Отец побил меня — вот дикарь!» Дед обнаружил записку в одном из выдвижных ящичков и больше никогда не бил сына.

Детство отца никогда не было особенно счастливым, и чем дальше, тем напряженнее становились его отношения с родителями. Однажды отец сказал младшей сестренке: «Когда мама с папой умрут, я увезу тебя в Ханчжоу» (Ханчжоу — столица провинции Чжэцзян, расположенная в девяноста милях). Бабушка услышала это и позвала его в гостиную. Она взяла две связки монет из шкатулки с деньгами и повесила ему на шею со словами: «Если хочешь уехать, уезжай сейчас — нечего ждать нашей смерти». Пока мать отчитывала его, мальчик стоял молча. К тому времени он уже знал: однажды он уедет далеко-далеко, он увидит мир, такой, какого в его деревне никто никогда не видал,

и побывает в таких местах, о которых деревенские даже не мечтали.

Вскоре после окончания Первой мировой войны, весной 1919 года, союзники встретились на конференции в Версальском дворце около Парижа, чтобы обсудить условия мирного договора, и Китай принимал участие в числе стран-победительниц. Но на Парижской мирной конференции проигнорировали требование китайской делегации о восстановлении территориальной целостности, пожаловав вместо этого германские колониальные владения в Циндао и Шаньдуне Японии. Когда новости достигли Китая, по всей стране вспыхнули протесты.

Четвертого мая около трех тысяч пекинских студентов собрались на демонстрацию перед Тяньаньмэнь — величественными воротами у южного входа в Запретный город, — требуя защиты национального суверенитета и отстранения китайских чиновников, обвиненных в сотрудничестве с Японией. Эта волна национально-освободительных настроений, которую стали называть движением «4 мая», вскоре распространилась по всей стране. При этом китайские интеллектуалы, убежденные в необходимости культурных перемен в стране для искоренения отсталости и предотвращения дальнейшего унижения, стали агитировать за «господина Демократию» и «господина Науку» (обращение «господин» призвано был передавать почтительное отношение к наставнику), а также критиковать конфуцианство и традиционный нравственный порядок, лежащие в основе имперского правления. Они кричали: «Долой семейную лавочку Кунов!» (так пренебрежительно называли конфуцианскую идеологию[4]) — и призывали молодежь осознать, что Китай находится в кризисе, превознося свободу, прогресс и науку. Эти идеи уже влияли на местное образование в Цзиньхуа, и учебники в начальной школе, где учился отец, теперь прививали зачатки демократии и науки.

Вдохновившись Октябрьской революцией в России, группа китайских интеллектуалов во главе с Чэнь Дусю и Ли Дачжао стала пропагандировать марксизм-ленинизм. В июне 1921 года Ленин прислал в Шанхай делегата Коминтерна под псевдонимом Маринг для проведения первого съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Подготовка к съезду проходила в тревожной и напряженной атмосфере, и ее перенесли подальше от внимательных глаз Гоминьдана на судно на озере Наньху в Цзясине, городе в шестидесяти милях от Шанхая.

Впервые в программе партии появились такие понятия, как рабочий класс, классовая борьба, диктатура пролетариата,

упразднение системы капиталистической собственности и коалиция с Третьим Интернационалом. Документы съезда печатали на русском — возможно, из-за того, что китайских эквивалентов этих терминов еще не существовало. Помимо Маринга (голландского коммуниста, чье настоящее имя было Хендрикус Сневлит), присутствовал еще один иностранный делегат — советский гражданин Никольский, чья личность оставалась в тайне почти полвека, пока с подачи Горбачева российский архив не рассекретил его имя: Владимир Абрамович Нейман-Никольский. Обвиненный в шпионаже, в 1938 году по приказу Сталина он был расстрелян. Так началась долгая история Коммунистической партии Китая с ее взлетами и падениями.

В 1925 году в возрасте пятнадцати лет отца приняли в пансион Седьмой средней школы Цзиньхуа, расположенной в бывшем поместье одного из предводителей восстания тайпинов — величественном здании с просторным центральным залом. Это была школа для мальчиков, и большинство учеников происходили из семей обеспеченных мелких землевладельцев из близлежащих деревень. Под влиянием прогрессивных идей, захлестнувших страну, отец считал себя приверженцем западных демократических и республиканских ценностей и восхищался так называемой новой литературой — формой сочинительства, основанной на вернакуляре. Однажды на экзамене классу предложили написать эссе на классическом языке, а отец дерзко написал его на разговорном, озаглавив так: «У каждой эпохи — своя литература». Учителя это не впечатлило. «Незрелые идеи», — фыркнул он. Даже сегодня наивная отцовская проповедь литературы, подобающей своему времени, не снискала бы популярности.

Пока отец учился в школе, в возрасте сорока шести лет умерла Даехэ. Ее пятеро сыновей горько рыдали, и смахнул слезу даже муж, который частенько ругал и бил ее, стоило ему перебрать с выпивкой. Она прожила жизнь в бедности и все, что имела, покидая этот мир, — это трухлявый гроб. Но ранняя смерть означала, что больше ей не придется беспокоиться о том, что случится, когда умрет муж; или переживать о том, что старший сын стал бандитом; или горевать по второму сыну, убитому на войне; или раздумывать, чем будут зарабатывать ее третий, четвертый и пятый сыновья. Много лет спустя отец написал стихотворение в память о ее тяжелой, несчастной жизни: в нем кормилица мечтает, как придет на его свадьбу, а там красавица-невеста тепло назовет ее своей свекровью. Он тосковал по ней и признавал, насколько важную роль она сыграла в его детстве.

В школе отца все больше увлекало искусство. Под предлогом необходимости отлучиться в туалет он сбегал с математики и шел рисовать с натуры, возвращаясь лишь к самому концу урока. Когда он приезжал домой на летние каникулы, дед просил его присматривать за рисовыми полями, но вместо этого он вел младших братьев и сестер рисовать буддистский храм в полумиле от поля. Храм был построен в раннем Средневековье, и древние кипарисы во внутреннем дворике устремлялись высоко в небо. В главном зале стояла статуя пузатого Майтреи, а стишок над его головой гласил: «Все невместимое вместит большой живот, /Над всеми, кто смешон, смеющийся хохочет рот». В духе бунтарских настроений того времени мой отец как ни в чем не бывало помочился рядом с Буддой, чтобы продемонстрировать презрение к религии.

В мае 1925 года, когда он готовился к школьным экзаменам, тысячи шанхайских студентов высыпали на улицы, протестуя против плохого обращения с китайскими рабочими на японских предприятиях. Вооруженную полицию отправили арестовать протестующих, и днем 30 мая, когда студенты и местные жители вышли на демонстрацию и потребовали освободить арестованных, британские констебли открыли огонь. Более двадцати человек было ранено или убито. После этой кровавой расправы по всей стране вспыхнули протесты и бойкоты с требованием к государству упразднить колониальные форпосты иностранных держав на территории Китая. С середины XIX века западные страны создавали в своих китайских сеттльментах зоны, управляемые иностранцами, что нарушало суверенитет страны. В анклавах вроде Шанхайского международного сеттльмента и Шанхайской французской концессии такие администрации контролировали дела гражданского населения, сбор налогов, судебную систему, правоохранительные органы, образование, транспорт, почту и телекоммуникации, общественную инфраструктуру и коммунальные услуги, канализацию, даже размещали войска — фактически они были государствами внутри государства.

Школа в Цзиньхуа, где учился отец, проявляя солидарность с демонстрантами в Шанхае, инициировала движение. Ученики маршировали по улицам города, размахивая флагами, выкрикивая антияпонские лозунги и призывая рабочих бастовать, а торговцев — закрыть магазины. Они ломали вывески и били витрины, переворачивали вверх дном склады в поисках импортных товаров, поджигали сваленные в кучи на берегу реки британские и японские продукты. Вдохновленный

революционным духом отец решил отправиться в Гуанчжоу, чтобы поступить в Военную академию Китайской Республики. Когда дед узнал, что старший сын собирается бросить учебу, он так рассердился, что перестал с ним разговаривать. Учитывая непримиримую позицию деда, отец был вынужден отказаться от этой идеи.

В 1927 году шаткий союз между националистами и коммунистами вдруг развалился. В тот год, 12 апреля, когда соединения националистов дошли до Шанхая, их главнокомандующий Чан Кайши отдал приказ арестовать и казнить коммунистов, чьи успехи в мобилизации рабочих он воспринимал как угрозу своей власти. Вскоре ужесточение политики ощутили и в провинциальных городах вроде Цзиньхуа. Однажды утром директор школы велел ученикам собраться на спортивной площадке. Предлогом было обращение к ученикам с речью, но на деле школьное руководство просто хотело освободить общежития, чтобы обыскать их на предмет запрещенных предметов. Отец ускользнул и залез в свою комнату через заднее окно, чтобы вытащить оттуда книгу, которую тогда читал, — «О материалистическом понимании истории» Плеханова. Ему удалось незаметно выбросить ее в канаву. Эта размноженная на мимеографе книжка вдохновила его на изучение марксизма — учения, которое серьезно повлияло на его жизнь.

Осенью 1928 года, окончив школу, отец поступил на отделение живописи в новую Национальную академию искусств в Ханчжоу. Первый набор состоял из восьмидесяти учеников, и большая часть преподавателей получила образование за границей. В художественной академии отец нашел себе пристанище во времена политической нестабильности.

Ханчжоу славился красотой близлежащего озера Сиху, и при первой возможности отец складывал все необходимое в рюкзак и отправлялся туда рисовать. То в лесу у озера, то посреди холмов и полей он изображал приглянувшиеся виды, отдавая предпочтение приглушенным серым тонам. Он был прилежным студентом и любил природу так, как умеют только уроженцы сельской местности. На людях он держался особняком, но искренне сочувствовал бедным и страдающим. Героями его произведений часто были мелкие торговцы, лодочники и возницы, а также обедневшие жители крытых соломой домиков и их чумазые дети.

Утренние туманы и переменчивость озера Сиху вызывали у отца смутное ощущение одиночества и меланхолии, и он так и не прижился в Ханчжоу. В его жизни случился резкий поворот, когда

одну из его картин заметил Линь Фэнмянь — на тот момент двадцативосьмилетний директор художественной академии, который в начале 1920-х годов провел несколько лет во Франции. «Здесь ты ничему не научишься, — сказал отцу Линь. — Тебе нужно учиться за границей».

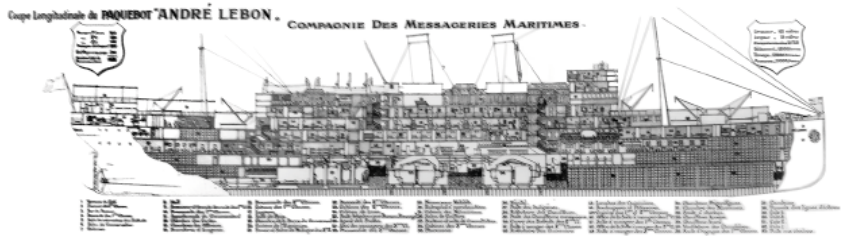
Мода на обучение в других странах началась с Движением самоусиления (1861–1895 годы), когда цинское правительство в условиях внешней и внутренней угрозы стремилось развивать производство, связь и финансовые услуги западного образца. Чиновники понимали, что если отправлять студентов учиться на Запад, это может сыграть решающую роль в овладении преимуществами западных технологий и науки. После Первой мировой войны Франция остро нуждалась в рабочей силе и стала принимать китайских студентов на программы, предусматривающие возможность совмещать учебу с работой. Некоторые из таких студентов — в первую очередь Чжоу Эньлай и Дэн Сяопин — впоследствии стали видными фигурами в Коммунистической партии Китая. В Европе, на родине марксизма, вдохновленная коммунизмом китайская молодежь принялась искать новые идеи и теории, которые могли бы решить проблемы их родной страны.

Совет Линь Фэнмяня произвел на моего отца сильное впечатление. Но чтобы отправиться учиться за границу, необходимо было убедить деда. Поехав домой на зимние каникулы, он взял с собой одного из учителей, чтобы тот помог повлиять на решение деда. «Если он отправится за границу, — сказал учитель, — то сможет по возвращении заработать много денег».

Дед был настроен скептически, но наконец сдался. Он поднял половицу и вытащил полный горшок серебряных долларов. В те времена в Китае такая монета была в цене: на один доллар можно было купить шестнадцать фунтов риса, шесть фунтов свинины, шесть футов ткани, а в некоторых местах даже небольшой участок земли. С мрачным видом дед дрожащими руками отсчитал восемьсот монет — достаточно, чтобы купить билет и прожить первые несколько месяцев во Франции, — а сам при этом втолковывал сыну, что тот обязательно должен потом вернуться. «Не слишком там увлекайся, не забывай родной дом».

В день отъезда, когда дед провожал моего отца до околицы, брусчатая мостовая была залита утренним солнцем. Отец вскоре выбросил из головы большие надежды, которые на него возлагал дед: все его мысли были только о предстоящем путешествии, и он с нетерпением ждал, когда наконец уедет подальше от этих неплодородных полей и бедной деревушки, чтобы начать свои

одинокие странствия на свободе.



«Андре Лебон»

Французский пакетбот «Андре Лебон» (André Lebon) был пришвартован к шанхайской пристани Шилюпу толстыми веревками, которые крепились за чугунные кнехты. Оливково-зеленый нос судна высоко вздымался над водой, и из двух кирпично-красных труб вырывался пар, скрывая из виду и берега, и расположенные вдоль реки лавки с западными товарами. От носа до кормы длина корабля составляла 528 футов — больше иной деревеньки, и его едва можно было охватить взглядом. Беспрерывно галдели торговцы, расхваливавшие свои товары, возницы-рикши, босоногие портовые грузчики, носильщики с тяжелыми чемоданами на плечах и путешественники всех мастей, груженные собственными пожитками.

В конце 1920-х годов в Шанхае проживало около трех миллионов человек — почти как в Лондоне, Нью-Йорке, Токио или Берлине. Пристань Шилюпу в 16-м районе построили, когда в городе только открыли порт для внешней торговли, и теперь она была самым оживленным и суетливым местом во всем Шанхае. Отсюда начинали свой путь и китайские рабочие, которых во время Первой мировой войны отправляли в Европу, и молодые люди, которые ехали туда учиться в послевоенные годы.

Отец был одним из нескольких сотен пассажиров, поднявшихся по сходням на борт «Андре Лебона». Отыскав место в третьем классе, он разместил свой багаж и художественные принадлежности, чувствуя себя рисовым жучком-долгоносиком в похожем на пещеру трюме судна. Его каюта была узкой и тесной, койки стояли близко друг к другу. Вскоре взревели двигатели, и жар машинного отделения, смешанный с запахами грузов, наполнил коридор густым ароматом. Раздался гудок парохода, и отец остался смотреть, как пристань постепенно исчезает из вида.

Пароход вышел из Шанхая днем 9 марта 1929 года. Он доплыл до Гонконга за два дня и три ночи, а потом пересек

Южно-Китайское море и на четыре дня остановился в Сайгоне для погрузки. В транспортной накладной навигационного журнала, который вел капитан Огюст ле Флек, значилось, что судно везет 20 220 мешков риса, 2958 мешков муки, 3941 упаковку резины, 562 мешка кофейных зерен, 1951 ящик чая, 477 мешков оловянной руды, 899 рулонов тканого шелка, 408 мотков шелка-сырца, 470 мешков перца, 300 мешков чернильных орешков и прочие товары общим весом в 3121 тонну. При виде кранов, грузивших в трюм корабля богатства колониальных портов, отец чувствовал нарастающее возбуждение, которое не покидало его все время, что он провел за границей.

К 27 марта корабль добрался до атолла Малику, что у южной оконечности Индии. Отец, поглощенный французской грамматикой, совершенно забыл о собственном дне рождения. Через четыре дня они доплыли до порта Аден, а оттуда направились к Джибути, что на Африканском Роге. Спокойно поднявшись по Красному морю, они прошли Суэцкий канал, и отец впервые увидел Средиземное море. Последний отрезок пути, сопровождавшийся штормами, привел их через Сицилию в Марсель в пятницу, 29 апреля 1929 года. Там мой отец сел на поезд до Лиона, до Парижа оттуда добраться было совсем просто.

В 1920-х годах Париж поражал приезжих шумом машин, трамваев и расширяющейся сети метро. Для молодого китайского студента, каким был мой отец, вероятно, стали откровением те свободы, которыми пользовались парижанки, позволявшие себе курить на публике, коротко стричь волосы, дерзко одеваться и заниматься спортом, не вызывая при этом особых критических замечаний. Известно, что Эрнест Хемингуэй вспоминал Париж 1920-х годов как «праздник, который всегда с тобой», но описанная Джорджем Оруэллом жизнь парижских трущоб представляла собой куда менее привлекательную картину: «Улица очень узкая — ущелье в массе громоздящихся, жутковато нависающих кривых облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотные „бистро“, где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась»[5]. Мой отец узнал бы Париж в описаниях Оруэлла и Хемингуэя, но его собственные воспоминания были иного рода.

Сначала отец вместе с несколькими друзьями решил ради экономии поселиться подальше от центра Парижа. Они нашли жилье в Фонтене-о-Роз, городе в шести милях к юго-западу от столицы, но имевшем с ним трамвайное сообщение. Там отец

поселился в доме француза по фамилии Гримм — грубоватого парня, который много пил и дал отцу его первую работу в магазине велосипедных принадлежностей. Позже он переехал в меблированные комнаты Hôtel de Lisbonne на улице Вожирар в VI округе. Комнатка была крошечная, и прямо через нее проходила шумная труба, зато обходилась она дешево. Хозяйка-португалка была женщина доброй души, из тех, что не скандалят, когда жилец задерживает арендную плату.

Отец с интересом исследовал музеи и галереи и каждый день отправлялся рисовать моделей в Atelier Libre на Монпарнасе, привлекавшее молодых художников вроде него низкой платой за вход. Ему удавалось точно схватывать движения простыми линиями. Ему нравились цвета и лиризм фигур и пейзажей Марка Шагала, и его завораживали дерзкие нововведения импрессионистов.

Работы Ай Цина, 1929 год

Одним из благоприятных последствий погружения в культурную жизнь Франции стало то, что его картину выбрали для участия в весенней выставке знаменитого Общества независимых художников, задававшего тон в искусстве. Это была небольшая картина маслом, изображавшая безработного, вдохновленная не столько политическими убеждениями, сколько его чувствами в качестве стороннего наблюдателя. Но то, что работу приняли на выставку, подняло его самооценку.

Единственное сохранившееся свидетельство о жизни отца в Париже — одна черно-белая фотография. Четыре парня стоят

рядом на лужайке, и среди них, слева от мольберта, мой отец с зачесанными назад волосами, с кистью и палитрой в руках — типичный молодой азиатский художник. По контрасту с крупной головой его тело кажется еще более худосочным, а глаза сосредоточенно и уверенно смотрят прямо в камеру.

За несколько месяцев он истратил все деньги. Дед еще дважды присылал ему переводы, но отказался продолжать, так что отцу, чтобы сводить концы с концами, пришлось найти работу на неполный день. Каждое утро в мастерской американца Дугласа он украшал портсигары, нанося на них имена покупателей. За утро он мог расписать двадцать портсигаров и заработать двадцать франков. Таким образом выходило шестьсот франков в месяц, и все оставшееся после уплаты пятидесяти за аренду и десяти с чем-то в день на еду он тратил на книги, художественные принадлежности и повседневные расходы. Но через несколько месяцев после биржевого краха 1929 года мастерская закрылась.

За время Первой мировой войны во Франции наняли около тридцати тысяч китайских кули для работы на нужды фронта. Как вспоминал один французский генерал, они были хорошими солдатами, стоически сносившими даже самые масштабные бомбардировки. Когда война закончилась, некоторые из них остались во Франции, так в Париже появился свой китайский квартал, где некоторыми ресторанами заправляли выходцы из Вэньчжоу — прибрежного городка неподалеку от Цзиньхуа. Всех китайских экспатов, независимо от места рождения или количества лет, проведенных во Франции, объединяло пристрастие к китайской кухне, и они регулярно наведывались в эти рестораны.

Однажды отец ел в китайском ресторане и заметил в противоположном углу другого парня-азиата с тонким лицом, острым подбородком и копной волос. Любопытство отца подстегнуло то, что этот посетитель засиделся после еды и все время поглядывал то на часы, то на улицу. Отец понял, что у того не хватает денег, так что подошел и оплатил его счет, а из ресторана они вышли уже вместе. Так началась многолетняя дружба.

Парня звали Ли Южань. Он родился в провинции Чжэцзян, как и мой отец, и был старше его на четыре года. Он изучал философию в университете и куда более активно участвовал в политической жизни. Являясь членом европейской ячейки Коммунистической партии Китая, он публиковал статьи в *Чигуане* — прогрессивном журнале, который за десять лет до этого создал Чжоу Эньлай.

Ли проводил отца до Hôtel de Lisbonne и увидел, что в его комнатушке вещей всего ничего: несколько фотоальбомов, сборники поэзии да кучка художественных принадлежностей. Его тронуло, что отец заплатил за его еду, хотя и сам нуждался, и впечатлило, насколько тот был предан искусству. С того дня они стали делиться заработанными деньгами, а при необходимости брали в долг на стороне, чтобы помочь друг другу. Отец рассказывал Ли Южаню об искусстве, а тот поощрял его читать больше философских и литературных произведений. Отца не интересовала учеба в университете, но он с радостью ходил с Ли Южанем на публичные лекции, где зачастую развлекался тем, что зарисовывал лысого профессора.

Почти пятьдесят лет спустя, когда «культурная революция» подошла к концу и мы наконец смогли вернуться в Пекин, мне удалось познакомиться с этим старым другом отца. Ли Южаню было под семьдесят, его худощавое тело, укутанное в синюю куртку, слегка покачивалось при ходьбе.

За прошедшие десятилетия они оба пережили одну за другой многие политические кампании и чудом остались живы. Когда отец и Ли Южань снова увиделись, оба заметно волновались. Они вспоминали прошлое, с удовольствием посмеиваясь, обмениваясь вопросами о том, как сложились судьбы такого-то и такого-то и где они сейчас. Было ясно: глядя друг на друга, они видели самих себя, будто воссоединились две части разломанного камня, став единым целым. Широко улыбаясь, они держались за руки, обнимались и никак не могли наговориться. Память словно служила им веревкой, за которую они хватались либо чтобы продвинуться вперед, либо чтобы перенестись назад в прошлое.

В тот день я проводил Ли Южаня до автобусной остановки. У торгового центра в квартале Сидань так сильно дуло, что мы с трудом шли против ветра — он нас чуть не снес. Перекрикивая рев ветра, Ли Южань рассказывал, как они с отцом на пустой желудок болтались по парижским бульварам и площадям, насвистывая и пиная камушки по пути. Пока он говорил, я почти слышал, как эти камушки падают на землю.

Будучи в Париже иностранцем, отец чувствовал себя в изоляции, и его тяга к знаниям лишь росла. Он часами изучал книжные киоски на берегах Сены, и стоило завестись в кармане кое-какой наличности, он покупал книгу и тут же углублялся в нее. В этот насыщенный чтением период он все больше размышлял о мире, и живопись часто уступала место раздумьям. Временами жизнь большого города и уличный гам смягчали его

одиночество. Париж поменял его представления о прекрасном, побуждая его изучать и впитывать новую культуру, и, занимаясь живописью, он уже не жалел ярких красок для своих полотен.

Отец брал уроки французского у молодой польки, которая окончила Варшавский университет и теперь намеревалась получить здесь ученую степень по психологии. Трижды в неделю в семь вечера она приходила к нему для разговорной практики. Она радовалась при виде поэтических сборников на отцовском столе, и они долго разговаривали о русских поэтах Есенине и Маяковском. Впервые в своей жизни отец разговаривал по душам с человеком противоположного пола.

Однажды в вечерних сумерках отец мерил шагами тенистую дорожку возле университетской библиотеки, где занималась его подруга-полька. Они договорились встретиться у входа после закрытия библиотеки, и он пришел раньше. Ему часто казалось, будто он ждет чего-то, и тогда был именно такой момент. Одно за другим погасли окна, и полька вышла. Она весело поздоровалась с ним, и они отправились гулять бок о бок. Впервые отец почувствовал, что смущен ее соседством, и во время прогулки он заставлял себя держаться на определенном расстоянии.

Вскоре за ней приехала мать, чтобы увезти обратно в Польшу. Когда он пришел попрощаться, его молодая подруга стала задавать вопросы, которых раньше не задавала. Большая ли у него семья? Близкие ли у него отношения с сестрами? Как долго добираться до Китая?

«Тридцать пять дней», — был его ответ. «Ох, так далеко!» — Она в смятении отвела взгляд, и ее глаза наполнились слезами.

Уходя, мой отец подарил ей книгу с подписью на форзаце: «Когда возьмешь в руки этот том, вспомни парня с Востока».

За время жизни в Париже отцу редко требовался отдых, и бывали ночи, когда он вообще не мог заснуть. Девятнадцатилетний паренек, приехавший из чужих краев, он чувствовал, что его нынешняя жизнь оторвана от воспоминаний прошлого. Волнения и тревоги, амбиции и сомнения наполняли его голову идеями и чувствами, и он немедленно записывал в блокнот любую пришедшую на ум мысль, независимо от времени суток. Чтобы дать мозгу немного отдохнуть, он принимался ходить вверх-вниз по лестнице или гулять по бульварам в толпе. Он все чаще находил утешение в литературе, особенно в поэзии. Его восхищала проза русских авторов, в том числе «Шинель» Гоголя, «Дым» Тургенева, «Бедные люди» Достоевского, но особенно его влекла поэзия Блока, Маяковского, Есенина и Пушкина.

Поэзия для него стала приобретать возвышенный, почти священный статус. Он глубоко разделял приверженность к творческой, насыщенной эмоциями жизни, о которой говорили Аполлинер (он любил цитировать его слова: «У меня была свирель, которую я не променял бы на маршальский жезл») и Маяковский (перечислявший свои потребности: «Перо, карандаш, пишущая машинка, телефон, костюм для посещения ночлежки, велосипед»). Узнав о самоубийстве русского поэта в 1930 году, он горевал так, словно потерял дорогого друга.

Особое место в его сердце занимала гражданская поэзия бельгийца Эмиля Верхарна, и позже он бережно переведет на китайский сборник его стихотворений, озаглавив его *Юанье юй чэнши* («Поле и город»). По его мнению, Верхарн обладал как современной, трезвой рациональностью, так и эмоциями, более сильными и сложными, чем можно встретить у кого-либо из более ранних авторов. О Верхарне отец обычно говорил так: «Он предупреждал читателей о лавинообразном росте городов в капиталистическом мире и перспективе вымирания многочисленных деревень».

В собственном творчестве отец стремился найти слова, метко характеризующие социальные реалии и эмоции. «Мне становится плохо, когда ловлю себя на использовании шаблонных фраз, — писал он. — Отвратительно, когда поэт не брезгует штампами». Вдохновившись французскими сюрреалистами, он заполнял блокнот мимолетными ощущениями в стиле «психического автоматизма» Андре Бретона.

Под влиянием Ли Южаня отец начал знакомиться с революционными советскими фильмами, которые показывали в так называемом Ленинском зале, расположенном в рабочем районе Парижа. Как-то вечером они с Ли Южанем отправились в Латинский квартал, на рю Сен-Жак, 61, на собрание молодых прогрессистов из Восточной Азии. После этого он написал свое первое стихотворение — «Собрание».

> Сбившись кружком, мы сидим в клубах дыма,
> крики, шепот и шум над столами.
> Голоса — нежность, ярость и взрывы пронзительных звуков…
> Жаркие лица скачут под лампами.
> Обрывки — французский, японский, аннамский[6], китайский
> бурлят по углам.
> Очки, сигареты, длинные патлы.
> Кто-то читает письмо, кто-то — газету…

Задумчиво, с горечью или в волнении…
безмолвно…
…пунцовые губы разверсты,
и брызжут слова, словно искры.
За всяким печальным, непримиримым лицом,
за каждым прямым или согнутым телом
рисуется тень темной скорби.
Они кричат, и орут, и бушуют,
сердца их горят,
кровь вскипает…
Они — с востока,
японцы, аннамцы, китайцы,
Они —
обожают свободу и ненавидят войну,
из-за этого страждут,
из-за этого рвут себе душу,
обливаются потом,
умываются горькой слезой…
Стиснув кулак,
стучат по столу,
вопят,
ревом ревут!
Окна плотно закрыты,
за ними — тьма окружает,
капли дождя с болью стучат по стеклу…
Дом полон тепла,
тепло струится по лицам,
втекая в каждое сердце,
все дышат одним,
каждое сердце пылает одним и тем же огнем,
пылает,
пылает…
…
В этом мертвом Париже,
в эту мертвую ночь
на рю Сен-Жак, 61 — теплится жизнь,
наши души пылают[7].

Через десять дней после написания этого стихотворения отец отправился домой.

Глава 3. Снег падает на землю Китая

Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.

Ай Цин. Смерть назарянина, 1933 год (цитата из Евангелия от Иоанна 12:24)

В «маленькой Сибири» отец иногда рассказывал о своей парижской жизни, особенно в долгие, холодные зимы, когда в кухонном погребе оставались только картошка да лук. Париж мне представлялся невероятным, иным миром.

Зато летом со шпалер свисали зеленые бобы и огурцы, а еще были морковь, и алые помидоры, и огромные тыквы. Овощи и фрукты, которые выращивали члены «пяти категорий дискредитировавших себя слоев населения», были хороши и на вид, и на вкус. Эти свежие плоды добавляли красок в нашу тусклую жизнь, и мы, дети, охотно участвовали в сборе урожая.

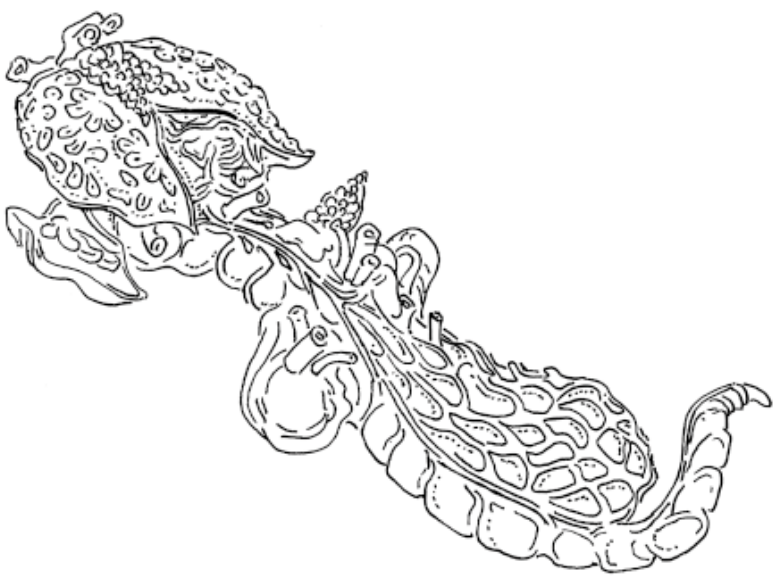
Песчаная почва и засушливый климат были хороши для выращивания крупных арбузов, которыми садовод угощал детей, деля каждый плод надвое не ножом, а ударом ладони. Мы с товарищами погружали руки в ярко-красную мякоть, зачерпывали большие куски, клали в рот и глотали. Глядя на то, как мы набрасываемся на арбузы, садовод напоминал нам, что не надо глотать семечки: из выплюнутых вырастет урожай для пира на следующий год.

Роте принадлежало около четырехсот овец, но нас никогда не кормили бараниной. За исключением весны, когда овец стригли, нам надлежало держать от них руки подальше, а все мясо шло государству. Но однажды овцы забрели на поле люцерны — сельскохозяйственной культуры, которую в севообороте использовали для улучшения щелочной почвы, — и никто не сумел их оттуда выгнать. Пока оттаскивали одну, в люцерну забредала другая и принималась жевать ее нежные листья. От отчаяния немой пастух принялся скакать вверх-вниз. Овцы продолжали поглощать люцерну, останавливаясь только тогда, когда уже падали на землю из-за вздутия живота и не могли встать. Солнце уходило за горизонт, а серые глаза овец подергивались пеленой, и они медленно подыхали одна за

другой. В параноидальной атмосфере того времени это несчастье расценили не как случайность, а как серьезный политический инцидент.

Но нам это пошло на пользу. Всего за два мао я раздобыл овечьи сердце, печень, легкие, кишки, желудок и голову — все это мне просто свалили в ведро, и получилась горячая, вонючая мешанина. Я очистил внутренности, сперва вывернув кишки, чтобы выбросить содержимое (его количество поражало), и затем как следует промыв их. Потом я замочил их в соленой воде и отскребал, пока не ушел запах, и наконец бросил в кипяток. Я полоскал легкие, наливая в них воду через дыхательные пути, и шлепал, пока они не разбухли так, что чуть не разорвались, — тут из них и засочилась мутноватая жижа. Я продолжал, пока вода не стала прозрачной. Отчетливо помню радость на лице отца — это была большая редкость, — когда я подал на стол вареные внутренности и огромное блюдо с громоздящейся на нем овечьей головой.

При всей унылости тех дней еда все же заряжала отца энтузиазмом. Он хранил счастливые детские воспоминания о сладостях, но в тюрьме или в изгнании к процессу добывания пищи примешивался кислый вкус унижения.



В Париже в кафе неподалеку от отцовского пристанища продавали булочки с заварным кремом и называли их chinois, китайские булочки. Ему не нравилось, что выпечку, которую он никогда не ел в Китае, называли китайской, а также раздражало, когда во время завтрака посетители просили принести парочку

«китайцев». Однажды он беседовал с другом, а прохожий крикнул: «Эй, китаец, на этом языке тут нельзя говорить. Во Франции говорят на французском». В другой раз, когда отец рисовал на пленэре на окраине города, к нему, пошатываясь, подошел подвыпивший француз, взглянул на его полотно и выкрикнул с издевкой: «Эй, китаец! В твоей стране черт-те что творится, а ты тут малюешь как ни в чем не бывало!» В этой брошенной невзначай презрительной фразе звучали все унижения, которые отцу приходилось сносить в чужой стране, и внезапно он почувствовал непреодолимое желание поскорее вернуться на родину.

Пока отец был за границей, в Китае изменилась политическая обстановка. Китайские коммунисты устроили несколько восстаний против правительства националистов, временно установив контроль над некоторыми южными территориями страны. Во время Великой депрессии, последовавшей за биржевым крахом 1929 года, количество безработных в Японии достигло 2,5 миллионов, и японское милитаристское правительство увидело в богатом ресурсами северо-востоке Китая спасительный якорь для своей экономики.

К 18 сентября 1931 года японские войска заняли город Шэньян, древнюю столицу Маньчжурии, и за последующие месяцы захватили все три северо-восточные провинции Китая. По мере ухудшения отношений между Китаем и Японией французское правительство, преследуя собственные интересы в Китае и Индокитае, заняло пассивную позицию в отношении японской агрессии. К 28 января 1932 года, когда японский морской десант высадился в Шанхае и атаковал китайский гарнизон, отец отправился в Марсель, чтобы сесть на пароход, отбывавший в Китай.

Те три года, проведенные в Париже, отец будет вспоминать как лучшее время в своей жизни: никогда больше у него не будет таких свобод и досуга. Он уже не был мальчишкой из захолустья, который писал пейзажи на берегу озера Сиху, — он стал молодым мужчиной, имевшим собственное мнение, и достаточно уверенным, чтобы его высказывать. Духовная пища и представления об идеалах, полученные им во Франции, помогут ему продержаться в предстоящие смутные времена.

Дед наверняка был горько разочарован, когда в 1932 году отец вернулся в Фаньтяньцзян без диплома и каких-либо иных свидетельств успеха. Другие родственники смотрели на него с любопытством, не зная, что и подумать. Почти все время он проводил в отцовском доме, хмуро перебирая книги в шкафах. Иногда он развлекал младших братьев и сестер рассказами о

жизни во Франции или, изготовив из грубого картона фишки для игры в го, обучал их этой игре. Деревня представлялась ему стоячим прудом, и, что бы ни происходило в мире, на его поверхности не появлялось ни малейших признаков ряби. Дом теперь казался ему еще более чужим, чем раньше.

В мае 1932 года отец снова уехал в Шанхай. В первые десятилетия XX века Британия, Франция и другие страны учредили там иностранные концессии, а с ними пришли и западные банки, газеты, основанные миссионерами университеты и прочие атрибуты современной цивилизации: ипподром, кинотеатры, автомобили, уличные фонари, универсамы, пожарные станции, унитазы, не говоря уже о барах, танцевальных залах, ночных клубах и даже конкурсах красоты. В то время Шанхай рос быстрее любого другого города Восточной Азии, и разнообразие колледжей, книжных магазинов и издательств влекло туда образованную молодежь вроде моего отца.

В Шанхае у отца появился новый друг по имени Цзян Фэн — парень его возраста из рабочей семьи, невысокий, но с сильным и твердым характером. Склонный к самоанализу Цзян Фэн тяготел к искусству, он принимал участие в различных профсоюзных мероприятиях и изображал бастующих рабочих с помощью ксилографии.

Отец вместе с четырьмя другими молодыми художниками жил в шумной коммуналке, расположенной в небольшом двухэтажном здании на рю Порт-де-Люэст. Цзян Фэн ввел его в Лигу левых художников, и вскоре они учредили художественный клуб «Весенняя земля» в качестве базы для мероприятий Лиги. Отец составил манифест, в котором, в частности, говорилось: «Как и другие формы культуры, искусство развивается на фоне веяний времени, так что современное искусство неизбежно следует новым путем и служит новому обществу. Искусство должно постоянно двигаться вперед, выполняя свою роль в образовании и организации масс». Отец стал разделять революционные взгляды, согласно которым культура расценивалась как средство подкрепления теории и идеологии в наглядных формах выражения.

Двенадцатого июля 1932 года, когда художественный клуб «Весенняя земля» проводил урок эсперанто (искусственного языка, популярного в прогрессивных кругах того времени), вдруг нагрянули агенты сыскной полиции из полицейского формирования Французской концессии. Когда они вошли, отец сидел на потрепанном старом диване. Полицейский повернулся к нему и спросил по-французски: «Вы коммунист?» «Что вы имеете в виду под „коммунистом“?» — наивно отреагировал отец. Он

тогда не состоял в партии, хотя — втайне от него — многие его друзья уже вступили в нее. «Не трать на него время!» — рявкнул инспектор. Затем он рывком открыл деревянный сундук и вытащил из него плакат с Чан Кайши: глава китайского государства распластался на земле и лизал армейские сапоги, что символизировало японский милитаризм. «Это что такое?» — спросил инспектор. «Это протест против империализма! — ответил мой отец на французском. — Во Франции ведь наверняка такое разрешено? Разве Анри Барбюс и Ромен Роллан не выступают против империализма?»

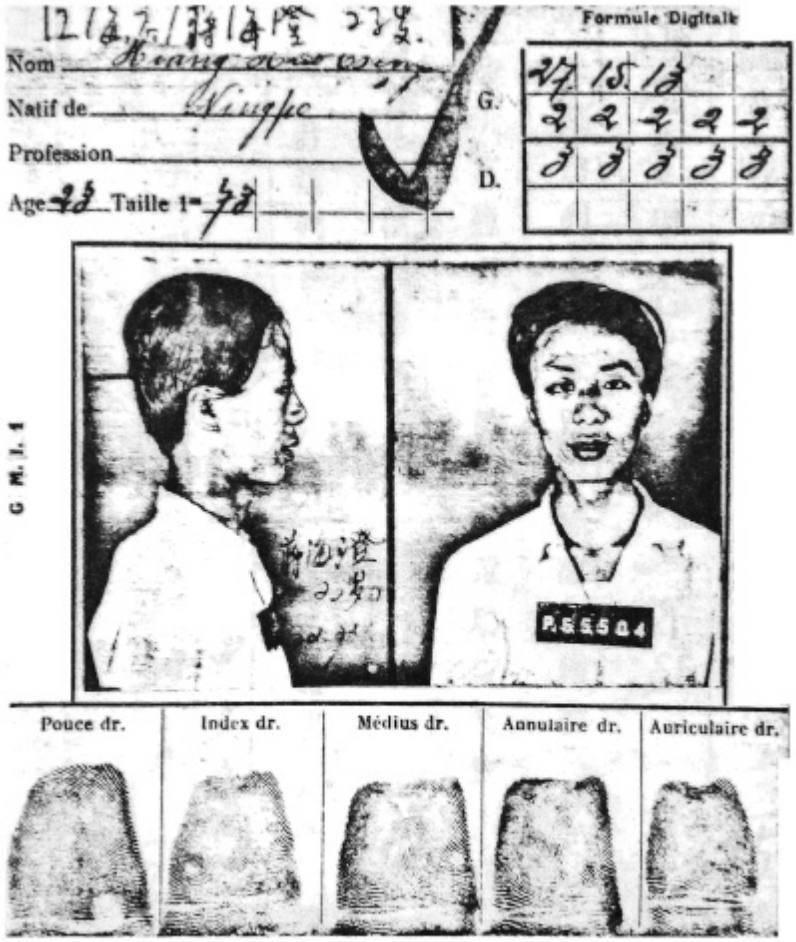
На другом плакате изображалась колонна рабочих, выходящих с фабрики с красными флагами в знак протеста. «А это тогда что?» — торжествующе вскрикнул инспектор и дал отцу пощечину. Арестовали двенадцать человек, в том числе его и Цзян Фэна. В комнате отца они изъяли собрание сочинений Ленина, экземпляры французской коммунистической газеты *L'Humanité* и несколько книг, привезенных из Франции.

На том основании, что отец преступил китайский закон, «нарушая общественный порядок своим участием в деятельности Коммунистической партии», ему предъявили обвинение и направили дело в Верховный суд провинции Цзянсу, где оно было рассмотрено в тот же день. Вещественными доказательствами служили найденные в его комнате предметы и документы Лиги левых художников, в том числе конституция, список членов и протоколы собраний, а также плакаты и прочие агитационные материалы. Суд постановил, что художественный клуб «Весенняя земля» — орган Лиги левых художников, ставивший своей целью «нанести вред республике» — расплывчатое обвинение, напоминающее политическое преступление «подстрекательство к подрыву государственной власти», в котором в следующем веке обвинят уже меня.

Процесс, 1936 год.
Ксилография Цзян Фэна, изображающая Ай Цина в суде

В зале суда ведущий процесс пожилой судья сидел в центре, а по бокам — еще двое. На вопрос, является ли отец лидером Коммунистической партии, тот ответил отрицательно. Когда спросили, чем он занимается, он сказал, что рисует скетчи. Председатель суда не знал, что это означает, и посмотрел на своих коллег, которые тоже выглядели озадаченными.

Через три дня после ареста отца моя тетя Цзян Сихуа поспешила из Шанхая в Цзиньхуа, чтобы взять у деда денег на адвоката. Но к моменту ее возвращения дело было на последней стадии рассмотрения и судья собирался оглашать приговор. Когда отцу сказали, что его приговаривают к шести годам лишения свободы, он рассмеялся. Он и подумать не мог, что проведет следующие несколько лет в тюрьме. Из всех, кого арестовали вместе с ним, он получил самый суровый приговор, вероятно, из-за его дерзкого поведения.



Тюремное досье Ай Цина

Тюрьму во Второй зоне Шанхая, расположенную по адресу рю Массне, 285, называли тюрьмой Массне. Там содержалось около трех тысяч заключенных, в том числе политические активисты. В камере, помимо отца, было еще двадцать человек. По ночам коек хватало лишь половине из них, а остальным приходилось спать на цементном полу. Ведро с нечистотами выносили только раз в день, поэтому в камере воняло мочой и фекалиями. Совсем скоро отец слег с тяжелой лихорадкой, и ему диагностировали туберкулез. Его перевели на карантин в изолятор, но лекарств не хватало, и ему становилось все хуже. К счастью, его друг Ли Южань, который уже вернулся из Франции, сумел передать лекарство контрабандой и подкупить тюремного доктора, чтобы тот лечил его как следует.

В ночь на 14 января 1933 года был сильный снегопад, и отец

сидел под зарешеченным окном, думая о родной деревне. Он вспоминал Даехэ, которая дала ему так много тепла и любви. Он никак не мог заснуть и написал длинное, прочувствованное стихотворение на разговорном языке, в котором вспоминал свою кормилицу и других нищих деревенских женщин, проживших столь же тяжелую жизнь; страдая сам, он сочувствовал им. (Раньше имя своей кормилицы он воспринимал на слух и ни разу не видел, как оно пишется, так что в своем стихотворении он называл ее «Даяньхэ», и только позже понял, что правильно оно должно писаться как «Даехэ».) Первым его читателем стал другой заключенный в кандалах, приговоренный к смертной казни. Строку за строкой он декламировал стих на своем мягком, мелодичном диалекте Сучжоу и растрогался до слез.

> Даяньхэ, сегодня я увидел снег и вспомнил о тебе:
> твою засыпанную снегом, травой заросшую могилу,
> сухие мертвые побеги на крыше прежнего жилища,
> твой огород малюсенький, заложенный давно,
> и каменную лавку перед входом, затянутую мхом,
> Даяньхэ, сегодня я увидел снег и вспомнил о тебе.
> …
> Даяньхэ, сегодня твой грудничок в тюрьме
> и пишет гимн тебе,
> твоей душе пурпурной под желтою землей,
> твоим рукам, что прежде обнимали
> меня, твоим губам, меня даривším поцелуем,
> твоим щекам с их темной, нежной лаской,
> твоей груди, меня вскормившей,
> и сыновьям твоим — моим же братьям,
> всем на земле
> кормилицам, похожим на мою, их сыновьям, —
> меня любившей, словно сына, моей Даяньхэ[8].

Даяньхэ, моя кормилица, 1933 год

Чтобы скрыть авторство, отец подписал стихотворение псевдонимом Ай Цин (艾青). Он всегда ненавидел Чан Кайши (蒋介石), своего однофамильца[9], за предательство дела революции, так что перечеркнул крестом фонетический компонент в иероглифе, записывавшем их общую фамилию, создав новую — Ай (艾). «Ай» на китайском означает «полынь», которая в национальной поэтической традиции ассоциируется

одновременно и с резким обрывом, завершением, и с красотой. Спонтанно выбранное имя останется с ним на всю жизнь.

Бессонных ночей было немало, и при тусклом свете уличного фонаря отец торопливо записывал пришедшие в голову строчки в блокноте из грубой бумаги, сделанной из спрессованной соломы. Когда наступал день, он часто обнаруживал, что строчки наползали друг на друга.

От Ли Южаня отец узнал, что его стихотворение «Собрание» только что вышло в журнале Лиги левых художников *Бэйдоу* («Большая Медведица») и стало его первой публикацией. Ли Южань также принес новость, что получил письмо от польской подруги отца, которая узнала о его тюремном заключении. Она спрашивала: «Почему в Китае человек может попасть в тюрьму за то, что нарисовал пару картинок? Как можно ему помочь?» Больше никаких вестей от нее не было. Учитывая судьбу многих польских евреев во время немецкой оккупации в следующие годы, неудивительно, что его дальнейшие попытки связаться с ней не увенчались успехом.

После того как отец отсидел треть срока, его перевели в исправительный дом провинции Цзянсу в городе Сучжоу — исправительное учреждение для левых радикалов, и в октябре 1935 года освободили условно-досрочно после трех лет и двух месяцев за решеткой. Время, проведенное в тюрьме, одиночество в окружении людей, которым угрожала смерть, когда он и сам был смертельно болен, закалило его волю и укрепило литературные устремления. Более двадцати стихотворных произведений, написанных в заключении, неоспоримо свидетельствовали о его таланте.

Пока отец был в неволе, дед отчаянно горевал и рыдал ночи напролет. Но тюремные злоключения не убавили решимости отца, отступать он не собирался.

Пока он отбывал срок, родители подобрали ему жену. Отец не слишком радовался, заявляя, что из-за судимости думать о женитьбе не время. Но семья настаивала, и муж сестры в ответ на всяческие отговорки сказал ему: «Вы же можете хотя бы попробовать подружиться!»

Будущая невеста отца Чжан Чжужу была дальней родственницей из волости Шанси в уезде Иу. Однажды ее мать сказала моей бабке: «Твой старший сын еще не помолвлен. Может, выберешь ему жену из моих дочерей? Обе не замужем». Бабушка решила, что младшая, Чжужу, подойдет ему больше, на том и сговорились.

Чжан Чжужу еще не было и шестнадцати. Красивая и кроткая девушка была уверена, что отца отправили в тюрьму

незаслуженно. Позже она припоминала первые впечатления о нем: «Когда Цзян Хайчэн был в тюрьме, он прислал мне несколько своих стихотворений, а еще рисунок. Это был черно-белый набросок на небольшом листочке бумаги, меньше карточки для записей, и с очаровательными мелкими деталями».

Традиционно предназначение брака виделось в том, чтобы «почтить предков и произвести грядущее потомство», и решение принималось в соответствии с проверенной временем процедурой, впервые описанной конфуцианским философом Мэнцзы: «Брак — это повеление родителей и сговор сватов». Как и полагалось по обычаю, невесту принесли к дому жениха в паланкине, играла музыка, все веселились. Молодые в унисон поклонились небу и земле, скрепив свой священный союз.

Хотя отец и согласился жениться, его отношение к семье все так же расстраивало деда. Один из учителей деда, много лет преподававший ему классическую литературу, однажды подошел к нему на улице и спросил с усмешкой: «Я слыхал, ваш сын стал именитым поэтом». Жители деревни то и дело отпускали шуточки, что выражение «ду шу лэ» («получил образование») звучит как «доу шу лэ» («все потерял»). Дед разделял скепсис по поводу достижений сына и спрашивал его: «Неужто твоя писанина считается поэзией?»

По мнению деревенских, поэзией мог считаться только пятисложный или шестисложный рифмованный стих на классическом китайском. Отец не удостаивал ответом вопрос деда: эти традиционные предрассудки все равно не победить парой слов. Отец считал, что поэтам нужно освободиться от формальных ограничений и использовать живой, разговорный язык, а не следовать надуманной и немощной литературной моде, которая и так слишком долго господствовала.

Со временем деда стало раздражать, что отец считает родительский дом чем-то вроде придорожной гостиницы в своем большом путешествии. Он переживал, что сын не придает значения семейному имению, которое предки создавали с таким трудом. И еще ему казалось, что отец плохо влияет на младших братьев и сестер.

Он заверял отца, что в Китае нет буржуазии, и настаивал, что никогда не притеснял тех, кто беднее его, так что, если революция и случится, с чего бы ему становиться ее жертвой? А потом он благодушно улыбался и открывал конторскую книгу, где аккуратно вел учет всех ссуд, по которым ему платили проценты. Щелкая костяшками на счетах, он бормотал, что сыну следует больше заботиться о будущем своих братьев и сестер.

В стихотворении «Отец» он потом так скажет о деде:

По малодушию — знал свой шесток
и в самые бурные годы
умудрялся жить мирно,
как бессчетные землевладельцы:
заурядные, косные, самодовольные скряги[10].

Дед хотел, чтобы его сын изучал экономику и право, стал предпринимателем или чиновником. Отцу же казалось, что деду чужды всякие перемены и тот предпочитает наблюдать со стороны: «Не испытывая энтузиазма по поводу „прогресса“, он равнодушно встретил „революцию“». Его вполне устраивало лежать на бамбуковой кушетке с рисовым вином, трубкой и томиком рассказов о привидениях эпохи Цин[11].

Отец твердо вознамерился уехать из Фаньтяньцзяна и после долгих попыток наконец смог устроиться преподавателем китайского языка в женское педагогическое училище в Чанчжоу, где-то между Шанхаем и Нанкином. В день отъезда он был весьма воодушевлен, несмотря на то что от февральского холода его защищало лишь тонкое пальто, — ведь скоро у него будет постоянный доход в сорок пять юаней в месяц!

Деда не впечатлило, что сын станет школьным учителем. Когда продавец в их семейной лавке получал деньги от покупателя, то выкрикивал сумму и бросал деньги в кассу так небрежно, что мелкие монеты иногда падали на пол. «Если бы ты собирал эту мелочь, — сказал дед, — и то получилось бы больше, чем рассчитываешь зарабатывать».

Работая учителем, отец не следовал учебному плану, а предпочитал подбирать материалы сам. Он поощрял у своих учениц стремление к самовыражению, редактировал их работы для школьного журнала и к первому его выпуску написал предисловие. «У каждой ученицы есть свой голос, — писал он. — Подобно подземному ручью, однажды он вырвется наружу и потечет к морю». Но к концу первого семестра школа расторгла с ним договор под предлогом того, что он пропагандировал радикальные взгляды в классе. Ученицы грустили о его уходе и в знак благодарности собрали деньги и подарили своему талантливому, но бедному учителю часы.

Ли Южань в то время уже работал учителем и библиотекарем в Сучжоу, а в свободное время переводил Ромена Роллана. Он убедил отца переехать в Шанхай, предложив, если нужно, покрыть расходы на проживание в надежде, что тот сможет сосредоточиться на поэзии. Ли Южань лучше других понимал

отцовскую верность своему делу и страсть к языку.

Вместе с уже беременной женой отец переехал в мансарду в Чжабэе, рабочем пригороде Шанхая. Здесь он на собственные средства опубликовал свой первый сборник, «Даяньхэ». Это была брошюра с девятью стихотворениями, для которой он нарисовал обложку в светло-зеленых тонах: силуэт молодого мужчины, сжимающего в кулаке молот.

Отец тогда писал без передышки, разум его был живым и плодовитым. Он чувствовал зов будущего, подгоняющего его, и литература помогала ему яснее видеть цели. Если он когда-либо усомнится в собственном писательском таланте, говорил он себе, жизнь потеряет всякий смысл.

«Даяньхэ» вскоре привлекла внимание критика Ху Фэна, возглавлявшего Лигу левых писателей, друга известного литератора Лу Синя. «Я бы хотел представить вам поэта, — писал Ху Фэн. — Он работает под псевдонимом Ай Цин. Каждое его произведение фонтанирует эмоциями. Его язык не слишком деликатен и не слишком резок, и уж конечно, в нем нет никаких искусственных украшательств. Его стихи понятны и полны воодушевления, они выражают чувства, которые Ай Цин действительно испытал, а современные зарисовки сделаны с теплотой и интересом к жизни».

Весной и в начале лета 1937 года, накануне японского вторжения в Китай, некоторые стихотворения отца (в том числе «Солнечный свет», «Разговор с углем», «Весна», «Смех» и «Рассвет») были опубликованы в «Сборнике произведений о труде и учебе» под редакцией Ху Фэна и Мао Дуня и получили положительные отзывы левых критиков.

Отец, теперь более зрелый и искушенный в вопросах политики, чувствовал, что близится война. Его вера в собственные силы шла рука об руку с верой в возрождение Китая. Но зарабатывать на жизнь поэзией все-таки было невозможно. В июле 1937 года его жена вот-вот должна была родить, и отец, обычно равнодушный к денежным делам, понимал, что нужен постоянный заработок. Он согласился стать учителем в Ханчжоу, в средней школе Хуэйлань. Шестого июля он сидел и читал газету в поезде, идущем из Шанхая в Ханчжоу, поглядывая из окна на поля, и написал «Возрожденную землю», свое пророчество:

Ибо наша земля, что давно умерла,
под безоблачным небом
восстала для жизни!
От лишений осталась лишь память,
в ее теплой груди

вновь вот-вот забурлит
кровь бойцов[12].

Его предсказание сбылось уже на следующий день. Седьмого июля 1937 года японские войска разбомбили крепость Ваньпин в пригороде Пекина — этот эпизод вошел в современную историю как «инцидент на мосту Лугоу». В тот день началось полномасштабное японское вторжение в Китай, а с ним и китайское сопротивление. В тот же день у Ай Цина и Чжан Чжужу родилась дочь. Ей дали имя Циюэ — «Седьмая Луна».

Не прошло и месяца, как китайские силы на севере страны потерпели поражение и вынуждены были отступить, а Пекин и Тяньцзинь сдали японцам. Когда Япония открыла второй фронт около Шанхая, в битве участвовало около миллиона человек. Три месяца спустя китайская армия сдала позиции, и капитуляция Нанкина, столицы страны, была лишь вопросом времени. Под угрозой полного поражения националистическое правительство объявило о переносе столицы в Чунцин, расположив при этом часть государственных служащих в Ухане.

Когда отец приехал в Ханчжоу, война на юге еще не началась, но он уже чувствовал подавленность и тревогу. Озеро Сиху оставалось неизменным — такое же туманное и зыбкое. Ему казалось, что местные жители плывут по течению, цепляясь за ложное представление о покое. Начало войны не потрясло Ханчжоу: пока судьба нации висела на волоске, люди продолжали жить обычной жизнью. «Не могу притворяться, что люблю Ханчжоу, — вскоре признался отец. — Как и многие города Китая, он полон узколобых, эгоистичных обывателей, самодовольных и вульгарных служащих, мелких чиновников, привыкших к лести, и деятелей культуры, чье любимое занятие — поднимать шумиху. Они привыкли кататься как сыр в масле». Эти слова он написал в конце года, когда узнал, что Ханчжоу пал, а сам вместе с семьей уже успел уехать в Ухань.

Глубокой осенью 1937 года японские войска с трех сторон окружили Ханчжоу. Правительство провинции Чжэцзян эвакуировали в Цзиньхуа, подальше от опасности. К октябрю многие жители покинули Ханчжоу, и ученики отца перестали приходить в школу, так что он с семьей уехал в Цзиньхуа и укрылся в родительском доме. В следующем месяце ему удалось занять денег, чтобы купить билеты на поезд для себя, Чжан Чжужу, их четырехмесячной дочери и старшей из его двух сестер, Цзян Сихуа, и они присоединились к волне беженцев, направлявшихся вглубь Китая, в более безопасные районы.

Прибыв к восьми утра на железнодорожный вокзал Цзиньхуа, они увидели лежавших на платформе раненых солдат, которых только что эвакуировали с поля битвы. Один из солдат с сумрачным видом сказал отцу, что местные госпитали больше не принимают раненых. Некоторые укрывались соломой, чтобы было теплее, другие сгребали ее в кучи и разжигали огонь, чтобы погреть руки. Гражданские ютились где попало, свернувшись в грязных спальных мешках. Боевые действия нарушили расписание поездов, и в суматохе было неясно, будут ли они вообще ходить. Продажа билетов прекратилась, и если приходил поезд, то люди в него набивались, независимо от того, были у них билеты или нет.

Отец и его семейство смогли втиснуться в поезд, идущий в Наньчан, и даже устроить себе в проходе подобие сидений из свертков и чемоданов. В вагоне царила полная темнота и тишина, не считая хныканья то одного, то другого ребенка и напевов баюкающих их матерей. Мысли отца вторили стуку колес поезда. Несмотря на все трудности, он был уверен в правильности своего пути. Бескрайние просторы по обе стороны, едва различимые в свете буферных фонарей локомотива, наполняли его радостью и гордостью за то, что он китаец, а ночная тьма приводила чуть ли не в состояние религиозного восторга. Сделав остановку в Наньчане, поезд отправился дальше в Ухань. Посреди зимы этот город, растянувшийся вдоль реки, захлестнула огромная волна китайских чиновников и военных, эвакуированных из Нанкина, а также бесчисленных беженцев из Шанхая и других городов долины устья Янцзы.

Отец с семьей нашли временное пристанище в приемной художественной школы. Тринадцатого декабря он купил на улице газету у мальчишки-разносчика и прочитал заголовок: «Пал Нанкин, столица Китайской Республики». В последующие несколько недель в Нанкине, что в трехстах милях к востоку от Уханя, японцы совершили чудовищные массовые убийства.

«Пришла война, — писал отец. — Благодаря стойкости народа и молитвам поэтов наступит день, когда мы сбросим оковы. В такое время писатель должен глубоко задуматься над следующим: как честно говорить о войне от лица народа? Наши голоса должны отражать насущные потребности и революционные устремления целой нации». Этот текст под заголовком «Мы должны сражаться, пока не добьемся свободы» стал заветом Ай Цина соотечественникам, выразив их твердую решимость в мучительные годы японской оккупации.

Именно тогда он написал «Снег падает на землю Китая», где есть такие слова:

А дороги Китая,
Вы же знаете,
Так ухабисты и грязны.

Снег падает на землю Китая,
Холод сковывает Китай…[13]

Стоило ему дописать это стихотворение, как действительно пошел снег, и, подняв глаза к небу, он почувствовал: сама природа откликнулась, будто кружащие в воздухе снежинки отозвались на его давнее желание переплавить действительность и искусство. Смысл послания был для него ясен: лишь самые упорные и способные выстоять в ветрах войны дойдут до конца.

Глава 4. К солнцу

Стихотворение «Снег падает на землю Китая» было пронизано любовью к жизни и природе. Отец написал его в молодости, когда был полон надежд и уверенности в будущем Китая. Тридцать лет спустя, когда мы вместе жили в «маленькой Сибири», никому не было дела до того, что он едва дышит. И если бы он тогда умер, никто не придал бы этому никакого значения.

Наша жизнь в «маленькой Сибири» была убогой, как ни посмотри, но дети где угодно найдут развлечения. На широте Синьцзяна летние дни долгие, и после полудня, когда взрослые дремали, нам с друзьями никто не мешал отправляться на поиски приключений. Мы находили крысиные гнезда в поле, откапывая лабиринты маленьких кладовок, и собирали целые мешки семян. Либо мы промышляли на крыше склада: встав на плечи одноклассника, я тянулся рукой в углубление и шарил там в поисках птичьих яиц, драгоценное содержимое которых тут же отправлялось в наши рты.

Однажды днем, играя в прятки, через трещину в запертой двери склада мы увидели две болтавшиеся в воздухе ноги, в нос при этом ударила вонь инсектицида: на балке висел мужчина среднего возраста. Кто-то говорил, что он повесился сам, другие — что сначала его до смерти избили, а потом повесили. Причина такой смерти и поиск виновного — эти вопросы не заслуживали расследования. Когда в лагерях кто-то умирал, это расценивали как «суицид из страха наказания» и «отмежевание от народа». Палачу меньше патронов тратить.

Осенью 1968 года, чтобы подвести черту под делом «крупного правого элемента», руководство решило переселить нас снова — на этот раз в дивоцзы, заброшенную землянку. В таких жили первопроходцы, которые осваивали эту часть Синьцзяна. Наше новое жилье выглядело как квадратная дыра в земле с примитивной крышей из наваленных веток тамариска и рисовых стеблей, скрепленных несколькими слоями глины и дерна. Землянка давно была заброшена, и ступени, ведущие вниз, обвалились.

Когда мы впервые спустились в свой новый дом и открыли деревянную дверь, она пронзительно скрипнула, а из темноты и прохлады потянуло затхлостью. Не успел отец войти, как я услышал глухой стук: он упал на колени от боли — ударился лбом о выступающую балку и расшиб его до крови. Поднять потолок никак было нельзя, и все, что мы могли сделать, — это углубить пол настолько, чтобы отец мог хотя бы встать во весь

рост.

Кроватью нам служило возвышение, образовавшееся из выкопанной нами земли, которое мы покрыли слоем пшеничной соломы. Мы с Гао Цзянем смастерили печку и дымоход, соорудили углубление в стене для масляной лампы. Стряхнув слой накопившейся на стенах калийной соли, мы наклеили на них импровизированные обои в виде старых газетных листов. Над кроватью мы натянули старую простыню, и, когда по крыше пробегали свиньи, на нее сыпался песок. Затянутая полиэтиленовой пленкой квадратная дыра в потолке служила окошком. Однажды нас напугал поросенок, зад которого провалился в дыру. Побарахтавшись, он сумел выбраться и убежать.

Ламповое стекло быстро покрывалось керосиновой копотью, и каждый день с наступлением сумерек я занимался тем, что оттирал его дочиста. Рукой я закрывал один конец и дул в другой, а потом с помощью палочки для еды засовывал внутрь кусок ваты и тер. Но наутро стекло снова было грязным, и мы просыпались с черными от копоти ноздрями.

В тот год роту атаковали крысы, что местное руководство считало советской диверсией. Шныряя за обоями, они не знали покоя и постоянно то жевали клейстер, то устраивали гнезда, то рожали потомство, и мы всю ночь слышали, как они точат зубы. Я экспериментировал с разными способами ловли крыс: проще всего было выкопать в углу яму и поставить в нее миску, наполовину наполненную водой. Наутро на поверхности плавало несколько серых тушек. Если я ронял зернышко на пол и заносил над ним ногу, уже через пару секунд под моим ботинком оказывалась крыса. Хотя надо отдать им должное — крысы были довольно симпатичные.

Еще у нас были вши. Насосавшись крови, вши становились черными, и, когда мы их давили, раздавался щелчок. Они откладывали крошечные прозрачные яйца в складках одежды. Хорошо, что одежды у нас было мало, так что все можно было сложить в одно ведро, залить кипятком и не переживать, что рубашки и штаны в итоге окрасятся в голубой. Единственным способом избавления от вшей было поднять матрас и насыпать под него кристаллы гексахлорбензола (C_6Cl_6) — фунгицида, который мы называли «шесть-шесть». Запах был такой сильный, что я всю ночь не мог заснуть.

Нас заставили жить под землей, чтобы наказать отца, и это было инструментом политической борьбы. Реакционеры вроде нас не входили в категорию революционных масс, и жилищные условия должны были это отражать. Каждый раз, когда нас отвергали и поносили, соответственно менялось и мое отношение к обществу. Отчуждение и враждебность окружающих сформировали мое представление о себе и о том, чем определяется социальное положение человека. В большинстве случаев мне приходилось обороняться, но постепенно я перешел от пассивной позиции к более активной. Притом мы с отцом почувствовали себя в большей безопасности, найдя успокоение в изоляции от людей, которые так охотно над нами издевались.

Тридцатью годами раньше, когда японские войска сжимали кольцо вокруг Ханчжоу, отец в письме своему другу литературному критику Ху Фэну поделился опасениями, что его могут убить на войне и он не успеет сказать свое слово в поэзии. К концу 1937 года прошел месяц после переезда отца и его молодой семьи в Ухань, где на тот момент было немного спокойнее, однако приблизиться к осуществлению своих поэтических амбиций ему не удавалось. Каждый день приходилось бороться за выживание, и он так и не нашел постоянного заработка. Чжан Чжужу рассчитывала, что муж будет кормить семью, и не могла себе представить, какой трудной будет ее жизнь. Она впервые уехала из Цзиньхуа и впервые переживала опыт материнства. Непрекращающийся плач ребенка усиливал ее тревогу, а проблемы с деньгами и угроза японской осады Уханя доводили ее до паники.

Ай Цин, конечно, был не единственным интеллектуалом, которого японская оккупация заставила переехать и жить впроголодь. В конце 1937 года по предложению Ху Фэна нескольких писателей и художников наняли преподавать в новоучрежденном Национальном революционном университете в

северном городе Линьфэне, и отец решил к ним присоединиться. Двадцать седьмого января 1938 года он вместе с женой и ребенком, а также с друзьями, среди которых был Ли Южань, отправился в непростой путь. На платформе железнодорожной станции Ханькоу их ждала длинная вереница вагонов, обитых листовой сталью, — они выглядели как железные коробки для перевозки солдат и амуниции к линии фронта. Когда они сели в поезд, вокзальный полицейский закрыл и запер металлические двери снаружи. Во всем вагоне было лишь два окна, по одному с каждого конца, и ни одного туалета, а воздух был спертый. Если пассажирам требовалось сходить по нужде, приходилось ждать, пока поезд остановится на станции и двери откроются. Отцу с женой и семимесячной дочкой пришлось несколько дней сидеть на сыром полу, пока поезд медленно пробирался по оспариваемой территории, где не было безопасных участков.

Когда отец выглянул в одно из крошечных окошек, он увидел, как под равнодушным небом простирается бесконечная желтая земля с редкими признаками жизни: иногда попадались группы беженцев и раненых солдат, обгорелые дома с черепичной крышей и обезлюдевшие деревни. Впервые в жизни он пересек Янцзы и увидел суровые пейзажи северного Китая. Он достал альбом и стал зарисовывать пробирающихся через поля людей, ждущих парома странников у переправы, закаты и рассветы морозных северных краев. Эти печальные сцены всколыхнули в нем сочувствие к рабочим, которым приходилось выживать в таких тяжелых условиях.

Утром 6 февраля дул пронизывающий ледяной ветер, отец с семьей сошли с поезда и поплелись в древний город Линьфэнь. Вскоре он начал преподавать изобразительное искусство в университете, но еды все равно не хватало, а обеды в столовой состояли из моркови и паровых булок из грубого зерна. Он успел поработать со студентами всего двадцать дней, когда город заняли японцы, и семье вновь пришлось бежать, на этот раз в Сиань.

Там вместе с другими художниками и писателями Ай Цин основал антияпонский художественный коллектив. Но однажды, когда он привез свою команду на выступление в городок неподалеку, одного из ее членов убили, и он заподозрил, что в их ряды проник шпион-националист. Отец решил вернуться в Ухань, где мог бы внести вклад в деятельность более крупной организации — Всекитайской ассоциации писателей и художников сопротивления.

Именно в Ухане в апреле 1938 года Ай Цин закончил лирическую поэму «К солнцу» — более четырех сотен строк —

под впечатлением четырех месяцев пребывания на севере Китая, где он успел повидать и постигшие страну бедствия, и несгибаемую волю к жизни ее народа. Вскоре это произведение стало самым исполняемым на поэтических вечерах; в сумерках студенты декламировали его, сидя вокруг освещавшего их лица костра, а страстность и непоколебимость, звучавшие в стихах, согревали их сердца.

Я по-прежнему мчусь
на колесах душевного пыла.
Солнце над моей головой
светом, почти невозможным,
опаляет мне плоть.
Ободренный его пламенеющим жаром,
я хрипло
пою:
«И вот — мое сердце
разверсто огненной дланью.
Дух отживший
брошен на берег речной…»
В этот миг
ко всему, что я вижу и слышу,
мне даруется невероятная нежность и милость —
в этот сияющий миг я готов умереть…
…
И мы любим день этот
не потому,
что не видим своих злоключений,
не потому,
что не видим голод и смерть.
Нет, мы любим его,
потому что несет он светлого завтра
самые верные вести[14].

К солнцу, 1938 год

Ай Цин воображал, что страна вступает в созидательную эру и с радостью примет поэта, который способен отразить в искусстве этот особый момент в истории Китая. Он говорил так: «Поэт этой великой, уникальной эпохи должен безропотно довериться ей, снося все тяготы с готовностью миссионеров, которые рискуют гонениями, и всем сердцем разделяя чувства и мечты тысяч людей».

В Ухане он получил письмо от военного офицера, к которому прилагалась страшная фотография свисающей с деревьев человеческой кожи, содранной японскими солдатами с китайцев — семерых мужчин и одной женщины. Это жуткое зрелище побудило отца написать одно из самых острых социальных произведений, точно так же на него повлиял вид старухи-бродяжки, которая подобострастно кланялась прохожим в центре Уханя. В отличие от некоторых других поэтов, которые старались избегать темы войны в своих работах, Ай Цин теперь как никогда проницательно и остро воспринимал действительность. И размеренный ритм его стиха идеально подходил для декламации.

Оборона Уханя длилась четыре месяца, но в итоге силам Гоминьдана снова пришлось отступить, а отцу — искать новое убежище. В конце июля 1938 года он вместе с женой и дочерью отправился в Хэншань, что в центре провинции Хунань. В этом спокойном древнем городке он мог писать регулярно, каждый день, быстро продвигаясь в работе над объемистым теоретическим исследованием «О поэзии» (*Ши лунь*), которое считал одним из своих главных достижений. В нем он сформулировал принципы новой эстетики, отвечающей требованиям новой эры.

Поэт, утверждал он, — это не просто человек, который пишет стихотворения. Поэт верен собственным переживаниям и не пишет о том, что выходит за пределы его понимания, тогда как человек, который пишет стихи, всего лишь складывает вместе предложения, располагая слова на разных строчках. «Если в стихах нет свежих красок, нет блеска, нет образов, в чем тогда состоит художественная жизнь поэзии?» — задавался он вопросом.

«Сегодня поэзия должна быть смелым экспериментом в духе демократии, — заявлял он, — и будущее поэзии неотделимо от будущего демократии. Конституция для поэтов важнее, чем для остальных, потому что они могут выражать чаяния всех людей лишь тогда, когда им гарантировано право на самовыражение, и только тогда возможен прогресс. Заглушать голоса людей — самое жестокое насилие». Восемьдесят лет спустя его вера в поэзию как посланницу свободы все еще не нашла поддержки в Китае.

В августе 1938 года Ай Цин узнал, что у школы в Хэншане, где он планировал преподавать, нет средств на его жалованье. Все, что ему оставалось, — это обратиться к живущим в разных концах страны друзьям с вопросом, не знает ли кто-нибудь о вакансии учителя. И наконец пришел ответ: один друг пообещал помочь, если отец приедет в Гуйлинь, что в южной провинции

Гуанси. Эта часть страны считалась глушью, но за время войны туда перебралось множество писателей и художников. Так что в октябре 1938 года отец увез жену и дочь в Гуйлинь. Они жили в маленькой комнатке в спартанской обстановке, с земляным полом, одной деревянной стеной и тремя кирпичными. Из-за тесноты им пришлось выставить печку в коридор.

Работа отца состояла в создании и редактировании литературного приложения к *Гуанси жибао*, за что ему платили несколько дюжин юаней в месяц — этого хватало на оплату аренды и бытовые расходы. Он считал, что ему очень повезло, ведь многие бежавшие в Гуйлинь писатели так и не смогли найти работу и зависели от жалких авторских отчислений или подачек друзей. В приложении было порядка десяти тысяч знаков, но половина отводилась под рекламу, и содержание было сумбурным. «Приложение превратилось в общественный туалет!» — возмущался он. Он и писал, и редактировал, и занимался корректурой, и день за днем искал авторов, и вел переговоры с типографией. Ему постоянно приходилось работать допоздна, и, пытаясь скрасить усталость, он пристрастился к курению.

В ноябре 1938 года японские самолеты снова стали бомбить Гуйлинь. В этих бомбежках погибло много гражданских, более десяти тысяч людей остались без крова. Дом отца и его семьи тоже пострадал от осколков снаряда, упавшего всего в нескольких метрах от него. Рано утром, когда небо только начинало светлеть, а большинство людей еще крепко спали, одетый не по погоде легко Ай Цин ворвался в комнату друга и принялся читать ему только что написанное стихотворение:

Будь я птицей —
Я пел бы надрывно
О земле, иссеченной дождями,
О рокочущем гневно потоке,
О без устали дующем ветре,
О лесных несравненных рассветах,
А потом бы я умер от песни,
И истлели бы перья в земле.
Почему на глазах моих слезы?
Эту землю люблю я безмерно…[15]

Я люблю эту землю, 1938 год

Этот период был самым плодотворным в поэтической карьере отца, и его работы снискали популярность. Экономя на всем, он

сумел собрать денег на публикацию сборника «Север», который распространялся и в мимеографических, и в рукописных копиях. В его печальных стихах полная тягот жизнь представала горькой и безотрадной, но читатели ощущали в них страстный и несгибаемый дух.

В апреле 1939 года беременная вторым ребенком Чжан Чжужу вернулась в Цзиньхуа, чтобы спокойно родить в домашней обстановке. Пока ее не было, отца привлекла молодая журналистка по имени Гао Хао, которая декламировала одно из его стихотворений на поэтическом вечере. Отец увидел, как много у них общего, и вскоре влюбился. Он поспешно написал Чжан Чжужу, предлагая развестись. Потрясенная жена ответила, что намерена как можно скорее вернуться в Гуйлинь. Гао Хао, со своей стороны, отвергла ухаживания отца, а потом вышла замуж за другого.

В искусстве отец был скрупулезен и требователен, но в любви — непрактичен и переменчив. В детстве ему не хватило тепла, а с тяготами и скитаниями взрослой жизни приходилось справляться самостоятельно, так что он был склонен к фантазиям и нереалистичным ожиданиям, считая, что любовь возносит человека над бытовыми проблемами. После неудавшихся ухаживаний за Гао Хао он заболел и впал в глубокое уныние.

Как-то вечером в июне 1939 года, пока жена еще не вернулась, в его жизни возникла его бывшая ученица по имени Вэй Ин. Во время учебы она боготворила Ай Цина и теперь приехала в Гуйлинь, явно чтобы встретиться с ним. Когда отец, все еще тоскующий от несчастной любви, услышал стук и открыл дверь, то с изумлением увидел ее. Она помогла ему выбраться из отчаяния и вскоре переехала к нему жить. К моменту возвращения Чжан Чжужу с их дочерью, Циюэ, брак уже было не спасти.

В сентябре 1939 года директор школы в Синьнине в соседней провинции — сельской Хунани — пригласил Ай Цина на должность учителя, и тот принял предложение и взял с собой Вэй Ин. Они поселились у подножия холма в простом доме из земляных кирпичей, неподалеку от реки Фуи, где под карнизом сушились перцы чили и листья табака, а у порога грудой лежали тыквы. Вся их мебель состояла из деревянной кровати, стола и табурета. По вечерам отец зажигал керосиновую лампу, готовился к уроку на следующий день и проверял домашние задания. Вернувшись в сельскую местность, он написал много стихотворений о деревенской жизни, где часто звучали нотки грусти, которые передавали нескончаемые тяготы крестьянского

быта. Его наблюдения обострили чувство социального неравенства и усилили уверенность в том, что право собственности на землю требует пересмотра.

В начале октября того года Чжан Чжужу вместе с Циюэ и еще одной супружеской парой отправилась в Синьнин. В дороге она родила мальчика и на месяц осталась в Синьнине, чтобы восстановиться. Она согласилась на развод, оставив новорожденного на попечение отца, а сама уехала с дочерью в Цзиньхуа. Отец никогда до конца не верил в брак, устроенный его родителями. Как и многие другие прогрессивные мужчины того поколения, отец считал такие браки пережитком феодального строя и в душе желал любить свободно, как было принято на Западе и все чаще стало встречаться в Китае. Через несколько недель двадцатидевятилетний отец женился на семнадцатилетней Вэй Ин.

В роли учителя отец вел себя весело и непринужденно, а его истории и шутки часто вызывали в классе взрывы хохота. Но преподавание имело весьма отдаленную связь с литературным творчеством, по которому изголодалась его душа. Писательство для отца было столь же важно, как сама жизнь.

Однажды Вэй Ин получила письмо от одноклассницы, которая жила на территории, подконтрольной Новой 4-й армии — главному воинскому формированию Коммунистической партии во время войны с Японией. Письмо рисовало яркую картину сложной, но вдохновляющей военной службы и приглашало Вэй Ин присоединиться. В глазах этой идеалистически настроенной девушки однообразная жизнь в синьнинской глуши не могла сравниться с новой жизнью в коммунистической зоне. В этот раз она не решилась действовать, но стремление служить на благо великой идеи у нее осталось.

Не только Вэй Ин хотела уехать — Ай Цин тоже был готов к переменам. Из Чунцина, китайской столицы военного времени, ему поступило предложение о работе от Тао Синчжи, директора школы Юйцай, известной тем, что в ней учились сироты войны и другие бездомные дети. Такую возможность нельзя было упускать. Так что он собрал книги и рукописи со стихами, и вместе с Вэй Ин и оставшимся на их попечении младенцем они сели на судно, которое должно было отвезти их на север.

Но им почти сразу же пришлось вернуться в Синьнин. В пути ребенок отказывался от еды и постоянно плакал, так что у отца не оставалось иного выбора, как найти ему кормилицу, чтобы та ухаживала за ребенком в своем доме. Со временем кормилица сочла плату недостаточной и передала младенца одному учителю и его жене. А потом его временные приемные родители,

встревоженные боевыми действиями в Хунани, увезли его в Гуйлинь, но еды и медикаментов в военное время не хватало, так что мальчик заболел и умер. Представить себе не могу, как горевал отец, узнав о смерти сына. Он любил детей, родительский инстинкт был в нем силен, и однажды он сказал, что без этого инстинкта у человечества не было бы будущего.

Ай Цин и Вэй Ин снова отправились в путь, на этот раз вдвоем, сев на пароход до Шаояна — их первой остановки на долгом и непростом пути до китайской столицы военного времени. Но теперь в их браке уже наметились трещины. Вэй Ин не переставало мучить то, что Чжан Чжужу оставила дитя с ними, и в их сердцах тихо зрел раздор.

С начала японской оккупации восточного Китая прошло более двух лет, и сложилась непростая ситуация: японцы контролировали восточную часть страны, в том числе прибрежные районы и низовье реки Янцзы, националистическое правительство — юго-запад и некоторые районы северо-запада, а коммунисты вели активную деятельность в разных местах по всей стране, особенно на северо-западе. После того как ранний период сотрудничества националистов и коммунистов закончился кровавой резней в 1927 году[16], коммунисты решили учредить так называемые советы (самоуправляющиеся коммунистические мини-государства) в отдаленных районах вроде южной Цзянси или западной Фуцзяни. Но в октябре 1933 года националисты окружили базу коммунистов в Цзянси, вслед за чем рабоче-крестьянская Красная армия начала эвакуироваться. После продлившегося в течение года отступления через всю страну, так называемого Великого похода, оставшиеся силы коммунистов перегруппировались на севере провинции Шэньси, в нищей северо-западной части Китая. К тому времени Мао Цзэдун уже заявил о себе как один из лидеров Коммунистической партии.

В декабре 1936 года два крупных военачальника Национальной армии поместили Чан Кайши под домашний арест и заставили его отказаться от попыток атаковать коммунистов и объединиться с ними в борьбе с Японией. Результатом этого так называемого Сианьского инцидента стал второй период сотрудничества между двумя партиями. В 1939 году Чунцин не только служил временным пристанищем для Националистического правительства, но и принимал делегацию от Коммунистической партии Китая.

В мае 1940 года отец и Вэй Ин после череды задержек наконец смогли сесть на пароход, идущий по Янцзы до Чунцина. Они уже потратили все деньги, так что спать пришлось прямо на

палубе, пока пароход шел через окутанные туманом Три ущелья. До Чунцина они добрались 3 июня 1940 года, и весь их путь занял больше месяца.

У Ай Цина не было ни гроша, так что он обратился за помощью в Ассоциацию работников искусств, и им с Вэй Ин нашли жилье в северном крыле штаб-квартиры Ассоциации с видом на реку Цзялин. Неделю спустя они стали свидетелями одной из многочисленных бомбежек, от которых военная столица Китая страдала на протяжении всего конфликта с Японией. Стены и потолок их комнаты прошила шрапнель, пол был завален осколками, и отцу пришлось ползать на коленях, отыскивая среди осколков плитки и стекла дорогие его сердцу книги, письма и рукописи.

Тем временем на другой стороне планеты война пришла в Западную Европу. С апреля по июнь 1940 года немецкие войска вторглись в Данию, Норвегию, Нидерланды и Францию, а 14 июня вошли во французскую столицу. На следующий день Ай Цин написал «Реквием по Парижу»:

> Трехцветный красно-бело-синий флаг
> Спустили.
> Вместо него парит
> над площадью Согласия
> над Сеной
> кроваво-красный — с черным ломаным узором.
> …
>
> Прекрасные строенья пали.
> За ними пали
> широко бегущие над входом слова
>
> «Свобода, равенство и братство»… [17]

Для него падение Парижа — его духовной родины — стало тяжелой утратой.

К концу июня 1940 года отец стал преподавать литературу в школе Юйцай, которая находилась в поселке на безопасном расстоянии от Чунцина. Он испытывал облегчение от возвращения в спокойную горную деревушку. Здесь он мог устроить жизнь на свой лад: вставать рано утром и писать до завтрака. В некоторые дни в небе показывался эскадрон японских бомбардировщиков, и, услышав звук моторов, отец набрасывал на плечи куртку и выбегал наружу, чтобы пересчитать их. Вскоре он понял, что их стандартный боевой порядок предусматривал вылет

двадцати семи самолетов.

Летом 1940 года в больнице Цзиньхуа в возрасте пятидесяти трех лет умер мой дед, и бабушка в письме моему отцу попросила его приехать домой и помочь с устройством похорон. Обычаи в наших местах предписывали человеку умирать в собственной постели, а поскольку дед испустил последний вздох вдали от дома, считалось неприличным привозить его тело в деревню. Поэтому гроб оставили пока за околицей, и семья попросила монахов приходить и семь дней читать сутры, чтобы душа умершего могла перейти в загробный мир. Уже наступало время сбора урожая, самое жаркое в году, и тело деда начало разлагаться. От гроба разносился такой ужасный запах, что жители деревни обходили его стороной. Перед погребением пошел ливень, дождевая вода проникла в гроб, из-за чего зловонная жижа начала просачиваться сквозь трещины.

Вскоре после смерти деда японские войска стали грабить деревни в районе Цзиньхуа, и многие местные жители укрывались в холмах. Но один из них, сын помещика, безрассудно пальнул из ружья в сторону мародеров, японцы же в ответ сожгли всю деревню. Три дня и три ночи бабушка прорыдала, сидя посреди обломков своего дома, и вскоре тоже умерла.

Отец так и не выбрался домой для устройства похорон своих родителей. В написанном в Яньане стихотворении он объяснил почему:

Прошлой весной он написал мне пару писем
и умолял — в надежде, что я вернусь.
Хотел мне дать наказ о чем-то важном:
имуществе, земле.
Но я пошел наперекор его надеждам
и не приехал в отчий дом:
Боялся, что долг перед семьей
разрушит мою юную судьбу.
И вот отец
тихонечко лежит в земле.
На похоронах
я не держал ни траурной хоругви,
ни платьем из холстины не прикрывал свой траур.
Хрипя песню,
мечусь в огне и дыме освободительной войны…
Мать слала письма, велела возвращаться
и навести порядок в расстроенных делах.

Но я не захотел закапывать себя живьем,
безжалостно отринул ее просьбы.
Войне спасибо
за силы, поднявшие мне дух
Я удаляюсь от дома прочь…
С тех пор как я узнал,
что в мире есть и лучшая мечта,
Я понял, что верен должен быть не дому,
А священной вере,
принадлежащей всем[18].

Утром 25 сентября 1940 года Чжоу Эньлай, командующий отделением 8-й армии в Чунцине, которое служило административным звеном Коммунистической партии Китая, посетил школу Юйцай. В обращении к учителям и ученикам он изложил свое видение текущей политической обстановки, обнадежив их оптимистичным прогнозом относительно исхода войны с Японией. Чжоу тепло поприветствовал моего отца и отметил, что был бы рад его вступлению в ряды левых интеллектуалов, которых в Яньане, оплоте коммунистов, становилось все больше. «Если наши друзья вроде Ай Цина приедут в Яньань, они смогут писать, ни на что не отвлекаясь и не беспокоясь о бытовых нуждах». Такие уговоры не могли не подействовать на отца, который мечтал полностью посвятить себя литературе.

После выхода из тюрьмы в 1935 году он побывал в десятке провинций, проехал огромные расстояния и сменил более десятка работ. Он с нетерпением ждал, когда же закончатся скитания и нищета. Но, невзирая на все трудности, он опубликовал более двухсот стихотворений и эссе, а также три сборника поэзии, исполнив клятву писать с тем же несгибаемым упорством, с каким солдат идет в сражение.

После Инцидента в южной части провинции Аньхой, произошедшего в 1941 году, когда силы Гоминьдана разгромили Новую 4-ю армию, отношения между двумя партиями ухудшились. Если бы пришлось выбирать между Гоминьданом под руководством Чан Кайши и Коммунистической партией, многие прогрессивные интеллектуалы предпочли бы второе. В таком выборе присутствовал элемент слепой надежды, но такие заманчивые идеи, как прогресс и освобождение, были мощными противоядиями от отчаяния. Мао Цзэдун призвал Коммунистическую партию привлекать в свои ряды как можно больше интеллектуалов. «Политика завоевания поддержки со

стороны интеллигенции является важнейшим условием победы революции, — утверждал он и добавлял: — Перо должно объединиться со штыком». За этими жизнеутверждающими декларациями таилась более сложная действительность: в молодости Мао безуспешно пытался получить работу в библиотеке Пекинского университета, что, вероятно, сформировало его предубеждение против научных работников, которое можно видеть в его более поздних словах и действиях.

Люди все больше сомневались в законности режима Гоминьдана, а образ Коммунистической партии менялся от зачинщика беспорядков до поборника национальных интересов. Яньань превозносили как рай, где царят равенство, свобода и демократия, как модель демократического Китая. Бытовые нужды обеспечивались системой военных поставок, основанной на принципе эгалитаризма, и коммунисты, отвергавшие этические нормы конфуцианства и традиционные ценности элит, отстаивали гендерное равенство и массовую культуру.

Особенно привлекал Яньань молодых, идеалистически настроенных интеллектуалов, таких как Вэй Ин. Однажды вечером она, несмотря на то, что была на восьмом месяце беременности, объявила, что не собирается больше ждать: она хочет немедленно отправиться в Яньань, даже если придется рожать в дороге. Она считала, что в этой коммунистической Мекке ребенка можно будет оставить в яслях, а самой посвятить себя работе на полную ставку. Они больше ничего не сказали друг другу в тот вечер, но когда Вэй Ин наутро проснулась, отец поднял глаза от книги, которую читал, и сказал ей просто: «Поступай как знаешь».

Коммунистическая партия разработала план помощи некоторым важным деятелям культуры в Чунцине, чтобы помочь им вместе с супругами эвакуироваться в более безопасные места вроде Гонконга, Яньаня или Гуйлиня. Одним туманным утром Вэй Ин узнала, что есть транспорт, который может довезти ее до Яньаня вместе с другими женщинами, причем некоторые из них тоже были на сносях. «Берегите себя в пути, — призывал Чжоу Эньлай. — Совсем скоро мы увидимся снова». Вэй Ин родила сразу после приезда в Яньань. После родов она была так слаба, что новорожденного пришлось поручить соседям, а к тому времени, когда она пришла в себя, ребенок уже умер.

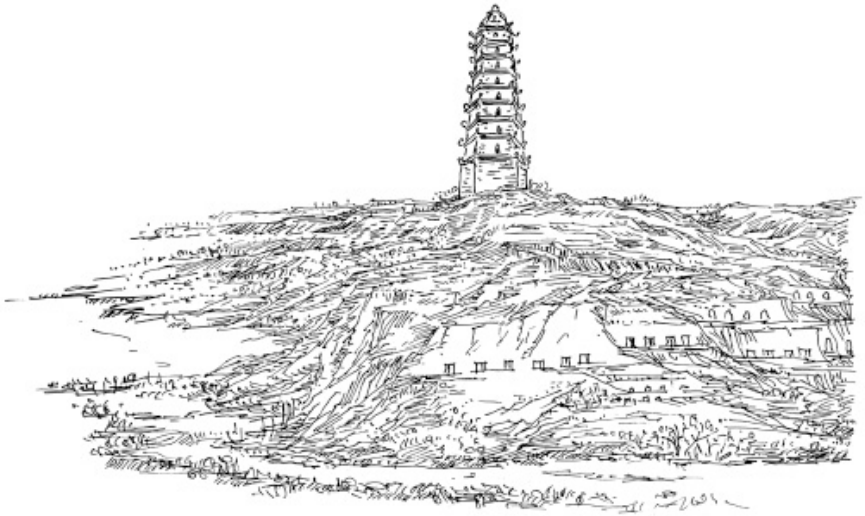
Многие друзья отца уже уехали из Чунцина. Он заметил, что за ним по улицам ходят шпионы Гоминьдана, и оставаться на подконтрольной националистам территории казалось все опаснее. Независимо от путей, выбранных на перекрестках жизни, в Китае тяжело не стать игрушкой в политической борьбе, а жизнь

в Яньане, как потом окажется, несла свои риски.

Чжоу Эньлай очень хотел, чтобы отец присоединился к делу коммунистов, и передал тысячу юаней на дорожные расходы, посоветовав держаться основных дорог. Чжоу сказал, что, если отца вдруг задержат, нужно отправить телеграмму Го Можо — поэту и историку, который имел связи и в коммунистических, и в националистических кругах. Бывший ученик отца, у которого были нужные люди в администрации, справил ему фальшивое удостоверение высокопоставленного правительственного консультанта, и четырем его спутникам тоже выдали поддельные документы. Чтобы походить на важного деятеля, отец надел шубу с воротником из выдры, а другие представлялись либо членами его семьи, либо секретарями и телохранителями. Они сели в автобус дальнего следования, который поздним вечером привез их в Яосянь, что в центре провинции Шэньси. Люди там ждали в длинной очереди, чтобы их пустили в город, пока не закрыли ворота. Караульные на входе осматривали их группами по четыре-пять человек. За месяц пути отцу и его спутникам пришлось преодолеть сорок пять постов Гоминьдана, и если бы даже одного из них разоблачили, немедленный арест грозил бы всем. Когда наконец показалась знаменитая яньаньская пагода на вершине холма, уставшие путники радостно запели Интернационал — революционную балладу времен Парижской коммуны.

На лишенном лесов севере провинции Шэньси большинство людей жили в пещерах. Их выкапывали в склоне холма. Такие пещеры защищали от сурового климата, и одну из них выделили отцу и Вэй Ин. В честь приезда знаменитого поэта Чжан Вэньтянь, генсек ЦК Коммунистической партии Китая, и Кай Фэн, секретарь отдела пропаганды ЦК, нанесли ему визит. Чжан Вэньтянь с очками на кончике носа впечатлил отца своей образованностью. Они поприветствовали его и расспросили, в чем он нуждается, а под конец предложили выбрать, в какой из двух культурных организаций он станет работать: в Институте искусств имени Лу Синя или в яньаньском отделении Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства по отпору врагу. Он выбрал вторую организацию, которая ему была лучше знакома, и возглавляла ее известная писательница Дин Лин.

В жизни Ай Цина началась новая глава. Он покинул мир самовыражения, и его деньки писательской вольницы подошли к концу.



Холм Пагоды, Яньань

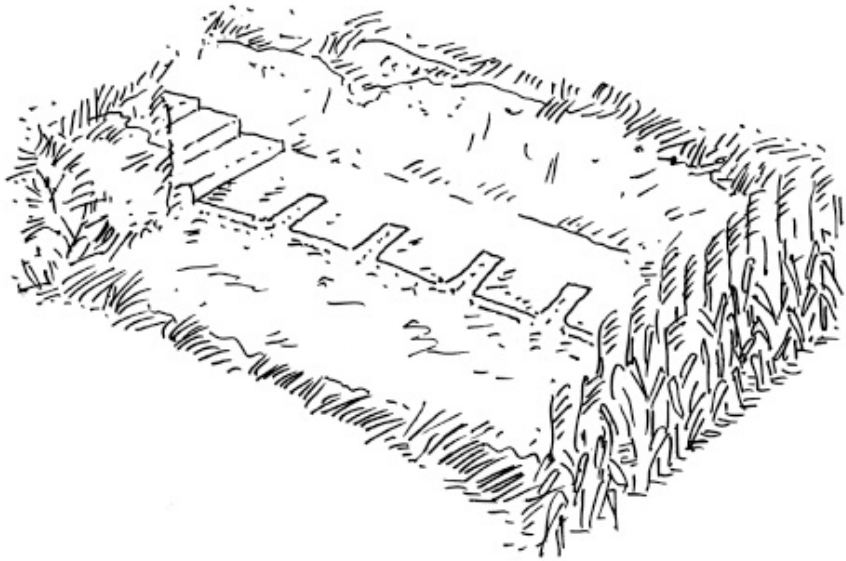
Глава 5. Новая эпоха

Благодаря дотошности отца, подрезавшего ветви деревьев, через несколько месяцев лес вокруг нашего производственного подразделения в «маленькой Сибири» стал выглядеть куда лучше и даже привлекал одобрительные взгляды других рабочих. Руководство не сразу поняло, что совершило ошибку, поручив «правому элементу» облагораживать среду, ведь наказание оказалось недостаточно суровым. Теперь, чтобы сделать его жизнь еще более унизительной, его заставили чистить уборные. Это был самый изнурительный и неприятный труд, поскольку всего на территории было тринадцать общественных туалетов, каждый по несколько рядов дыр над выгребной ямой.

Для новой работы отцу выдали и новые инструменты: плоскую лопату, железный совок с длинной ручкой и стальной прут чуть толще большого пальца. Последний предмет очень пригождался зимой, когда кал замерзал и превращался в ледяные колонны.

Прежде чем приступать к очередному отхожему месту, отец неизменно закуривал сигарету и оценивал объем работы, будто осматривал скульптуру Родена. Никотин придавал ему отваги, необходимой, чтобы приняться за дело.

Зимой, когда отец орудовал прутом, могло показаться, что толку от этого инструмента немного — только летящие ему на лицо и одежду осколки льда. Но усердие в итоге вознаграждалось: удар за ударом выбивали в основании колонны углубление, и наконец башня из дерьма падала. Затем он переходил к финальному этапу: раскалывал заледеневший кал на кусочки поменьше и вытаскивал по одному. Летом его работа выглядела иначе: сначала нужно было отделить жидкие отходы от твердых, вычерпывая мочу совком через дыру, а потом засыпать кал песком и гашеной известью, чтобы на него слеталось меньше мошек и комаров.



Общественные туалеты

Туалетной бумаги в те времена не водилось, так что люди использовали самые разные ее заменители — от кукурузных стеблей и хлопчатника до набивки, вытащенной из дырявых ватников, и листочков из пустых сигаретных пачек. (Выступающие углы стен считались весьма пригодными для вытирания зада, так что их тоже активно использовали.) Газеты же не использовали по той причине, что на каждой странице красовались имя Мао и несколько его цитат, а если подтереться клочком газеты, спрятать его некуда. А если бы кто-то обнаружил такое кощунство, доложил бы, предъявив вещественное доказательство серьезного «контрреволюционного инцидента». Никто не хотел идти на такой риск.

После чистки ям отец брал квадратную лопату и выравнивал углы туалета, укладывая сверху ровный слой свежей земли. Когда он делал финальный осмотр, сортир все еще оставался неприглядным местом, но по крайней мере выглядел аккуратнее, чище и приличнее. Теперь он мог закинуть лопату на плечо и направиться к следующему туалету.

За те пять лет, что мы провели в «маленькой Сибири», отец не отдыхал ни дня. Он прекрасно знал, что если возьмет выходной, то на следующий день придется работать за двоих. Даже в самые холодные зимние дни, когда температура опускалась ниже минус пяти градусов по Цельсию, от тяжелого труда одежда отца

насквозь пропитывалась потом, и он каждый вечер развешивал ее сушиться.

Отец стоически сносил свою судьбу. Говорил, что раньше не задумывался о том, кто чистит туалеты для него, и не так уж странно, что теперь он чистит их для других. Такой взгляд на мир отражал его терпимость, щедрость духа и приверженность идее равенства. Он презирал суеверия, запугивания и жестокость в любой форме и, никогда не предавая принципов честности и достоинства, умел приспосабливаться к обстоятельствам. Должен признать, что мне далеко до такой выдержки.

В Яньане, двадцати шестью годами ранее, отец жил в изоляции иного рода. Город с трех сторон окружали горы — Фэнхуан, Баота и Цинлян, а три соединенных друг с другом ущелья тянулись на запад, восток и юг. Какой бы дорогой он ни пошел из своей пещеры, до штаб-квартиры Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства по отпору врагу идти было долго, так что он не выходил из дома без серьезной причины. Курьеры приносили ему почту и забирали письма. Бумаги не хватало, так что отец клеил конверты из старых газет с полоской бумаги сверху для имени и адреса.

В 1941 году в культурных кругах Яньаня все еще преобладала расслабленная атмосфера, и, хотя материальных благ не хватало, интеллектуалы (особенно такого статуса, как у Ай Цина) имели определенные привилегии. Отцу выдали форму 8-й армии и зимний ватник, и каждый месяц он получал небольшую стипендию. Еда, лекарства и кипяченая вода были бесплатными. Солдат приносил еду в пещеру отца из центральной кухни, а после он же уносил пустую миску обратно. В апреле 1942 года у отца с Вэй Ин родился еще один ребенок, первый из тех четырех, кто выжил. Это была дочь, и назвали ее Ай Цинмин. Жене и ребенку продовольственный паек не полагался, так что они питались в общей столовой.

В июле 1941 года Чжоу Ян, декан Института искусств имени Лу Синя, опубликовал эссе под заголовком «Заметки о литературе и жизни», в котором возмущался, что некоторые писатели в Яньане «оказались неспособны написать что-либо дельное». Это побудило Ай Цина вместе с четырьмя другими авторами подписать письмо, опровергающее обвинение, что усугубило подспудный раскол между партийными идеологами вроде Чжоу Яна и более либерально настроенными интеллектуалами.

Несколько дней спустя, ближе к вечеру 11 августа 1941 года, авторам протестного письма нанес визит Мао Цзэдун, тогда еще не председатель партии, но уже самая влиятельная политическая фигура в руководстве КПК. Спускаясь по склону в сторону отцовской пещеры, он сделал знак своим телохранителям остаться позади и пошел здороваться с отцом один. На той первой встрече с Мао у Ай Цина сложилось впечатление, что это вдумчивый, уравновешенный и начитанный человек, свободно цитирующий самые разные источники. После этого Мао пригласил его вместе с соседями спуститься с горы и поужинать у него, и на ужин подавали, помимо прочего, свиную грудинку, соленую рыбу и яйца. Мао внимательно слушал и что-то записывал, смеялся, то и дело шутил.

И все же осадок после истории с «Заметками» Чжоу Яна у отца остался, а иллюзий по поводу Яньаня поубавилось. До этого он не вполне понимал, как функционирует КПК. Дух «4 мая» предполагал демократию, свободу, независимость и равенство, но эти ценности рано или поздно должны были вступить в противоречие с идейным единством, централизованным руководством и коллективизмом, которых требовала Коммунистическая партия.

В декабре 1941 года Ай Цин выразил свои сомнения в стихотворении, которое озаглавил просто — «Эпоха».

Я стою под низким карнизом,
Рассеянно посматривая на далекую линию взгорья,
На бескрайний простор небес.
Сердце уже давно в предчувствии чуда.
Я вижу вспышку, сияние —
Моя душа вздрагивает, словно ее коснулся луч солнца.
От небесной черты докатывается глухой рокот,
Возникает бешеный свист, будто налетел шквал с ливнем, —
И вот это здесь, со мной…
Мой дух устремляется навстречу, я кричу, ликуя!
Когда с заснеженных гор, придавленных темными тучами,
Достигает меня скрип громадных колес, что катят по выбоинам дороги,
Сердце мое устремляется навстречу и колотится в волнении,
Словно я жених и тороплюсь на собственную свадьбу.
А ведь мне ведомо, что не праздничная сумасшедшая радость ждет меня,
Не цирковое веселье, —
Тысячи скотобоен не дадут представления о жестокостях, которые поджидают меня.
И все-таки я стремлюсь туда, навстречу,
С энтузиазмом, что накопил за всю свою жизнь.

«Эпоха» — одна из самых пронзительных работ его яньаньского периода. Это стихотворение говорит о новой эпохе, обещанной находящимся в процессе становления коммунистическим государством, но его омрачает зловещий подтекст:

Никто не страдает острее, чем я.
Я предан эпохе, я слит с эпохой, но я молчу
Уныло, как преступник в узилище.
Это его молчание, когда под конвоем идет он к месту казни.

Он уже чувствовал, что верность своей эпохе — служение зарождающейся новой власти — будет иметь судьбоносные последствия, но выбора, кажется, не оставалось.

Я люблю ее, победившую все, что я любил прежде.

Я жизнь отдам — только б она пришла,
Отдам все — тело и душу.
Я прах перед ней,
Я бросаюсь перед ней наземь —
Пусть она, как лошадь копытами, топчет мою грудь[19].

Стихотворение передает зловещее предчувствие серьезных перемен и личной катастрофы, которые принесет отцу китайская революция 1940-х годов. Но он не мог предвидеть, как скоро члены яньаньского культурного сообщества окажутся в западне опасных политических событий.

Левые интеллектуалы, разочаровавшись в правительстве националистов, устремились в Яньань, но, оказавшись там, поняли, что Коммунистическая партия не чужда коррупции и произвола, так начало зреть недовольство. В марте 1942 года Дин Лин, самая известная писательница Яньаня, опубликовала эссе под заголовком «О 8 Марта», которым хотела привлечь внимание к неравенству и негласному угнетению женщин в этом считавшемся прогрессивным сообществе.

Ай Цина и раньше беспокоила критика, которой подвергали авторов. Когда Дин Лин предложила ему поделиться мыслями, он охотно ответил, написав энергичное эссе «Понимать писателя, уважать писателя», в котором решительно защищал право автора на самовыражение в любой форме, язвительно отмечая: «Писатель не жаворонок и не певичка, развлекающая своим пением». Для отца свобода самовыражения была обязательным условием любой существенной литературной работы. «Помимо свободы писать, — продолжал он, — авторам больше не требуется никаких привилегий. Демократия может гарантировать независимый дух их художественного творчества».

Другие авторы, еще более прямолинейные, обсуждали нарастающие тенденции к бюрократической халатности, межфракционной борьбе и культу личности. Семнадцатого марта Ван Шивэй опубликовал эссе под заголовком «Дикие лилии», где обращал внимание на теневую сторону Яньаня: разочарование интеллектуалов, их тревогу по поводу иерархической системы и привилегии руководства. Многих задело за живое, что он упомянул «довольно благополучных „важных особ“, получающих чрезмерные и незаслуженные льготы». Прочитав эссе Вана в *Цзефан жибао*, Мао хлопнул ладонью по столу и спросил с издевкой: «Кто тут главный, Карл Маркс или Ван Шивэй?»

Он потребовал, чтобы редакторы повинились за то, что пропустили это в печать, и пообещали больше не допускать таких

ошибок. Мао считал, что критика партии наносит не меньший ущерб, чем военное поражение, и может ослабить боевой дух или даже поставить под вопрос легитимность власти.

В апреле 1942 года посыльный доставил отцу письмо от Мао: «Я бы хотел кое-что с вами обсудить. Пожалуйста, приезжайте, если можете». При встрече Мао начал с шутливого признания: «Мне нравится изображать патриарха. — А затем продолжил: — В литературных и художественных кругах Яньаня сейчас много проблем. Люди недовольны многими публикациями. Есть среди них такие, будто их забросили японские самолеты, а другим место в газетах националистов».

Мао спросил, как, по мнению Ай Цина, следует поступить. Отец об этом раньше не думал и ответил наобум:

— Что, если провести собрание, на котором вы выступите?

— Будут ли мое выступление слушать люди?

— Я уж точно буду, — ответил он.

Два дня спустя он получил еще одно письмо от Мао: «Что касается вопросов культурной политики, о которых мы толковали, прошу вас собрать для меня все критические комментарии и поделиться соображениями на этот счет». Он особо подчеркнул слово «критические», нарисовав под ним три кружочка. Ай Цин не понял, что имелось в виду под «критическими комментариями», так что не стал сосредоточиваться на них и вместо этого просто изложил собственные взгляды и отправил Мао.

В эссе он исследовал отношения между искусством и политикой и размышлял, о чем стоит писать и как писать. Пытаясь улучшить жизнь людей, считал Ай Цин, литература и искусство ставят перед собой те же цели, что и политика, но литература и искусство не придаток политики — это не что-то вроде граммофона или мегафона. Единение литературы и искусства с политикой находит выражение в достоверности: чем правдивее произведения, тем ближе они к прогрессивным политическим течениям своей эпохи.

Несколько дней спустя Мао ответил: «Благодарю за письмо и эссе. Я бы охотно обсудил их с вами. Река разлилась, так что я пришлю за вами лошадь». В апреле в комнатах Мао все еще было холодно, и глава партии был в старом ватнике с такими изношенными рукавами, что оттуда торчала набивка. «Мы прочитали вашу работу, — сказал Мао, — и хотели бы поделиться нашими впечатлениями». Эссе Ай Цина прочитали коллеги Мао из партийного руководства, и Мао собственноручно написал комментарии на нескольких листах бумаги. Пол был неровный, и деревянный стол чуть шатался, так что Мао вышел из дома и

вернулся с осколком плитки, чтобы подложить его под одну из ножек стола. А потом изложил свои взгляды, которые не совсем совпадали с отцовскими.

Второго мая началось Яньаньское совещание по вопросам литературы и искусства. Чжоу Ян составил список участников до его начала, и Мао отправил приглашения более чем ста писателям и деятелям искусства. После обеда в назначенный день люди собрались в большом зале совещаний в Янцзялине. Вокруг длинного стола, покрытого скатертью, стояло около двадцати табуретов, и еще два ряда табуретов — вдоль северной стены. Деревянное кресло, а не табурет, занимало центральную позицию за столом и явно предназначалось для председателя. Мао прибыл ровно в 1:30 пополудни и обошел комнату, пожимая всем руки.

«Кажется, стульев не так много, — заметил Мао, открывая заседание. — Их просто не хватило. В будущем нужно будет поставить больше кресел». Таким образом он сделал завуалированную отсылку к комментариям по поводу власти и привилегий, которые звучали в Яньане. Это было не столько замечание о необходимости мест для сидения, сколько сардоническая реакция на жалобы некоторых людей на несправедливость.

«Чтобы победить врага, — продолжил Мао, — мы прежде всего должны опираться на армию, у которой в руках винтовка… Но одной только этой армии недостаточно: нам нужна еще армия культуры[20]. Первую возглавляет главнокомандующий Чжу, а вторую — главнокомандующий Лу». Под Чжу он подразумевал Чжу Дэ, главу коммунистической армии, а под Лу — Лу Синя, погибшего в Шанхае за несколько лет до этого, но остававшегося символом левого активизма. Аудитория одобрительно засмеялась. Многие из них раньше не понимали, насколько важны для Мао литература и искусство. До этого форума интеллектуалы в целом считали, что культура и революция — явления параллельные и одного порядка; целью собрания было прояснить, что литература и искусство должны служить партии, как солдаты повинуются приказам офицеров.

После первого пленарного заседания 2 мая были проведены еще два — 16 и 23 мая, где Мао сказал заключительное слово. Среди выступающих не было согласия; писатели высказывали свои соображения и обосновывали их. Отец и Дин Лин периодически вступали в обсуждение. Большую часть времени Мао сидел с ничего не выражающим лицом и не вмешивался, даже когда высказывались радикальные взгляды.

В последний день форума все сто девять участников выстроились во дворе для группового портрета. Фотограф уже

приготовился было щелкнуть затвором, как в кадр вбежала собака. «Кан Шэн, держите свою псину!» Все засмеялись. Кан Шэн в Яньане отвечал за контрразведку и отлов «гончих псов»[21].

Годы спустя я, маленький мальчик, рассматривал сделанную в тот день широкоформатную черно-белую фотографию. Мао сидит в центре первого ряда, Дин Лин — в четырех местах от него. Отец стоит с правого края, рядом с Чжоу Яном. Подобно «Тайной вечере», эта фотография поражала атмосферой горечи и тайны и воспринималась мной как что-то очень далекое и незнакомое.

После ужина во дворе установили висячую лампу, и все вышли, чтобы послушать там заключительную речь Мао. «Ай-я-яй, это не так-то просто», — бормотал Мао, глядя в свои записи. Но как только он начал говорить, его сильный хунаньский акцент привлек всеобщее внимание. «Вопрос о том, кому должны служить литература и искусство, — сказал Мао, — это основной вопрос, вопрос принципиальный. Наши литература и искусство служат широким народным массам, прежде всего рабочим, крестьянам и солдатам; они создаются для рабочих, крестьян и солдат, ими пользуются рабочие, крестьяне и солдаты». Концепция масс была одной из его любимых, и когда он использовал этот термин, то имел в виду простых людей, которые повиновались воле и решениям партии.

Речь Мао на Яньаньском совещании в итоге изменила понимание китайскими интеллектуалами их миссии. Он уделил особое внимание вопросам целевой аудитории писателя и его отношения к работе, призывая авторов ориентироваться на потребности рабочих, крестьян и солдат, а не читательской элиты. Идеологи движения «4 мая» в интеллигенции видели ядро общества: она должна была нести ответственность за просвещение и социальную критику. Мао же считал, что интеллектуалы не должны стремиться сделать других людей такими, как они, наоборот: им следует работать над собой, быть такими, как все, прекратить социальную критику и посвящать больше времени самокритике. Форум сыграл более важную роль, чем ожидали участники, так как сформулировал программный документ, который будет еще несколько десятилетий диктовать судьбу китайской культуры. Роль интеллигенции была полностью переосмыслена, и теперь всех романистов, поэтов и художников обозначали одним всеобъемлющим термином: «работники литературы и искусства».

С этого момента Ай Цин и его собратья-писатели обнаружили, что альтернативных путей у них нет. После победы над Японией шанс на свободное волеизъявление мог появиться, а

мог навсегда остаться недоступным. А пока любые возражения заглушались — подавлялись — голосом партии и линией партии, и все их надежды обернулись фарсом.

Учитывая постоянную угрозу политического вмешательства, лишь оппортунизм позволял им отвоевать немного пространства для жизни, и единственным исходом была затхлая посредственность. Коммунистическая партия Китая и левые интеллектуалы были словно два небесных тела Солнечной системы: им случалось двигаться параллельно, но у каждого была своя орбита, и они неизбежно отдалялись друг от друга. В последующие годы интеллектуалам пришлось приспосабливаться ко все возрастающему давлению, которое в итоге вылилось в Кампанию против «правых элементов» 1957 года, которая окончательно положила конец влиянию интеллектуалов на общество. После этого китайских интеллектуалов превратили в маргиналов, какими они и остаются по сей день.

Вскоре после окончания совещания отец, обеспокоенный тем, что его творческое вдохновение иссякает, написал письмо Мао. Он намеревался отправиться в отдаленные нищие деревни, чтобы проводить больше времени с простым трудовым людом и находить материал для своей поэзии. Похвалив за инициативу, Мао предостерег его от этой поездки, ссылаясь на то, что во многих районах все еще представляют опасность японцы. Вместо этого он посоветовал отцу остаться в Яньане и учиться, в частности, познакомиться с историческим материализмом и классовыми отношениями в деревне. Ай Цину стоит как следует разобраться в этих вопросах, подчеркнул Мао, чтобы лучше понять китайские реалии и намеченный путь.

Одним солнечным днем Мао остановился у дома отца и, рассматривая овощи и цветы вокруг его пещеры, заметил, что у писателей и политических лидеров бывают разногласия: к примеру, Ленин не всегда сходился во взглядах с Горьким. Чтобы развиваться и достичь победы, сказал он, иногда необходимо наводить порядок в мыслях членов партии, но никем не жертвовать.

Вскоре, однако, движение за «выправление стиля работы партии» ужесточило борьбу, и появились первые жертвы. Цель состояла в повышении уровня идеологического единства и согласия при помощи самокритики и взаимной слежки — методы принуждения скоро станут привычными инструментами партии.

Разведка КПК сообщила, что в партийных рядах куча шпионов, и попросила членов партии спасти людей, которые сознательно или неумышленно помогали врагу. Личные дела

партийцев стали тщательно исследовать на предмет малейших следов подозрительной деятельности, и почти каждый подвергся жестоким допросам; людей держали в изоляции, угрожали им, пытали, заставляя наговаривать на себя или доносить на других. Из тридцати тысяч работников и студентов Яньаня по меньшей мере половину обвинили в шпионаже.

Вынужденные приспосабливаться, все погрязли в идеологическом болоте критики и самокритики. Мой отец раз за разом писал самокритические работы, и, когда контроль за мыслями и самовыражением стал угрожать его жизни, он, как и другие, начал обличать Ван Шивэя, автора «Диких лилий», заняв публичную позицию, которая шла вразрез с его внутренними убеждениями.

Подобные вещи происходили в Яньане в 1940-х годах, случались в Китае после 1949 года, да и теперь происходят. Должен заметить, что идеологические чистки существуют не только при тоталитарных режимах — они присутствуют в разных формах и в либеральных западных демократиях. Под влиянием политкорректного экстремизма индивидуальное мышление и самовыражение часто вытесняются пустыми политическими лозунгами. Несложно найти примеры, как в наши дни люди говорят и совершают то, во что на самом деле не верят, лишь бы не выпадать из господствующей риторики, и делают неискренние публичные заявления.

После смерти отца я убедил мать обратиться в Союз писателей КНР с просьбой открыть нам его засекреченное досье. Такие досье содержали конфиденциальную информацию о политических взглядах человека; туда включали и собственные заявления, и обвинения, выдвинутые другими людьми, а также официальные партийные характеристики. Но мне так и не удалось получить доступ к этим документам: матери категорически отказали. Не имея доступа к полному архиву, безответственно делать выводы о поступках других людей, а когда человек ушел из жизни и не способен оправдаться и объясниться, всякая объективность исчезает. Мы не можем знать, что отец думал о том периоде своей жизни, так что любые мои оценки его поведения в Яньане неизбежно субъективны.

В июне 1942 года Ван Шивэя объявили одним из пяти членов так называемой антипартийной банды, исключили из Коммунистической партии и посадили в тюрьму по обвинению в контрреволюционном троцкистском шпионаже. В 1947 году его казнили.

Однажды партийный секретарь Ассоциации пришел к Ай

Цину. Поболтав немного о том о сем, он вдруг посмотрел отцу в глаза и спросил, почему в 1935 году его досрочно освободили из исправительной тюрьмы в Сучжоу. Еще он говорил, что отец должен объяснить партии, что делал в *Гуанси жибао* в 1938 году. Отец на время потерял дар речи, шокированный такой проверкой. Он понял, что его подозревают в сотрудничестве с националистами, и не знал, какое будущее это ему сулит. Уходя, партийный секретарь строго посмотрел на него и сказал, что все должны нести ответственность за свои поступки и никуда от этого не деться.

Атмосфера вокруг этих расследований сгущалась, писателей принудительно отправляли в Центральную партийную школу для «перевоспитания» и «спасения». Каждый день их заставляли изучать заданные тексты и работы Мао, постоянно допрашивали и принуждали записывать самокритику. Ай Цину разрешалось возвращаться домой только раз в неделю, и, едва добравшись, он ложился. Его лицо было серым. Когда ему приказывали писать «признания», он ходил взад-вперед по своей пещере, терзаясь сомнениями. Некоторые не выдерживали такого давления и выбирали самоубийство. Для них сведение счетов с жизнью было единственным способом прекратить унижения.

Я не слишком хорошо представляю себе пережитое отцом в тот период, поскольку он упоминал об этом лишь вскользь, и зная, что все равно ничего не исправить, я не настаивал. Лишь потом, когда я и сам стал мишенью государственных репрессий, я постепенно начал понимать, через что ему пришлось пройти. При расспросах я старался не высказывать все, что думаю по тому или иному поводу, инстинктивно избегая опасных тем.

Говорят, что подозрения с Ай Цина сняли только после возвращения Чжоу Эньлая с территории, подконтрольной Гоминьдану. Со временем, отозвавшись на призыв Мао служить рабочим, крестьянам и солдатам, отец завоевал доверие партийного руководства, и в марте 1945 года его приняли в Коммунистическую партию как полноправного члена.

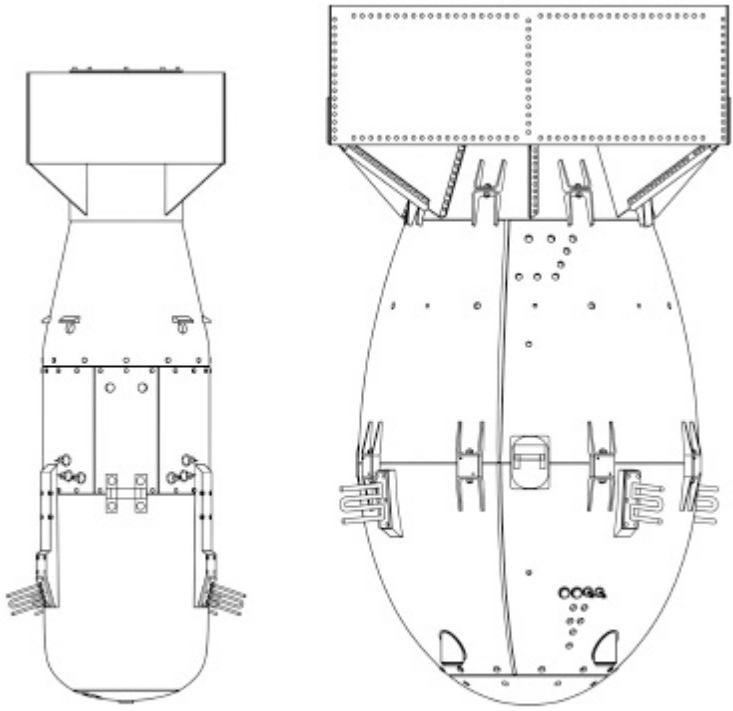
В апреле 1945 года «выправление стиля партработы» наконец закончилось, и в Яньане провели Седьмой съезд КПК — это был первый партийный съезд, на котором ключевой доклад делал Мао Цзэдун. Над председательским местом висел огромный портрет Мао с лозунгом: «Вперед к победе под знаменем Мао Цзэдуна», это сигнализировало о том, что китайские революционеры отказались от советских большевистских догм и теперь прокладывали собственный путь. Руководящей позиции Мао уделялось особое внимание. Лю Шаоци и Чжоу Эньлай вместе с

остальными выкрикивали: «Да здравствует товарищ Мао Цзэдун!» Имя Мао в партийном докладе встречалось 130 раз, и его провозглашали одаренным и творческим марксистом и величайшим революционером, политиком, теоретиком и ученым в истории Китая. Вышитые в его честь флаги покрывали все стены зала.

В тот год Ай Цина критиковали за отсутствие новых работ, что усугубляло его сомнения в собственной роли. Его переназначили главой литературного отделения Института искусств имени Лу Синя. Каждый день он читал лекции о поэзии во дворе Института, а студенты сидели вокруг на складных стульях, положив тетради на колени. В своих лекциях он анализировал произведения любимых авторов: Уитмена, Пушкина, Есенина, Верхарна.

Вечер 15 августа 1945 года поначалу, казалось, ничем не отличался от остальных вечеров. Но вдруг у подножия холма одна за другой стали взрываться петарды, и люди побежали по склону с возгласами «Япония капитулировала!» Жители пещерных домов прыгали от счастья и бежали рассказывать новость друзьям. Образовалась праздничная процессия, и длинная вереница факелов потекла по долине, превратив яньаньскую ночь в день. Наступил долгожданный для всего китайского народа момент.

В 8:15 утра 6 августа американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу «Малыш» в небе над Хиросимой. Через 44,4 секунды она взорвалась, убив 66 000 человек — треть населения города. Три дня спустя на Нагасаки сбросили «Толстяка», и через неделю император Хирохито объявил по радио о капитуляции. В Китае война длилась восемь лет и унесла жизни почти двадцати миллионов китайцев.



«Малыш» (Little Boy), «Толстяк» (Fat Man)

Тем временем уверенность Мао в том, что он одержит победу над Чан Кайши, росла. Он заявил, что у его солдат есть только просо да винтовки, но история докажет, что просо и винтовки могут быть сильнее самолетов и танков Чана. Как он говорил, «хотя перед китайским народом всё еще стоит много трудностей и в условиях объединенного наступления американских империалистов и китайских реакционеров ему придется в течение длительного времени переносить лишения и бедствия, тем не менее наступит день, когда эти реакционеры потерпят поражение, а мы одержим победу. Объясняется это попросту тем, что реакционеры представляют регресс, а мы — прогресс»[22].

Двадцать шестого июня 1946 года разразилась полномасштабная гражданская война. Чан Кайши начал наступление на освобожденные территории, стремясь захватить их за три-шесть месяцев. Силы Гоминьдана насчитывали 4,3 миллиона человек и включали в себя хорошо вооруженные армию, флот и авиацию. У КПК было всего 1,2 миллиона личного состава без флота и авиации. Под контролем Гоминьдана находилось 76 процентов территории страны, в том числе крупнейшие города и почти все железные дороги, промышленные

предприятия, человеческие и материальные ресурсы. Освобожденные территории занимали всего 24 процента. Но в первый же год конфликта армии КПК удалось сразить 1,12 миллиона солдат Гоминьдана и отбить их атаку.

В борьбе за сердца и умы китайцев земельная реформа обеспечила коммунистам надежную базу народной поддержки. На подконтрольных КПК территориях у землевладельцев и кулаков отнимали землю и распределяли ее между бедняками. В сентябре 1947 года КПК приняла новые законы по земельной реформе, упраздняющие феодальную систему землевладения и предписывающие, что земля должна принадлежать тем, кто ее возделывает. Аннулировались наследственные права на храмы, монастыри, школы и организации, а все долги деревенских жителей, накопленные до земельной реформы, отменялись. Вся земля перераспределялась путем передачи участков, принадлежавших владельцам более плодородных или обширных участков, тем, у кого они были скудными.

Исторически социальные реформы в Китае всегда затрагивали землю, и китайская революция в XX веке была по своей сути крестьянской. В 1949 году 80 процентов населения составляли крестьяне, и они стали главной движущей силой этой революции. Земельная реформа ликвидировала класс местной знати, который существовал с самого зарождения империи.

В сентябре 1945 года Ай Цин попрощался с Яньанем, где прожил больше четырех лет. Институт искусств имени Лу Синя разделили на три части: одна осталась в Яньане, другая переехала на северо-запад, третью направили на север Китая. Ай Цина назначили главой третьей группы, в которую вошло пятьдесят шесть человек. После сорокадевятидневного марш-броска по лютому морозу Ай Цин привел свою группу в Чжанцзякоу — стратегически важный город, расположенный к северо-западу от Пекина. Вэй Ин следовала за ним отдельно, в составе группы из членов семей, вместе с их дочерью и новорожденным сыном Ай Дуаньу.

Отец впервые за много лет оказался в большом городе, и, стоя в центре Чжанцзякоу, который всего несколькими неделями ранее был в руках японцев, он почувствовал прилив гордости. «Когда же мы думаем о нем как о нашем городе, — писал он, — народном городе, освобожденном народом в столь тяжелой борьбе, и о том, как люди в нем теперь могут жить без насилия империалистов-грабителей и унижения со стороны милитаристов и бюрократов, дышать свободно, жить свободно, петь свободно — какое же это счастье!» Он хотел скорее окунуться в новую жизнь.

Семья отца продолжала расти. В ноябре 1947 года Вэй Ин родила Ай Гуйгуй (теперь известную как Ай Сюань), их третьего ребенка. Но у поглощенного делом революции Ай Цина совсем не было времени заниматься семьей. В ходе земельной реформы его поглотила административная работа, так что творческая деятельность отошла на второй план. Он просыпался утром, чувствуя, как иссыхает и скукоживается его мозг.

В июле 1947 года войска коммунистов наступали. Затем, с сентября 1948 года по январь 1949-го, в трех ключевых сражениях гражданской войны — на северо-востоке, в центре Китая и в районе Пекина — Тяньцзиня — Гоминьдан потерял более полутора миллионов человек. Осенью 1948 года коммунистическая регулярная армия нанесла силам националистов серию серьезных поражений, заставив их сдаться и передать весь северо-восток Китая под контроль коммунистов. Значительная часть ударных войск была истреблена, и постепенно власть Гоминьдана потерпела крах, что привело к победе Коммунистической партии.

Отец поспешил в Пекин, где возглавил заведение, которое тогда называлось Национальным бэйпинским[23] художественным училищем (позднее переименованным в Центральную академию изящных искусств). Там отец отвечал за имущественные вопросы и решал, кого оставить из прежних учителей. Вэй Ин с детьми пока осталась в провинции Хэбэй, в администрации которой получила должность, и в Пекин переехала позже.

В апреле 1949 года Ай Цин вместе со старым другом Цзян Фэном, а также Ли Кэжанем, преподавателем художественной школы, пришли к прославленному художнику-каллиграфу Ци Байши, преподававшему в Национальном бэйпинском художественном училище. Ци тогда было за восемьдесят, и первые сорок лет своей жизни он прожил при правлении Цин, да и теперь в своей традиционной длинной темной рубахе, с длинной белой бородой он смотрелся как его часть. Он кинул настороженный взгляд на незнакомцев в военной форме и с нарукавными повязками. Чтобы развеять тревогу художника, Ай Цин поспешил объяснить, что восхищался его произведениями с восемнадцати лет.

— Где вы видели мои работы? — спросил Ци.

— В Художественном училище Сиху — несколько листов из вашего альбома висели на стене моего класса.

— Кто был директором?

— Линь Фэнмянь.

Ци кивнул, явно обрадованный:

— Ему нравятся мои работы, я знаю.

В центре старомодной студии стоял большой стол из розового дерева, на котором Ци разложил свои инструменты: кисть, тушь, бумагу и чернильный камень. Ци Байши сделал по рисунку для каждого из гостей, и для Ай Цина он изобразил на четырехфутовом свитке плавающую креветку и двух рыбок.

Долго шел спор, продолжать ли платить Ци зарплату, так как многие были недовольны тем, что он там появлялся только раз в месяц и проводил лишь одно практическое занятие. Отец имел свое мнение. «Когда всем заправляли японцы и Гоминьдан, Ци Байши сумел выжить. Неужели мы теперь, придя к власти, дадим ему умереть от голода?» Он симпатизировал Ци и часто заходил к нему в гости.

Второго июля 1949 года в квартале Чжуннаньхай, находящемся рядом с Запретным городом, состоялся съезд Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства. В этом районе теперь находились кабинеты высших руководителей КПК. Мао впервые выступил в Пекине перед большой аудиторией писателей и художников. В пространном приветственном слове он сказал: «Вы нужны народу, вы народные писатели и художники, вы организаторы литературной и художественной деятельности для народа. Вы приносите пользу революции, пользу народу. Поскольку вы нужны народу, мы приветствуем вас».

За четыре года, прошедшие с тех пор, как отец его видел последний раз, Мао набрал вес, и «вы» и «мы» в его речи давали понять, что со времен Яньаня, когда он просто говорил «мы», кое-что изменилось. Были образованы новые ассоциации, управляющие литературой, театром, кино, музыкой и изобразительным искусством, что означало институционализацию контроля партии над творческой деятельностью. Вернуться в эру свободного самовыражения не представлялось возможным.

Ай Цина назначили председателем комитета, задачей которого было рассмотреть варианты нового флага, печати и гимна страны. В сентябре 1949 года из множества присланных эскизов флага он отобрал тридцать восемь на рассмотрение и обсуждение съездом. В итоге в качестве национального флага выбрали красный с пятью желтыми звездами. Красный цвет символизировал революцию, одна большая звезда — Коммунистическую партию, а четыре маленьких представляли рабочих, крестьян и два типа буржуазии, мелкую городскую и национальную.

В три часа пополудни 1 октября Мао Цзэдун, председатель Центрального народного правительства, и Чжу Дэ,

главнокомандующий вооруженными силами Китая, взошли на древние врата Тяньаньмэнь, а восторженная толпа собралась на старинных улочках и открытых пространствах под ними. На Мао был специально сшитый к этому дню плотный костюм в стиле Сунь Ятсена, отца Китайской Республики. На груди были праздничные красные ленточки, как и у других высокопоставленных деятелей. Мао, растягивая слова на хунаньский манер, объявил: «Товарищи, сегодня образованы Китайская Народная Республика и Центральное народное правительство!» Раздался пушечный залп, заиграла военная музыка, и по нажатию кнопки красный флаг с пятью желтыми звездами медленно поднялся на самый верх флагштока.

Но уже очень скоро тех, кто создал символы новой республики, в том числе и моего отца, подвергнут публичному унижению.

Глава 6. Мечта садовника

Пройдет восемнадцать лет, и в дни массовых мероприятий по публичному осуждению, на которые собирались рабочие из разных военизированных частей, наше поселение на краю пустыни каждый раз будет охватывать ажиотаж. На этих собраниях людей, которые якобы нарушили принципы маоизма или воспротивились воле Мао, публично порицали, критиковали, унижали, а иногда даже всей толпой жестоко избивали. «Культурная революция» началась в Пекине и быстро распространилась по всей стране, везде собирая разъяренные толпы. Подобно сухим щепкам, для костра им хватало одной искры.

В такие дни отцу приходилось преодолевать пешком расстояние в несколько ли[24] до актового зала, где он вставал рядом с другими «бычьеголовыми демонами и змееподобными бесами», собравшимися со всей округи. Они выстраивались в ряд на краю сцены, лицом к преисполненным праведного гнева революционным массам. Иногда публичное порицание нарушителей сопровождалось вынесением приговора «активным контрреволюционерам», которых немедленно вытаскивали на место казни и убивали на глазах у зрителей всех возрастов, завороженных этой жуткой картиной. Когда собрание заканчивалось, взбудораженная толпа пела революционные гимны, расходясь по домам при ярком свете луны.

В самом начале «культурной революции» ее целью было заявлено уничтожение четырех пережитков — старой идеологии, старой культуры, старых нравов и старых обычаев — и их замена маоизмом. С момента образования Китайской Народной Республики политические движения становились все более ярыми, но «культурную революцию» объявили беспрецедентным историческим событием, способным тронуть душу каждого человека. Собрания по публичному осуждению были только началом несчетных унижений, которым в числе прочих подвергали и моего отца.

В конце 1967 года радикальные активисты соорудили шутовской колпак, который надевали на отца, когда вели его по улице. В нем отец походил на традиционного персонажа — чиновника из пекинской оперы, и уши колпака раскачивались при ходьбе. Колпак был велик отцу и съезжал с головы при любом движении, так что приходилось придерживать его рукой, из-за чего было еще сложнее «виновато склонять голову». Шедшие за ним хунвэйбины — молодые активисты, посвятившие себя борьбе

со всеми предполагаемыми врагами маоизма, то и дело тыкали его в спину пикой с красной кисточкой, чтобы он склонялся ниже.

На собраниях по публичному осуждению все, кто принадлежал к «пяти категориям дискредитировавших себя слоев населения», должны были носить черное, и отцу иногда приходилось одалживать у кого-нибудь черную куртку (хотя она и была ему маловата), чтобы исполнять свою роль надлежащим образом. Однажды вечером я остался в землянке один, свернувшись калачиком в углу с подушкой и покрывалом, и ждал отца с одного из таких мероприятий. Когда он наконец вернулся, он был черным с ног до головы. Срывающимся голосом отец объяснил: на митинге кто-то залез к нему на сцену и плюнул в лицо, а потом наклонил его голову и вылил на него целый горшок чернил. За целый день отец не выпил ни глотка воды и был совершенно изможден, он просто сел и больше не произнес ни слова. Чернила на лице еще долго не отмывались.

У отца стало портиться зрение, он начал пользоваться лупой для чтения. Однажды перед собранием к нам вломился охранник и схватил отцовскую лупу, а потом взобрался по приставной лестнице на крышу актового зала, откуда смотрел через увеличительное стекло, нет ли на горизонте чего-нибудь подозрительного, вроде наступления вражеских войск. Человек, который пытался использовать лупу вместо телескопа, навсегда остался в моей памяти символом невежества и сумасбродства эпохи «культурной революции».

Вследствие тяжелого труда и плохого питания у отца развилась грыжа. Боль в паху бывала невыносимой, и часто с него градом катился пот. Однажды я вернулся домой из школы и застал его лежащим в постели. Он подозвал меня и дал клочок газеты, на котором его рукой были написаны два незнакомых мне имени, оба с фамилией Цзян. Он сказал, что не знает, выживет ли, и в случае его смерти мне нужно будет отправиться к его младшим братьям в Цзиньхуа. Они за мной присмотрят. Его голос звучал глухо и слабо, но выглядел он спокойным и собранным. Мне уже исполнилось одиннадцать, так что и я сумел сохранить присутствие духа. Мы так привыкли к тяготам, что я воспринимал их философски. К счастью, отец не умер. Четыре года спустя ему наконец разрешили поехать в больницу в Шихэцзы, чтобы удалить грыжу.

Но у меня тоже прибавилось забот. Однажды во время обеденного перерыва мы с одноклассником зашли в конюшню, чтобы посмотреть, как лошади жуют сено и машут хвостами. Одна меня особенно впечатлила: крупная и высокая, своей красотой она, казалось, превосходила знаменитую трехцветную

керамическую статуэтку эпохи Тан. Я дружил с конюхом, который частенько угощал меня овощами, когда разгружал корм и замечал меня, бредущего по дороге со связкой хвороста на спине.

Кто-то доложил учителю, что я пошел на конюшню, и расплата была жестокой. Я был сыном человека из «пяти категорий», так что мой визит на конюшню мог быть актом саботажа. Я стоял на игровой площадке, снося ругань учителя, и вдруг заметил, как мимо идет мой отец с лопатой и совком на плечах; стало еще тоскливее — я испугался, что отцу из-за меня тоже достанется. Но когда я вернулся домой, он не стал меня укорять — наверное, у него и без меня хватало поводов для беспокойства.

Вдвоем с отцом в «маленькой Сибири» мы оставались четырнадцать месяцев. Он часто напоминал, чтобы я написал матери, и я каждый раз рассказывал одно и то же: либо «вода здесь очень сладкая, самая сладкая на свете», либо «у нас здесь самые вкусные на свете арбузы». Не привыкший к выражению чувств, я занимался банальной рекламой.

А потом, в один прекрасный день, мать приехала вместе с моим младшим братом Ай Данем. Они сели на автобус до Карамая, города нефтедобытчиков, и в уезде Шавань пересели на другой автобус, идущий до нефтяного месторождения, а потом вышли на остановке где-то в миле от нашего хозяйства. Водитель подсказал ей дорогу — нужно было пересечь пшеничное поле и идти в сторону подернутого дымкой зеленого участка.

Выйдя наконец из автобуса, Ай Дань радостно припустился вперед, мать шла за ним. Она увидела кого-то вдали и как только смогла рассмотреть в этой фигуре Ай Цина, произнесла: «Это твой отец».

Отец, стоя с лопатой в руках, сказал им:

— Вы будто спустились из рая.

— Где мы живем? — спросил Ай Дань.

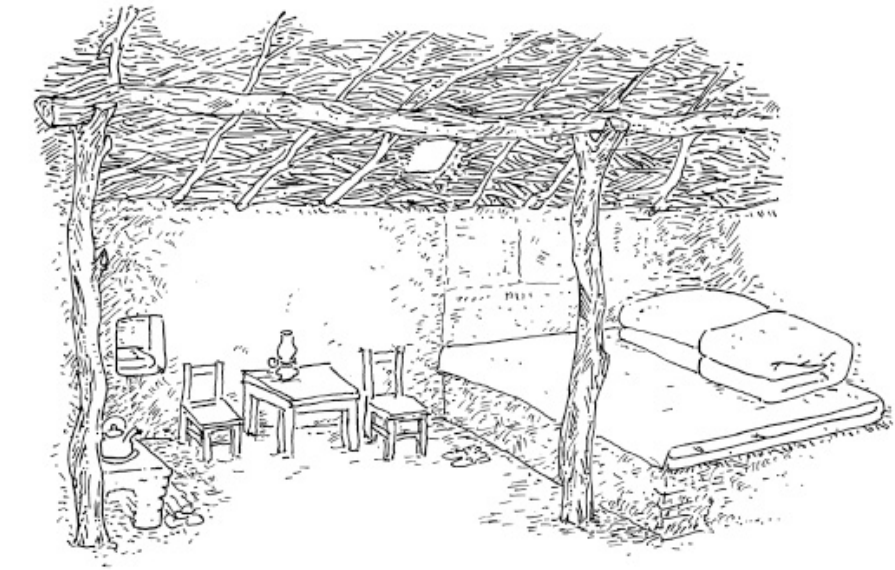
— Пойдем, я тебе покажу, — ответил отец.

— Где? — спросил Ай Дань. — Я не вижу дома!

— Все нормально, это и есть наш дом, — сказал отец. — В землянке не так уж плохо — зимой тепло, а летом прохладно.

Мне будто явилось чудо: вот стояла мать, прекрасная, как всегда, а за руку она держала моего братика, и оба они были опрятные и нарядные. Только теперь я понял, как скучал по ней. Теперь мы зажили совсем по-другому: в нашем подземном пристанище появились смех и тепло, и мы больше не сидели в одиночестве и унынии. Мать хорошо готовила, и теперь мы могли есть ее лапшу. Вскоре лицо отца снова приобрело нормальный цвет. Жизнь все равно была тяжелая, но мы не говорили о том,

через что прошли за время разлуки, так как были очень рады долгожданному воссоединению.



Землянка

В тот год мое детство закончилось. Я ходил вместе с другими детьми в пустыню собирать хворост, который мы приносили домой на спине и укладывали на зиму. Я каждый раз набирал больше, чем мог унести, — настолько, что не мог выпрямиться, и приходилось семенить мелкими шажками. Постепенно ноги и спина окрепли, и я уже мог проходить большие расстояния. Иногда я замечал прячущегося вдали волка. Если я двигался, тот двигался со мной, а если останавливался, он тоже замирал, поблескивая глазами, по всей видимости, дожидаясь моего падения.

Вскоре у нашего крошечного жилища образовался аккуратный штабель хвороста, симметричный, с ровными краями, похожий на произведения искусства, с которыми мне еще предстояло встретиться в дальнейшей жизни. Наши соседи молча завидовали. Каждый вечер на закате мать ждала у двери, и когда я показывался, медленно таща на спине тяжелую вязанку, одобрение на ее лице заставляло меня забыть, как труден был путь.

Когда у нас появился велосипед, я стал брать с собой Ай Даня на сбор хвороста. Тогда я еще был мал ростом и, подобно

цирковой мартышке, доставал до педалей, только когда поворот колес поднимал их наверх. Но на велосипеде можно было уехать намного дальше в пустыню за более крупными ветками, которые мы аккуратно привязывали к багажнику, так что получалась кипа выше моей головы. Ай Дань сидел на перекладине, и я изо всех сил старался вести велосипед прямо. Однажды, когда мы пересекали русло пересохшей реки, внезапно набежали тучи и хлынул дождь. Сильный порыв ветра ударил нам в спины, велосипед накренился, и мы свалились.

Но такой ливень был редким событием, чаще всего не было ни облачка. Вода во фляге так нагревалась на солнце, что чуть ли не обжигала рот. Если нам попадалась большая лужа дождевой воды со следами животных у кромки, я зачерпывал ее оттуда армейской фуражкой, чтобы отфильтровать, и мы жадно пили.

Каждую весну меня мучил понос, и приходилось несколько раз за ночь вставать с кровати и вылезать из землянки. Я садился на корточки в тишине, под низким небесным сводом, усыпанным звездами, и мой страх уходил. Я лечился сам, горстями глотая антибиотики. А еще я раздобыл «Руководство для босоногого сельского доктора» и медицинские иголки и стал пробовать на себе акупунктуру, а также собирал травы и делал отвары. Доктор Янь взял меня в ротную больницу помогать с акупунктурой, и пациенты говорили, что я ставлю иголки безболезненно. Доктор Янь, образованный человек, писавший в свободное время стихи, при всякой возможности советовался с отцом в литературных вопросах. Один из его лирических опусов начинался с такого двустишия: «Командир взвода подвернул ногу, таща повозку. / Лодыжка его покраснела и ужасно болит».

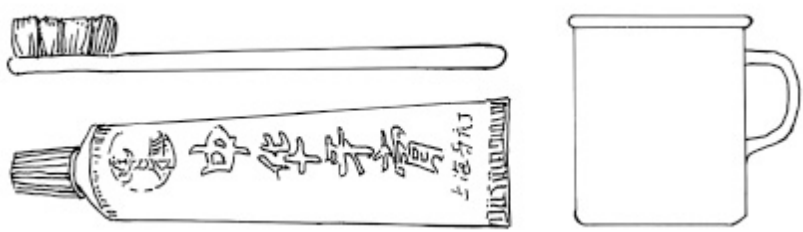
В минуты покоя отец находил время на чтение истории Рима, раздобыв французский справочник на эту тему. Он любил рассказывать мне об ужасных убийствах и дворцовых интригах. Я и сам стал читать: старое издание классической книги «Троецарствие» и свежий роман о земельной реформе в китайской деревне. Первое настоящее удовольствие от чтения мне доставил потрепанный экземпляр «Жизни на Миссисипи» Марка Твена. Но отец запрещал читать слишком много, чтобы я не испортил себе зрение, напрягая глаза при плохом освещении. Была и другая причина: он не хотел, чтобы я слишком погружался в мир книг, так как знал, чем это чревато.

Одним ноябрьским утром 1972 года все собаки вдруг разразились лаем, разволновавшись из-за приезда какого-то грузовика. Мы еще этого не знали, но руководство производственного корпуса решило перевести нас обратно в Шихэцзы. Пока мы собирали свои немногочисленные пожитки, у

землянки собрались соседи, удивленные нашим отъездом не меньше, чем прибытием. «Вы уезжаете быстрее, чем я думал», — сказал отцу горбатый директор.

Никто не мог толком объяснить, кто решил отправить нас в Шихэцзы и почему. Так часто бывает: именно то, что ты больше всего хочешь узнать, знать не разрешено — непостижимая, лишенная логики головоломка. Мы уже привыкли к местной жизни и готовы были остаться, отец говорил: «Давайте просто вообразим, что это место всегда было нашим домом». Но теперь нужно было уезжать, и единственное, в чем мы могли быть уверены, — это в непредсказуемости будущего.

На тот момент мне исполнилось пятнадцать. Я не имел ни малейшего представления о том, что будет дальше, только чувствовал, что все образуется само собой, подобно тому, как листок, сорванный ветром с дерева, неизбежно падает на землю. Но когда и где именно он приземлится, листку решать не дано. В утро отъезда перед тем, как залезть в грузовик, я присел на корточки возле нашей землянки и впервые в жизни почистил зубы с пастой — так я простился с «маленькой Сибирью» и отметил наступление нового жизненного этапа. Когда грузовик тронулся, я бросил прощальный взгляд на место, которое пять лет служило нам домом — на теплую, безопасную маленькую землянку. Мы оставили у двери отцовские инструменты, аккуратно сложив в ряд. Квадратное полотно лопаты успело наполовину стесаться.



Отец скитался большую часть жизни, и весной 1950 года он переезжал в очередной раз. Его назначили редактором *Жэньминь вэньсюэ* — главного издания только что образованной Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства, и он поселился в новом квартале Пекина по адресу Дунцзунбу, 21. На этой узкой улочке в паре миль к востоку от Запретного города Ассоциация занимала комплекс зданий, построенных в эпоху Мин (1368–1644) — тогда там располагалось правительственное учреждение. Здесь поселили нескольких знаменитых авторов, и отцу достались апартаменты в величественном двухэтажном

здании, воздвигнутом на высоком мраморном фундаменте и облицованном зеленой керамической плиткой. Он жил на верхнем этаже, где самая большая комната служила ему кабинетом и гостиной, а к ней прилегали две спальни. Специальный сотрудник отвечал за готовку, снабжение горячей водой и был на побегушках. Вэй Ин, которая теперь работала на *Гунжэнь жибао*, полностью посвятила себя карьере репортера и иногда отсутствовала по несколько дней подряд.

Когда выдавалось время на отдых, отец любил ходить на Люличан — антикварный рынок к юго-западу от Тяньаньмэнь, работавший со времен эпохи Цин. В те дни богатая материальная культура, сформировавшаяся за много столетий, еще была повсюду, и Ай Цина завораживали эти отголоски прошлого. В магазинчиках можно было найти самые разные сокровища: бронзу и нефриты, картины и каллиграфические свитки, классическую мебель, четыре сокровища ученого — бумагу, кисти, чернила и чернильный камень. Отец с удовольствием гулял там часами, иногда прихватывая что-то особенно приглянувшееся. Его любовь к традиционным ремеслам в свое время передалась и мне, и сорок лет спустя уже я сам частенько бродил по этой улице в поисках сокровищ.

В июле 1950 года Ай Цин в качестве члена китайской делегации, ответственного за пропаганду, отправился в Советский Союз, где провел четыре месяца в большом туре, включая Москву, Грузию, Азербайджан и Сибирь. В тот период он сблизился с одной бывшей ученицей, переводчицей в их группе. Проводя день за днем вместе в чужой стране, они влюбились друг в друга. Сплетни об их романе быстро донеслись до Пекина, отдалив Ай Цина и Вэй Ин друг от друга еще больше, чем годы в Яньане. Они с отцом и так постоянно ссорились, а к этому моменту уже некоторое время жили отдельно.

Когда Вэй Ин узнала об измене отца, она написала жалобу в организационный отдел ЦК, приводя якобы сказанные им слова: «Я ничего не боюсь. Пусть даже меня исключат из партии». В ответ в апреле 1951 года он подал на развод. Пекинский суд одобрил его иск, но Вэй Ин успешно подала апелляцию, и последовало долгое разбирательство, в результате которого Коммунистическая партия назначила отцу испытательный срок за «политическую неблагонадежность и неоднократные ошибки в половых отношениях». Брак был официально расторгнут только в мае 1955 года.

Мао Цзэдун, хотя и был теперь единоличным лидером материковой части Китая, чутко реагировал на потенциальные

угрозы. В начале 1950-х годов он запускал одну за другой кампании по укреплению и консолидации нового правительства. Режим Мао начался с конфискации всей находившейся в частной собственности земли в деревнях и ее распределения между сотнями миллионов крестьян, что обеспечило их доверие и поддержку. Но как только земельная реформа устранила класс помещиков и дала возможность присвоить их богатства, Коммунистическая партия сменила курс и забрала землю обратно в ходе коллективизации.

Затем партия провела кампанию по борьбе с инакомыслием, направленную на академическое сообщество. В 1949 году в Китае насчитывалось более двух миллионов интеллектуалов, и к ним вскоре присоединилось значительное число живших за рубежом китайцев, которых перспективы прогресса в стране вдохновили вернуться на родину и помочь ее восстановлению. Большинство интеллектуалов происходило из семей землевладельцев или верхних слоев среднего класса, и партия вознамерилась изменить их мировоззрение, требуя, чтобы они изучали основы марксизма-ленинизма и критиковали собственные буржуазные представления.

В ноябре 1949 года Чжу Гуанцянь, знаменитый теоретик искусства, опубликовал статью с самокритикой в *Жэньминь жибао*, и вскоре такие светила, как социолог Фэй Сяотун и философ Фэн Юлань, последовали его примеру, поклявшись изменить свое мышление в соответствии с учением марксизма-ленинизма и нуждами нового общества. Влиятельный журнал *Вэньи бао* опубликовал самокритику более чем тридцати авторов. Кампания отличалась от яньаньского «выправления стиля» тем, что Мао открытым текстом призвал интеллектуалов к идеологической перестройке. Проводились собрания по критике и борьбе, целью которых было лишить интеллектуалов независимости и подчинить партийной идеологии. Их приверженность духовной свободе и вольному самовыражению последовательно стали сводить на нет.

В критической статье в *Жэньминь жибао* Ай Цина отметили особенно. Автор писал: «У некоторых сотрудников нашей редакции наметилось противоречие между личным творчеством и редакционными обязанностями, и им не удается отдавать предпочтение второму. В особенности это касается Ай Цина, который за время работы в должности заместителя главного редактора журнала *Жэньминь вэньсюэ* продемонстрировал непонимание поставленной задачи. На самом деле он многократно демонстрировал либерализм и отказывался выполнять обязательства руководителя». После подобной

публичной критики отец впал в глубокое отчаяние. Он не знал, что делать, и утешение ему приносили только дружеские попойки, поэзия и живопись. Он даже подумывал снова заняться изобразительным искусством.

В июле 1954 года, когда чилийскому поэту Пабло Неруде исполнилось пятьдесят лет, он пригласил Ай Цина в Чили на празднование юбилея. Они познакомились в августе 1951 года, когда Неруда приехал в Пекин награждать Сталинской премией мира Сун Цинлин, вдову Сунь Ятсена, а отцу поручили развлекать гостя. Неруда был на шесть лет старше отца; он опубликовал свой первый сборник поэзии в возрасте девятнадцати лет и вступил в Коммунистическую партию Чили после Второй мировой войны.

В ходе визита Неруды в 1951 году отец показывал ему достопримечательности вроде Летнего дворца и гор Сишань, и за неделю они подружились. Неруда был очарован отцом и тронут его произведениями; позже он называл Ай Цина «принцем китайских поэтов».

На китайском фамилия Неруды звучала и писалась как «Нелуда» — 聶魯達 — и Ай Цин, обыгрывая тот факт, что первый иероглиф (聶 *не*) состоит из трех графических компонентов со значением «ухо» (耳), поддразнивал гостя: «У первого иероглифа твоего имени — три уха. А у тебя только два. Куда ты дел третье?» Неруда хлопал себя ладонью по широкому лбу: «Вот оно. Им я слушаю будущее».

В 1954 году Китаю еще только предстояло установить дипломатические отношения с большинством стран за пределами коммунистического блока, что затрудняло путешествия, так что у отца ушло восемь дней на путь до Сантьяго. Когда он прибыл, в голубом небе над чилийской столицей парили воздушные змеи, и отец нарисовал в своем альбоме воздушного змея в китайском стиле: длинная сколопендра с вертушками на каждом из сочленений. Рисунок настолько заворожил Неруду, что он поклялся запустить такого змея в свой следующий приезд в Китай.

Неруда в ярко-зеленом шерстяном пиджаке походил на отставного военного, глаза под его лысым и блестящим лбом смотрели на мир с невинным любопытством мальчишки. Для отца эта поездка оказалась прекрасным отдыхом, и на побережье возле Исла-Негра, дома Неруды, он собирал разноцветные ракушки. Он считал их подарками океана и по возвращении в Пекин разложил на почетном месте на своем письменном столе. Неруда говорил друзьям, что Ай Цин — единственный поэт, оставшийся после эпохи Цюй Юаня, первого известного лирика Китая. В знак

уважения он подарил отцу кубок из бычьего рога с серебряным носиком.

К середине 1950-х годов над Ху Фэном — первым литературным критиком, который отметил талант Ай Цина, — надолго сгустились тучи. В 1952 году в *Жэньминь жибао* его обвинили в индивидуалистической ориентации, присущей крупной и мелкой буржуазии. В июле 1954 года Ху Фэн решительно отклонил эту критику в своем «Отчете о практике литературы и искусства в последние годы», получившем известность как «Книга в триста тысяч слов».

Ху Фэн был известен как честный человек, ценящий независимость и упрямо сопротивляющийся любому принуждению, и этот последний акт неповиновения государству повлек наказание. В ответ Мао велел *Жэньминь жибао* опубликовать «Материалы по антипартийной деятельности Ху Фэна», и сам написал вступительное слово. Летом 1955 года Ху Фэна арестовали и вскоре приговорили к четырнадцати годам тюрьмы.

Обвинения против «антипартийной клики Ху Фэна» обрушились на несколько сотен авторов, и их всех отстранили от работы на время расследования; многих официально привлекли к ответственности и посадили в тюрьму. Но это был далеко не конец. В августе 1955 года обвинения были предъявлены еще одной антипартийной клике, среди лидеров которой предположительно была Дин Лин. Чжоу Ян еще со времен Яньаня видел в Ай Цине союзника Дин Лин. А теперь, став заместителем министра пропаганды и заместителем министра культуры, он уличил ее в попытках втянуть других в свою клику — это был намек на ее связь с Ай Цином.

Ай Цин всегда презирал диктаторские замашки Чжоу Яна и резко отреагировал на дикие обвинения в адрес Дин Лин, осудив партийную нетерпимость к расхождению во взглядах, что напомнило ему перегибы в ходе яньаньского «выправления стиля». Он возразил, что Союз писателей состоит из двух категорий людей: первую постоянно критикуют, а от второй исходит критика. Высказывания Ай Цина подтвердили мнение политической элиты о его высокомерии, отчужденности и презрении к партийной организации.

Во время атаки на Ху Фэна ключевым сотрудникам доставляли партийные документы в любое время дня и ночи. Союз писателей поручал эту работу разным младшим сотрудникам, которые занимали первый этаж здания. Одной из

них, девушке по имени Гао Ин, суждено было стать моей матерью.

Гао Ин родилась в 1933 году в Хуансяне, в провинции Шаньдун, но, когда она была ребенком, ее семья переехала в Цзямусы, в провинции Хэйлунцзян, что у советской границы. Там она собственными глазами видела последствия капитуляции Японии в августе 1945 года, когда японские захватчики спешно эвакуировались, бросая мебель, домашнюю утварь и одежду. Уходя, враги минировали город, и потом еще много недель его сотрясали взрывы.

Когда коммунисты взяли под контроль северо-восток страны, Гао Ин уже считалась талантливой певицей и танцовщицей, и она присоединилась к труппе артистов, выступавших перед войсками в Шэньяне. Потом она посещала педагогическое училище, куда мать отправила ее с тремя золотыми кольцами, зашитыми в подол куртки. В 1949 году ее приняли в профессиональную труппу.

В семнадцать Гао Ин вышла замуж за человека на одиннадцать лет старше нее, тоже выходца из Шаньдуна. Он получил в партии разрешение на брак, и она без долгих раздумий приняла предложение, выселилась из общежития и переехала в выделенную им квартиру. Только потом Гао Ин узнала, что у ее мужа на тот момент уже была другая жена.

В 1955 году Гао Ин и ее мужа перевели в Пекин; к тому времени у них родилось двое детей. Она взяла с собой старшего ребенка, Линлин, оставив сына Гао Цзяня у родственников в Шаньдуне.

Один сотрудник отдела кадров Союза китайских писателей только что перенес операцию, а другая недавно родила, так что им на замену наняли Гао Ин. Как-то раз в субботу вечером она осталась на работе допоздна и увидела, как по лестнице спускается мужчина средних лет.

«Товарищ Ай Цин, куда направляетесь?» — окликнула его коллега Гао Ин.

Он ответил, что идет смотреть зарубежное кино. Одной из обязанностей Ай Цина как члена кинематографической рецензионной комиссии было выдавать иностранным фильмам прокатные разрешения.

«Хочешь пойти тоже? — спросил он. — Могу взять тебя с собой». «Гао Ин, — сказала молодая коллега, — у нас сегодня не слишком много работы. Может, пойдем вдвоем?»

Жизнерадостной и решительной Гао Ин тогда было всего двадцать два года. Отцу она очень приглянулась, а ее очаровала простота, с которой он держался.

Они стали встречаться каждое воскресенье, но им

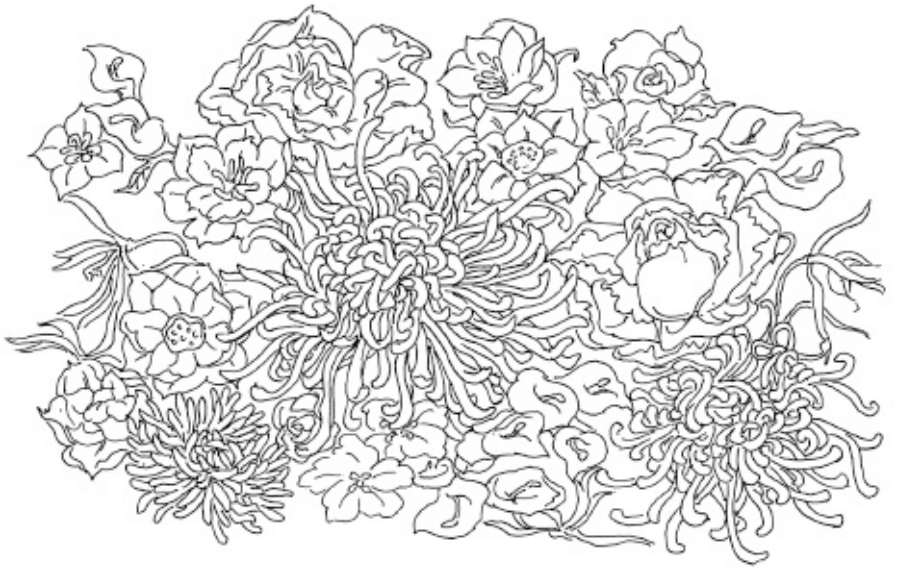
приходилось быть осторожными. У обоих еще не завершились бракоразводные процессы, а их роман сочли бы свидетельством их либеральных и индивидуалистических наклонностей. В центре города можно было наткнуться на знакомых, так что они обычно договаривались встретиться в тихом парке в юго-восточной части города. Перед встречей отец отправлялся в магазин для иностранцев у станции Чунвэньмэнь, единственное место, где продавались западные продукты вроде круассанов, которые Гао Ин обожала.

Тем временем коллеги все жестче критиковали Ай Цина. Стихотворения, написанные им после 1949 года, далеко не так вдохновляли читателей, как его ранние работы. Его новым произведениям не хватало энергии, и ее отсутствие связывали с недостаточным интересом к политике. Говорили, что причина творческого кризиса кроется в его отношении: он отверг старый общественный строй, но не испытывал энтузиазма по поводу нового. На первый взгляд казалось, что подобные критические замечания отражают взгляды коллег-поэтов, но на деле это была стандартная партийная тактика раздувания подозрений и страхов с целью ослабить дружеские связи между писателями.

Ай Цин столкнулся со столь яростным осуждением, что ему оставалось лишь каяться. «Как поэту мне стыдно, — признавался он. — Как поэт нового Китая я чувствую себя еще более посрамленным. Я не смог написать хороших произведений». Но он не знал, что делать дальше.

Впрочем, в 1956 году началась оттепель, но она продлилась недолго. В программном выступлении премьер Чжоу Эньлай заявил, что подавляющее большинство китайских интеллектуалов — госслужащие и работают на благо социализма, так как они уже принадлежат к рабочему классу. Впервые партийный руководитель такого высокого уровня определил интеллектуалов как надежную категорию: в прошлом они считались буржуазными элементами.

В апреле 1956 года Мао подал еще один обнадеживающий знак. Он высказался в пользу сосуществования разных научных подходов, провозгласив: «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Он заявил, что в Древнем Китае до того, как страну объединил первый император, можно было обсуждать любые идеи, и сейчас должно быть так же.



Подобные речи воодушевили Ай Цина, и за лето 1956 года он написал несколько басен, вновь обращаясь к идеям, которые четырнадцать лет назад легли в основу его яньаньского эссе «Понимать писателя, уважать писателя». Например, «Сон цветовода» — история о человеке, который выращивал в своем саду одни только розы. Ему приснилось, что самые разные цветы, в том числе пион, кувшинка, вьюнок и орхидея, спешат представиться ему и защитить свои права, умоляя не забывать о них: «У цветов есть своя воля и право цвести». А в «Песне цикады» цикада оглушительно громко и монотонно поет одну и ту же песню с утра до ночи, независимо от происходящих вокруг перемен. В этом произведении Ай Цин не слишком старался скрыть насмешку по поводу узости круга допустимых тем и литературных форм в новом Китае.

Роман Ай Цина с Гао Ин развивался стремительно и привлек нежелательное внимание со стороны партийной организации. После того как муж Гао Ин подал жалобу на Ай Цина за разрушение их брака, Союз писателей заставил ее признать свой проступок и попытался ограничить в передвижениях и лишить возможности общаться с ним. Тем временем Ай Цину в свете «серьезности совершенных им проступков и неправильного отношения к своим ошибкам» назначили испытательный срок, что было самой строгой мерой наказания, если не считать исключения из партии.

Мои родители, однако, упорствовали, и властям пришлось признать их парой. Поскольку оба теперь были разведены, они

смогли наконец получить свидетельство о браке, чтобы начать новую жизнь. Отцу тогда было сорок шесть, матери — двадцать три, и вместе с двумя ее детьми они переехали в традиционный дом с внутренним двориком, купленный отцом на авторские отчисления. Он украсил дворик разными растениями — цветами, кактусами и некоторыми экзотическими экземплярами вроде лотоса в горшке, цветки которого распускались всего на пару часов в полдень. На фотографии тех времен радостные молодожены сидят рядом, жена склоняет голову к мужниной, а их глаза выражают уверенность и умиротворение. Они пребывали в блаженном неведении о грядущем политическом шторме, который скоро нарушит их покой.

Тридцатого апреля 1957 года Мао Цзэдун созвал представителей некоммунистических групп населения Китая и предложил им высказываться: «Говорите все, что знаете, и говорите до конца: говорящему — не в вину, слушающему — в поучение; если и совершались ошибки, то исправим их, а если нет — постараемся и дальше не совершать». Эти уважаемые люди поверили ему на слово и тактично указали на то, что однопартийная система разобщает население страны. Мао отметил, что необходимо продолжать критические обсуждения, иначе с бюрократией не справиться. Вскоре ЦК КПК выпустил директиву, в которой призывал всех беспартийных выразить свои мнения и побуждал массы изложить претензии к партии и правительству, чтобы помочь Коммунистической партии исправиться.

В апреле 1957 года мои родители провели несколько недель в Шанхае, остановившись в Peace Hotel поблизости от порта. У отца были амбициозные планы: он хотел написать длинную историческую поэму о Шанхае после движения «4 мая» и проследить в ней взлет и падение империализма и колониализма. Но однажды ему в гостиничный номер доставили телеграмму от Союза китайских писателей с требованием вернуться для участия в «выправлении стиля». Отец и мать, которая была на позднем сроке беременности, купили билеты на поезд и отправились домой. Накануне 1 мая, Международного дня труда, поезд медленно подходил к пекинскому вокзалу, и они видели из окна фейерверки, взвивающиеся в небо над площадью Тяньаньмэнь.

Они вернулись домой, где домработница уже готовила одежду для новорожденного. Предположительная дата родов была совсем близко, и Ай Цин хотел, чтобы это случилось дома и он мог сидеть рядом с женой и наблюдать за появлением на свет этого нового, незапланированного члена семьи. Ребенок родился

18 мая 1957 года в два часа пополудни. Когда акушерка обрезала обмотавшуюся вокруг моей шеи пуповину, на выбеленный потолок брызнула кровь — словно «облако цветущей вишни», заметил отец.

Отец наугад открыл «Цыхай»[25] («Океан слов»), закрыл глаза и ткнул пальцем. Палец угодил в иероглиф «вэй» (未), который означает «еще нет». «Давай назовем его Вэйвэй», — сказал он.

Вскоре после моего появления на свет родители вступили в самую тяжелую пору жизни, и, по их наблюдениям, именно с меня начались их злоключения. На самом деле, конечно, трагична не только судьба отца: сотни тысяч интеллектуалов стали жертвами расправы. Только недавно Мао настаивал, что сто цветов должны расцветать и сто направлений научной мысли должны соперничать, и вдруг он радикально сменил позицию. В эссе, озаглавленном «Дело принимает другой оборот», которое в партии стали распространять 12 июня 1957 года, он использовал термин «правый элемент» для обозначения критиков партии. Он считал, что эти поклонники буржуазного либерализма принципиально против монополии Коммунистической партии на власть.

Оказалось, что все эти разговоры, поощряющие честное обсуждение, были всего лишь спланированной попыткой «выманить змею из норы». В ходе апрельского совещания некоторые сказали то, что на самом деле думали, и Мао решил, что они стремятся к власти. Угрозу, исходящую от «правых элементов», он описывал все более зловещими словами: «Противоречие между буржуазными правыми элементами и народом — враждебное, неразрешимое, смертельное». Неуверенность в себе и обида заставили Мао дегуманизировать своих критиков в гротескной манере: «Целая стая рыб сейчас сама всплыла на поверхность, и нет необходимости браться за удочку. Притом всплыли не обычные рыбы, а, вероятно, акулы с острыми зубами, которые тщетно пытаются уничтожить коммунистическую партию».

В этот неподходящий момент в июле 1957 года Неруда приехал в Китай во второй (и последний) раз. Несмотря на тучи, которые сгущались над головой отца, ему разрешили сопровождать поэта в поездке по юго-западной и центральной частям Китая. Ай Цин прилетел в Куньмин встречать Неруду и его жену Матильду, а также бразильского писателя Жоржи Амаду с женой Зелией, и все вместе они объехали Юньнань, Три ущелья и город Ухань.

Неруда потом вспоминал в мемуарах: «В Куньмине, первом городе после пересечения китайской границы, нас ждал старый

друг, поэт Ай Цин. Его смуглое широкое лицо, сияющие озорством и добротой большие глаза, его быстрый ум — все предвещало удовольствие во время этого долгого путешествия».

«Как и Хо Ши Мин, — продолжал Неруда, — Ай Цин принадлежит к старой гвардии восточных поэтов, закаленных колониальным гнетом на Востоке и тяжелой жизнью в Париже. Выйдя из тюрьмы на родине, эти поэты, чьи голоса так естественны и лиричны, становились за рубежом бедными студентами или официантами. Они никогда не теряли веры в Революцию. Нежные в поэзии, но несгибаемые в политике, они успели вернуться домой, чтобы исполнить свое предназначение».

Но в Китае человеческое предназначение часто определяется политическими силами, а не личным выбором. Если верить Неруде, Ай Цин и другие его китайские друзья «ни разу не сказали и слова о том, что находятся под следствием, и не упоминали, что их будущее висит на волоске», и Неруда был в ужасе, когда, вернувшись в Пекин, узнал, что Ай Цин стал жертвой преследования. Отца не было в толпе провожавших Неруду. В следующий раз в культурных кругах Пекина он появится только через двадцать лет.

По всей стране проводилась кампания по борьбе с «правыми элементами». В Союзе китайских писателей все началось с очернения Дин Лин. Один за другим люди изобличали ее, называя «антипартийным элементом», обвиняли в капитуляции перед врагом или стремлении к независимости от партии. Коллеги, которые лишь недавно пожимали ей руку и весело болтали, теперь отворачивались от нее — пугающий пример того, как быстро люди способны сменить свою позицию.

Ай Цин, однако, вступился за Дин Лин. «Как вы можете быть такими бессердечными? — возмутился он. — Неправильно поливать своего товарища грязью, будто это закоренелый преступник. Фанатичные нападки неприемлемы». Эти слова не только не спасли Дин Лин, но и навлекли катастрофу на него самого. Отец разворошил осиное гнездо, и теперь на него налетели со всех сторон.

С начала июня до начала августа 1957 года Союз писателей провел двенадцать собраний, на которых присутствовало более двухсот членов партии и беспартийных авторов, чтобы разоблачить антипартийный заговор, который якобы возглавляла Дин Лин. В *Жэньминь жибао* в честь этого события напечатали передовицу с торжественным заявлением, что Ай Цин и несколько его ближайших друзей по Яньаню находятся с ней в сговоре. Ай Цина охарактеризовали как активного члена разнообразных

«антипартийных клик» — «пособника Дин Лин, друга Ли Южаня, подельника Цзян Фэна, закадычного приятеля У Цзугуана». У Цзугуан был известным драматургом, и вскоре его вместе с Ай Цином и прочими объявят «правыми элементами» и вышлют из столицы.

Приближалась осень, и отец часто сидел за письменным столом в одиночестве, с потухшим взглядом, не произнося за день ни слова. Гао Ин стала поджидать почтальона на улице, чтобы успеть вырвать из газеты все статьи, где упоминали Ай Цина, и выбросить в мусорное ведро.

В декабре 1957 года партийное руководство Союза писателей решило исключить отца из Коммунистической партии и снять со всех постов. Эта новость привела его в отчаяние.

Однажды поздно ночью Гао Ин крепко заснула, держа меня на руках, как вдруг ее разбудил шквал громких ударов. Она побежала в кухню и застала там моего отца — от безысходности он бился головой о стену. Она крепко обняла мужа, по лицу его текла теплая кровь. В то ужасное время политическая жизнь для человека была главной, и без нее не было смысла жить.

После того как Ай Цина объявили «правым элементом», другие писатели стали шарахаться от него, как от чумы. Единственной для него возможностью пообщаться с кем-то было пойти в парк Сунь Ятсена и сыграть партию-другую в шахматы с каким-нибудь ротозеем, не подозревающим о его статусе изгоя.

Оба его любимых русских поэта, Есенин и Маяковский, покончили жизнь самоубийством. В одном из ранних сочинений отец размышляет о возможной смерти без надежды, в безутешности, в вечном сожалении о том, что смерть нашла тебя не в пылу битвы, а в уединенном унылом углу. Мысли такого рода наверняка нередко приходили ему в голову и в тот период.

К концу 1957 года карьера Ай Цина была разрушена, но критики, рвущиеся подчеркнуть свои заслуги перед революцией, находили все новые свидетельства его непростительных ошибок. Следующей весной статья молодого литературного критика Яо Вэньюаня вывела нападки на отца на новый уровень, обнаружив буржуазные тенденции в его работах на всех этапах карьеры. Многие интеллектуалы прибыли в Яньань с буржуазными представлениями о демократии, признавал Яо, но большинство из них постепенно приняло пролетарскую идеологию. Ай Цин же упрямо цеплялся за реакционные предрассудки, так и не преодолев свой страх перед пролетарской революцией. Разоблачение оставалось лишь вопросом времени. «Так „эра“ Ай Цина завершилась народным презрением, — заключал Яо Вэньюань. — Он начинал как сторонник буржуазной демократии,

а закончил как антисоциалист: его путь пройден».

В последующие годы Яо написал десятки статей, превозносящих маоизм и подвергающих сомнению лояльность китайских интеллектуалов, чем расположил к себе Мао и заработал в конце концов пост в Политбюро. Только после смерти Мао в 1976 году он был наказан за свою роль в «культурной революции»: как члену печально известной «Банды четырех» ему предстояло провести в тюрьме двадцать лет.

Мао считал, что навесить на Ай Цина и других подобных нарушителей ярлык «правых элементов» недостаточно: за свои тяжкие преступления они заслуживают также физического наказания. Поэтому 550 000 интеллектуалов подлежали «исправлению трудом». Через двадцать лет, когда их наконец реабилитировали, в живых осталось только 100 000. К тому времени оппозиция была на последнем издыхании.

Глава 7. С крайнего северо-востока на крайний северо-запад

Начало нового, 1958 года ознаменовалось новыми нападками на Ай Цина и его коллег-писателей. Двадцать шестого января 1958 года влиятельный литературный журнал *Вэньи бао* поставил вопрос ребром: «Что заслуживает новой волны критики?» И ответил на свой вопрос: «„Дикие лилии“ Ван Шивэя, „О 8 Марта“ Дин Лин, „Понимать писателя, уважать писателя“ Ай Цина и подобные им эссе». Далее в статье говорилось:

> Примечательно в этих авторах то, что под видом революционеров они создают контрреволюционные сочинения. Люди с тонким обонянием, конечно, сразу это учуют, но иных они могут ввести в заблуждение. Жители других стран, знающие имена Дин Лин и Ай Цина, могут заинтересоваться подробностями. Поэтому мы перепечатываем эти эссе полностью. Выражаем благодарность Дин Лин, Ван Шивэю и прочим за их старания: ядовитые сорняки стали хорошим удобрением, учителями широких народных масс, воистину показав народу, как работают наши враги.

Ай Цин был потрясен тем, что закрытое шестнадцать лет назад дело снова открывают. За несколько месяцев до этого на собрании отделения Коммунистического союза молодежи Китая при Союзе писателей КНР председатель призвал всех «помочь» Гао Ин откреститься от Ай Цина и обличить его антипартийную позицию. Но Гао Ин воспротивилась: «Я не замечала у Ай Цина никаких антипартийных высказываний, — говорила она, — и не собираюсь с ним разводиться. Если Ай Цина считать ретроградом, то и я не могу быть прогрессивной. Так что с целью очистки рядов Молодежной лиги заявляю о своем выходе из Лиги».

В аудитории началась суматоха. Гао Ин выбежала сначала из зала, потом из здания и прыгнула в стоявшую на улице повозку рикши. «Поехали!» — крикнула она удивленному рикше. Добравшись до дома, она сказала мужу: «Теперь куда ты, туда и я».

В ходе Кампании против «правых элементов» из-за политического давления многие пары расстались, но мои родители держались вместе. На тот момент у них было трое детей: Линлин и Гао Цзянь — дети Гао Ин от предыдущего брака,

и я. Приближался мой первый день рождения, а мы собирались уезжать из уютного дома, и вернуться нам предстояло только через двадцать лет.

С генералом Ван Чжэнем отец познакомился в Яньане в 1943 году. После переезда отца в Пекин они вращались в разных кругах и редко встречались, но, когда Ай Цин вернулся из Чили, Ван Чжэнь пригласил его на обед. Во время разговора генерал принес потрепанную книгу — «Избранные стихотворения Ай Цина», на страницах которой было множество пометок и маленьких кружочков под строчками, которые его особо восхищали. На титульной странице была пометка для его детей: «Один кружочек — эти строки нужно хорошо знать. Два кружочка — выучить наизусть».

В начале весны 1958 года, когда «правым элементам» вроде Ай Цина грозила высылка из столицы, Ван Чжэнь, который теперь занимал пост министра освоения целины и залежных земель, снова пригласил его к себе. Он не стал ходить вокруг да около. «Старина Ай, — сказал он, дружески обратившись к нему, — ты не антипартийный, не антисоциалистический элемент. Ты на стороне правды, я знаю. Пора тебе уйти из культуры, давай с нами».

Ван Чжэнь взял палку и подошел к большой карте Китая на стене. Хэйлунцзян был в правом верхнем углу, и Ван показал на маленькую точку на самом северо-востоке — на лесное хозяйство под названием Наньхэн. «Старина Ай, — сказал он, — вот куда ты отправишься».

Как и других «правых» уклонистов, отца высылали в один из наиболее суровых регионов на «перевоспитание». Но Ван Чжэнь распорядился, чтобы его отправили в Большую северную пустошь — эта территория находилась в его юрисдикции и там он мог защитить отца. Большая северная пустошь — это самая северная часть Китая, ее северная и восточная границы, от которых рукой подать до Советского Союза. Уже с 1650-х годов, с эпохи правления первого императора Цин, эта часть страны обрела мрачную репутацию как место ссылки обвиненных в мятежных настроениях.

Перед отъездом из Пекина мать сходила в магазин товаров для иностранцев и купила ящик американского сухого молока. В Большой пустоши молока достать было нельзя, и, по мнению матери, мой организм выдержал тяготы ссылки именно благодаря той детской смеси.

Мы отправились на север на поезде, реквизированном для военных нужд, и были в нем единственными гражданскими

пассажирами. Чтобы не привлекать внимания, перед посадкой на поезд отец сказал Линлин: «Если кто-нибудь спросит, чем занимается отец, отвечай, что я крестьянин».

Когда мы наконец доехали до Мишаня, нас встретил Ван Чжэнь. Маленький уездный городок был наводнен десятками тысяч демобилизованных солдат. Как в военные времена, когда Ван Чжэнь был полководцем, он забрался на крышу грузовика и стал командовать будущими крестьянами, побуждая их поднимать целину и пахать землю Большой северной пустоши, сохраняя дух Яньаня. «Это поэт по имени Ай Цин, — сказал он им, — он едет с нами, давайте поприветствуем его!» «Привет!» — прокричала толпа. «Сегодня мы выдвигаемся в Большую северную пустошь. Если у нас не будет транспорта, как мы туда пойдем?» «Пешком!» — был ответ.

Со стороны Мишаня можно было видеть противоположный, восточный берег озера Ханка — это уже территория Советского Союза, и до Владивостока рукой подать. Нам выделили комнаты в пустующей школе. Когда мать узнала, что ребенок предыдущих жильцов умер от кори, она перепугалась, что я могу подхватить инфекцию. «Лучше спать на улице!» — плакала она. Так что мы перебрались на ночлег в другое место.

Предки матери были из Шаньдуна — провинции, где родился Конфуций, и, как многие уроженцы этих краев, она имела традиционные взгляды на устройство семьи. Она почитала родителей и была предана своим детям, она была решительной и умелой. Сдержанная в проявлении эмоций, она любила отца, но в те времена слово «любовь» не связывали с личными чувствами — ведь любить можно было только страну, партию и ее лидера.

Пунктом назначения был Госхоз 852. Еще недавно эти места, расположенные высоко в горах, представляли собой девственный лес. Ай Цин был единственным «правым элементом», высланным туда. Других «правых элементов» — 1417 писателей, художников, актеров, музыкантов и инженеров — отправили на два других лесоповала в том же районе. Это была лишь малая часть из полумиллионной армии «правых элементов», которых теперь разбросало по всем концам страны.

Секретарь компартии Госхоза 852, который раньше служил начальником охраны Ван Чжэня, обращался с нами вежливо и уважительно. На территории имелось пять отдельных домиков для руководителей лагеря — один в середине, другие четыре на равном расстоянии от него и друг от друга. Нам выделили домик в юго-восточном углу, который изначально был отведен Ван Чжэню. Его соорудили из сосновых бревен, а зазоры между ними забили опилками для утепления. Снаружи стояли ярко-белые

березы.

Отца удостоили почетного звания заместителя начальника лагеря, не предполагавшего ни власти, ни особых обязанностей. Будучи литератором, отец совершенно не разбирался в лесном хозяйстве или лесозаготовках, и Ван Чжэнь таким образом предлагал подопечному возможность пожить среди простых рабочих, «узнать жизнь» и собрать литературный материал. Отец старался быть полезным, помогая строить домики и складывать каны — кирпичные кровати-печи, распространенные в условиях сурового климата. В течение дня его задачей было писать объявления на доске, а по вечерам он держал фонарь для тех, кто был занят тяжелой работой.

В апреле деревья в лесу были еще голыми, и отец водил нас, детей, наблюдать за птицами. Посреди угрюмой тишины сквозь ветви проникали солнечные лучи, освещая поваленные стволы и кучи листьев. Ближе к ночи поднимался ветер и метался по долине с угрожающим ревом. Отец нас успокаивал, говоря, что лес — это дом ветра, и каждую ночь после дневных трудов ветер, как и мы, возвращается домой. По его версии получалось, что ветер — старший житель гор, а я — младший.

В госхозе было маленькое сельпо, но на его двери месяцами висел замок, так как товаров было немного. Выживание здесь зависело от нас самих. Родители собирались расчистить небольшой участок и посадить овощи, но уже после выкорчевывания спутанных древесных корней у отца все руки покрылись ранами и мозолями.

Однажды мы нашли глубоко в лесу новорожденного пятнистого олененка. Мы принесли его в лагерь и стали откармливать детской смесью. Некоторое время он с удовольствием играл со мной, но потом, к сожалению, угодил в колодец и утонул. Позже лагерь приобрел большого северного оленя, построили для него загон и поручили отцу ухаживать за ним. В конце концов животному удалось повалить часть ограды и сбежать, чему отец втайне был рад.

Жизнь в лесной тишине была простой и скромной. Когда наступало лето, горы покрывались «золотыми иглами» — желтыми грибами, которые мы собирали, сушили и с удовольствием ели. Однажды, когда я едва начал произносить первые слова, я потянул отца за руку в лес. В углублении у корней дерева я нашел гриб-ежовик, который очень хотел показать ему.

Осенью 1958 года железную дорогу протянули дальше на восток, до самого Хулиня, и все шпалы для нее были изготовлены из нашей древесины. Мать ухаживала за саженцами и выращивала овощи, но для обеспечения нужд железной дороги ее отправили на лесозаготовку. Деревья валили с помощью большой ручной пилы, которую два человека тянули туда-сюда; каждый падающий ствол так звучно ударялся о землю, что эхо проносилось по всей горе. К концу дня вся одежда матери была мокрой от пота, а стоило выйти из-под укрытия леса, как ее обдувал холодный ветер. В ту зиму мать простудилась и больше двух месяцев кашляла. От кашля у нее в глазах полопались сосуды, а белки покраснели. Из-за отсутствия лекарств у нее развилась хроническая астма.

На более отдаленных делянках дровосекам приходилось в качестве временного укрытия выкапывать ямы в обледеневшем снегу и закрывать дыру ветками и брезентом, оставляя отверстие для вентиляции. Вечером они разжигали костер, чтобы согреться, но его никогда не хватало на всю ночь, и к утру становилось так холодно, что над дырой облачком поднимался пар от дыхания спящих. Если над дырой не было пара, значит, люди внутри умерли.

Когда наступала зима, горы укрывались снегом не меньше чем на полгода, и как только он весной таял, грязь была такая, что грузовики с продовольствием не могли пробраться через нее. Когда заканчивалось зерно, мы утоляли голод вареными ростками пшеницы. В молодости отцу не хватало кальция в еде, так что зубы у него всегда были плохими, а теперь он не мог разжевать жесткие ростки, и приходилось глотать их целиком. Из-

за этого его постоянно мучил понос. Вскоре он стал худым, как щепка, и не мог вставать с постели. Измученный физически и морально, он, закрыв глаза, зачастую не хотел их открывать. Но наше присутствие и поддержка матери помогли ему выжить. Мать говорила, что если бы не дети, они с отцом купили бы билеты в один конец до реки, связались бы веревкой, схватили тяжелый камень и прыгнули в ледяную воду. Всего минута — и конец мучениям.

Наше лесное жилище не было подключено к электричеству, так что отец пожертвовал свои авторские гонорары на покупку в госхоз небольшого генератора, и у нас появилось освещение. Когда в октябре 1959 года в лагерь приехал Ван Чжэнь, он был потрясен, обнаружив отца истощенным и прикованным к постели, и привез к нему врача. Вскоре отец получил письмо из Министерства освоения целины и залежных земель, в котором ему разрешалось вернуться в Пекин.

За два года до этого СССР запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли. Воодушевленный этим прорывом Советский Союз разработал план развернутого строительства коммунистического общества, целью которого было за пятнадцать лет обогнать США. Подобным образом Мао Цзэдун мечтал за десять лет сравняться с Великобританией по объему производства, а потом еще за десять догнать США. Официальная формулировка была «догнать Великобританию и США за двадцать пять лет или чуть больше», но это еще с запасом — Мао считал, что достаточно и двадцати. Руководство КПК объявило так называемую генеральную линию ускоренного построения социализма: работать в полную мощь, стремиться к вершинам и строить социализм больше, быстрее, лучше, экономнее. Новая генеральная линия, «Большой скачок» (программа быстрой индустриализации, включающая в себя кампанию по производству стали) и народные коммуны, нацеленные на коллективизацию сельского хозяйства страны, получили название «Три красных знамени». Но в результате столь радикальной политики за последующие годы от голода умерли десятки миллионов людей.

Когда мы вернулись в столицу, родители узнали, что их снова высылают в отдаленный регион, на этот раз на крайнем северо-западе Китая. Там Ван Чжэнь учредил Синьцзянский производственно-строительный корпус и поручил ему развитие и оборону пограничных районов около пустыни Гурбантюнгут на севере провинции Синьцзян.

Наступил ноябрь 1959 года. В Пекине холодало, и мать очень

опасалась брать меня с собой. Как и северо-восток страны, Синьцзян долго служил местом ссылки неугодных, и в эпоху династии Цин туда часто отправляли изгнанников, посягавших на честь императорского двора. Путь туда был долгим и трудным, а жизнь предполагала полную изоляцию. Волнуясь, что ребенок двух с половиной лет может не вынести тяжелой дороги, родители поручили меня заботам моей тети Цзян Сихуа, которая тогда работала проектировщицей в Пекине. Но когда они собрались уезжать, я уселся на чемоданы, отчаянно пытаясь удержать родителей. Цепляясь за ноги матери, я возмущался, что они «хотят меня бросить». Их уже ждала машина, поэтому мать оттолкнула меня и выбежала из дома.

Когда родители отправились в Синьцзян, железная дорога доходила лишь до границы с провинцией Ганьсу — до городка Синсинся, служившего в древние времена пограничным постом для путешественников, ехавших на запад. На следующий день они сели в автобус до Вэйя, который тогда был настолько мал, что его даже не наносили на карты. Затем они пересели в другой автобус и на нем за два дня добрались до Кумула, где переночевали, прежде чем наконец смогли попасть в заснеженный и заледенелый Урумчи. За все время пути они не увидели в Синьцзяне ни клочка зелени — только бескрайние поля с верблюжьими колючками. Песчаные бури угрожали разбить вдребезги окна автобуса, а дороги были настолько плохи, что отец говорил — чудо, что после такой поездки кости остались целы.

По дороге отец впервые увидел Огненные горы — холмы красноватого песчаника в пустыне к востоку от Урумчи, которые выглядят так, будто горят негасимым огнем, — и ему стала нравиться суровая красота синьцзянского пейзажа. Несмотря на то, что он впервые оказался в Синьцзяне, там нашлись друзья со времен Яньаня, которые могли позаботиться о нем, — Ван Эньмао, первый секретарь Синьцзянского автономного района, и Чжан Чжунхань, заместитель наркома Синьцзянского производственно-строительного корпуса.

С 1959 по 1961 год Китай охватил чудовищный голод, погибли десятки миллионов людей. Но Синьцзян он затронул в меньшей степени, и зерна хватало. Опасаясь, что в Пекине мне может не хватать еды, родители решили забрать меня к себе.

Летом 1961 года мне как раз исполнилось четыре года. Проезжая через Ланьчжоу, главный город провинции Ганьсу, мы остановились в гостинице, где постель кишела клопами. Мать была чистюлей и всю ночь не могла уснуть.

Железная дорога теперь протянулась от Синсинся до Яньху, и

когда мы вышли из поезда, порыв ветра сорвал у меня с головы кепку. И глазом не моргнув, я сказал отцу: «Ветер тут совсем не сильный!» Уже тогда я имел вкус к иронии.

Пока мы сидели в ожидании автобуса дальнего следования, отец совершенно случайно встретил вице-премьера Си Чжунсюня, который приехал в Синьцзян с инспекцией. Отец познакомился с Си (отцом нынешнего президента Китая Си Цзиньпина) еще в Яньане. Они перекинулись парой фраз, и Си сказал сопровождавшим его синьцзянским чиновникам, что давно пора снять с отца ярлык «правого элемента». Си считал, что отец явно не антипартийный элемент, и распорядился, чтобы нас отвезли на машине в Урумчи.

Шихэцзы лежит в девяноста милях к северо-западу от Урумчи, на западном берегу реки Манас. В 1949 году там стояло лишь несколько десятков уйгурских домов, но за десять лет на этом месте вырос город с населением около 200 000 человек. К северу от него лежала Джунгарская равнина, а к западу — горы Тянь-Шань. Прямые улицы нового города были слово расчерчены по линейке. Комплекс построек, который занимала администрация 8-й сельскохозяйственной дивизии, окружала стена с часовыми у ворот. Помимо административных зданий, в комплекс входили также жилые строения не менее чем для ста семей. У северного входа расположился ряд желтых бараков советского типа, а здание на восточном краю стало нашим новым домом.

Я с детства так привык к постоянным переездам, что понятие дома для меня не было сопряжено ни с уверенностью, ни с привязанностью, ведь за каждым новым переездом следовал период обустройства и адаптации. Когда дом невозможно защитить и сохранить, он теряет свою силу; доверие и привязанность исчезают, если не закрепляются в памяти.

Города, построенные по советским принципам планирования, подавляли всякие проявления индивидуальности в пользу эффективности и однообразия. Соответственно выглядел и Шихэцзы с широкими тополиными аллеями, где вертикальные линии стволов шли под прямым углом к горизонтальным дорогам в их тени. Шихэцзы был построен бывшими военными, переселенцами с востока и нищими беженцами из голодающих районов, так что он отличался от других городов, где бывали мои родители, ведь каждый кирпич, каждая бетонная плита здесь были новые. Из-за отсутствия исторического прошлого другая жизнь казалась невозможной, и это подчеркивало замысел строителей будущего. Шихэцзы населяли люди, пережившие взлеты и падения в своей карьере, люди, желающие обрубить

связи с прошлым и начать новый этап, ведь они на горьком опыте усвоили, что иметь память и индивидуальность опасно. Государство было машиной, высасывающей память и обесцвечивающей ее.

Горный хребет Тянь-Шаня, возвышавшийся на юге, круглый год, даже в разгар самого жаркого лета, был покрыт снегами, и стекающие с гор ручьи давали жизнь пышной зелени Шихэцзы. Перед входом в дом за кипарисовой изгородью прятался сад, куда вели покрытые вьюнком деревянные ворота. Внутри росли самые разнообразные растения. Старый сухонький садовник проводил там все свое время, склоняясь, чтобы подрезать ветви, разрыхлить землю, выполоть сорняки и полить цветы. Я ни разу не видел, чтобы кто-то с ним говорил. Ходили слухи, что когда-то он был высокопоставленным шпионом Гоминьдана, и я фантазировал, будто по всему саду спрятаны секретные шифры. Его дом размером с небольшой сарай был увит растениями, и вела к нему узкая насыпная тропинка. Однажды я заглянул в его окно и увидел двуспальную кровать и письменный стол. Остальная часть комнаты выглядела нетронутой. Клубы пыли, окутывавшие ее, светились на солнце, словно гагачий пух.

Положение отца в Шихэцзы, на первый взгляд, по крайней мере, было не таким уж плохим. Работать его не заставляли, особо не притесняли, но тем не менее он находил себе занятия. Около четырех-пяти часов утра он уже садился за стол и писал при свете лампы из зеленого стекла. Однако стихотворения, которые он отсылал в литературные журналы, возвращали непрочитанными, так как ни один редактор не осмеливался их печатать. Только с помощью Ван Чжэня ему удалось опубликовать с десяток своих сочинений под псевдонимом Линь Би в местном журнале производственного корпуса «*Большой скачок*», и платили ему по пять юаней за стихотворение. Потом он стал писать художественную книгу о жизни синьцзянских первопроходцев под названием «Убежище в пустыне».

В детстве я каждый день видел, как он корпел над рукописями, испещряя страницы исправлениями, зачеркиваниями и добавлениями. Меня завораживала его фанатичная преданность книге, которая могла так и не увидеть свет, а позже, став взрослым, я пошел по его стопам, подвергая себя опасности изданием подпольных книг. Писательский труд был для него неотъемлемой частью жизни, и ничто не могло сломить его волю.

Мать занималась всеми домашними делами — покупала продукты, готовила еду, ходила за водой. Она все делала сама, и дом всегда сиял чистотой. Я часто вертелся возле нее во время стирки, восхищаясь силой ее рук, пока она терла, полоскала,

выжимала и развешивала одежду на уличной сушилке.

Почти все вещи в доме были предоставлены государством, от кресел и кроватей до книжных полок, столов и стульев, даже кружка, из которой отец пил чай. Наши собственные пожитки состояли только из багажа, привезенного из Пекина: дорожного сундука из камфорного дерева, в котором лежали картины отца, да темно-красного кожаного чемодана с блестящими металлическими уголками. Его содержимое казалось мне волшебным миром: там были предметы искусства со всех концов света, керамика с чудесной росписью, инкрустированный серебром рог, завораживающая музыкальная шкатулка и великое множество разнообразных морских ракушек, которые отец собрал в своих путешествиях.

Однажды летом, на второй год моей жизни в Шихэцзы, отец сказал: «Мама родила тебе братика. Пойдем навестим их». Дневное солнце опаляло нам спины, пока мы шли по пустым улицам к роддому. На моей памяти это был первый раз, когда мы отправились в долгую прогулку вдвоем. По пути мы набрели на кучу гальки, и я присел на корточки, чтобы выбрать из нее интересные камушки, а отец стоял рядом и курил сигарету, держа в руках сумку с вареными яйцами.

В декабре 1961 года было принято решение снять ярлык «правых элементов» с некоторых из сотен тысяч людей, попавших в немилость в ходе кампании 1957 года. Отец оказался в числе 370 счастливчиков. Новость напечатали в *Жэньминь жибао*, и вскоре редакция газеты переправила отцу несколько сотен поздравительных писем от читателей. Впрочем, это правительственное решение не положило конец его злоключениям: Союз писателей отказался проявлять хоть какую-то снисходительность к «правым» заводилам вроде него.

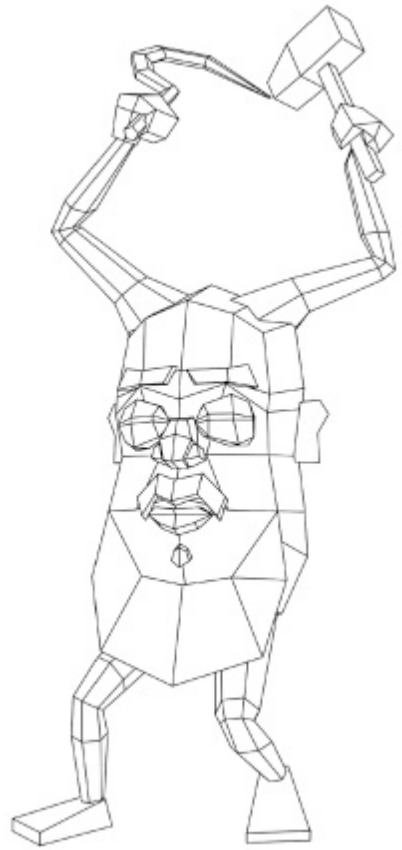
Далеко на горизонте собиралась гроза, и вскоре она поглотит нас.

Глава 8. Весь мир ваш

Мир ваш — конечно, пока мы живы, он и наш тоже, но в конечном итоге все же ваш. Вы, молодежь, полны сил и энергии, как солнце в восемь или девять часов утра. Будущее Китая принадлежит вам, будущее мира принадлежит вам, надежды возложены на вас!

Мао Цзэдун, из выступления перед китайскими студентами в Москве в 1957 году

К середине 1960-х годов Мао Цзэдун пришел к выводу, что Советский Союз и его сателлиты в Восточной Европе больше не стремятся к мировой революции. Предатели марксизма-ленинизма вроде Никиты Хрущева и тому подобных лидеров заняты «ревизионизмом» и восстановлением капитализма. Он считал, что если не уследить, та же судьба уготована Китаю. Мао уже исполнилось семьдесят три, и он все больше беспокоился о своем наследии, видя главную угрозу в высших эшелонах власти и центральном руководстве. Пятого мая 1966 года, принимая делегацию из Албании, он сказал: «На здоровье не жалуюсь, но рано или поздно Маркс позовет меня к себе… Наша жизнь клонится к закату, так что нужно использовать последний оставшийся вздох на то, чтобы положить конец попыткам реставрации буржуазного строя». Мао был убежден, что прошлые формы борьбы не смогут решить нынешних проблем. Ему требовался новый путь, который мобилизовал бы все слои масс. Его решением стала «культурная революция». Нельзя навести порядок в мире, не ввергнув его сначала в хаос.



По распоряжению Мао 16 мая 1966 года на расширенном заседании Политбюро был принят документ, обвиняющий представителей буржуазии в том, что они проникли в партию, правительство, армию и различные культурные круги. Они якобы просто кучка контрреволюционеров-ревизионистов, которые только и ждут возможности захватить политическую власть и превратить диктатуру пролетариата в диктатуру буржуазии.

В том же месяце на руководство Пекинского университета обрушилась яростная атака в форме пропагандистского плаката, дацзыбао, размещенного на его территории. С середины 1950-х годов такие плакаты, написанные от руки на одном или нескольких листах бумаги, развешивали в общественных местах, используя как инструменты запуска политических кампаний и формирования общественного мнения. Это были своего рода блоги и Facebook[26] эпохи Мао, с той лишь разницей, что их идеи и формулировки находились под строгим контролем и имели определенные цели. Атака на руководство Пекинского университета была частью более масштабного мероприятия,

ставившего цель сместить муниципальное руководство Пекина, которое Мао считал реакционным.

Беседуя с женой Цзян Цин, Мао поделился ожиданиями от «культурной революции». Чтобы управлять обществом должным образом, сказал он, сначала его нужно ввергнуть в хаос. Подобная встряска требовалась, по его мнению, каждые семь-восемь лет, чтобы выманивать «бычьеголовых демонов и змееподобных бесов» из их нор, выявляя их классовую природу. «Культурная революция» должна была превратиться в военный маневр национального масштаба, когда все — и левые, и правые, и колеблющиеся приспособленцы — получат по заслугам.

Шестнадцатого июля 1966 года в Ухане было солнечно. Мао в одних плавках спустился в воду с моторной лодки у только что построенного моста через Янцзы и благополучно проплыл в течение шестидесяти пяти минут вниз по течению. В этом показном мероприятии для прессы любитель театральных эффектов в очередной раз продемонстрировал свою харизму и запас жизненных сил. Запись его заплыва показали по всей стране, а его неукротимый дух в «сражении с волнами посреди реки» должен был вдохновить маленьких генералов революции.

Вернувшись в Пекин, Мао сделал резкое заявление под лозунгом «Огонь по штабам!» — это была прямая атака на руководство КПК, и вскоре на линии огня оказались все представители власти. После этого, будто вода из пожарного шланга, хлынули революционные массы — из каждого цеха, каждой школы, каждой улицы, стремительно организуя крупные соединения, которые бурлили по всей стране в городах и селах, на фабриках и в шахтах — от больших городов до дальних границ.

В следующие несколько недель Мао восемь раз поднимался на врата Тяньаньмэнь, теперь уже в зеленой военной форме и вместе со ближайшим товарищем по оружию Линь Бяо, одним из немногих оставшихся представителей старой гвардии (который потом предаст его). Восемнадцатого августа на первом из таких митингов, в ходе которого на площади собралось около миллиона хунвэйбинов, студентка повязала Мао на рукав красную повязку, а он призвал ее к воинственности — этот совет многие юные радикалы истолковали как сигнал вести себя еще агрессивнее в борьбе с врагами Мао. Председатель снова и снова выходил приветствовать огромные толпы, советуя им думать, действовать и бунтовать еще смелее. «Не боясь плахи палача, отважьтесь стащить императора с коня»[27], — убеждал он, но этим императором, конечно, был не он, а руководящая бюрократия, которую Мао считал своим врагом.

Двадцать третьего августа 1966 года хунвэйбины привели в Храм Конфуция в Пекине нескольких писателей, в том числе старого друга Ай Цина прозаика Лао Шэ. Там их обвинили в преступлениях и жестоко избили. На следующее утро тело Лао Шэ было обнаружено в озере неподалеку. В тот же день замучили до смерти Ли Да, ректора Уханьского университета; десять дней спустя в своем доме в Шанхае повесились Фу Лэй, знаменитый переводчик Вольтера и Бальзака, и его жена Чжу Мэйфу. Начался красный террор.

Однажды утром в Шихэцзы я увидел, что на улочке около нашего дома, обычно очень тихой, собралась толпа. Люди читали свежие плакаты. Там часто упоминался мой отец, и два иероглифа его имени были перечеркнуты красной краской, чтобы показать его статус изгоя. Я не мог понять, что означают эти общие формулировки, которыми были усыпаны плакаты, — «Сорвите ложную личину Ай Цина», «Обнажите контрреволюционную сущность Ай Цина» и «Вытащите на свет затаившегося правого», но они явно не сулили ничего хорошего ни отцу, ни нам. На плакатах даже ругали «странную и вызывающую одежду» моей матери, ужасаясь ее высоким каблукам и облегающим платьям.

Авторами плакатов были актеры и писатели, образованные люди вроде моих родителей, и они часто гостили в нашем доме. Теперь, с началом политического шторма, они держали нос по ветру, предавая и оговаривая других в надежде улучшить свое положение.

Некоторое время спустя тем же летом, когда мы обедали, в дом ворвалась толпа молодежи в зеленой военной форме с повязками хунвэйбинов на рукавах. Громко зачитав несколько цитат председателя Мао, они принялись обыскивать дом. К этой задаче они подошли очень ответственно: отрывали половицы, пролистывали каждую книгу, перебирали все письма и фотографии в поисках чего-нибудь подозрительного. В итоге они вывезли на тележке отцовские рукописи, письма и другие личные вещи, оставив после себя полный разгром.

Сестра плакала, расстроенная потерей изящных вещиц, который отец собирал всю жизнь, а он пытался ее утешить. «Вещи не главное, — сказал он. — Пусть оставляют себе, если хотят». Для него значение имели только рукописи. Но длинную поэму о Шанхае и неопубликованные заметки, написанные в Большой северной пустоши, восстановить не удалось.

Все полки отца были заставлены литературой, но он собирал и художественные альбомы. Когда я был маленьким и не умел

еще читать, мне доставляли радость тома с яркими обложками и иллюстрациями: позолоченные Мадонны, офорты Рембрандта, архитектура классицизма и Ренессанса. Все они окрыляли мое воображение. Я также помню сборники поэзии Уитмана, Бодлера, Маяковского, Лорки и турецкого поэта Назыма Хикмета. Меня завораживали иллюстрации Пикассо к поэтическому сборнику Поля Элюара, а также китайские ксилографии раннего революционного периода и традиционные вырезанные из бумаги ажурные картинки, которые отец купил в Яньане. Когда переворачиваешь страницы книг, от них исходит уникальный аромат, который сразу сообщает, что они совершенно из другого времени и места. С ранних лет мы знали, что отец очень дорожит этими книгами и альбомами, так как его лицо светлело, стоило ему заговорить о них. Они помогали отцу отвлечься от невзгод.

Но в нынешних условиях каждая ниточка их льняных обложек представляла для нас опасность. После нескольких налетов хунвэйбинов отец решил сжечь все свои книги, и я помогал ему. Мы сложили книги в стопки около костра, и я одну за другой вырывал страницы и бросал в огонь. Словно тонущие призраки, они корчились и исчезали в пламени. Когда они превратились в пепел, в меня вселилась странная сила. С тех самых пор эта сила постепенно распространила свою власть над моим телом и разумом, пока не проявилась с мощью, способной устрашить даже самого могущественного противника. Я говорю о приверженности разуму и чувству прекрасного — эти качества несокрушимы и бескомпромиссны, а любая попытка подавить их вызывает противодействие.

Кампания против «правых элементов» была направлена против образованной элиты, а «культурная революция» боролась со всеми. Школы закрывались, чтобы ученики могли участвовать в революционной деятельности, а многих учителей, обвиняемых в проведении буржуазной образовательной линии, унижали, избивали, а то и хуже. Взрослые дни напролет проводили на собраниях или обличительных сессиях и не успевали следить за детьми, так что мы могли сколько угодно играть в заброшенных зданиях. Любимой игрой были прятки. Однажды я искал, где бы получше спрятаться, и влез через окно в пустой кабинет. Присев на корточки, я заметил, что по полу разбросаны бумаги. Меня потрясло увиденное: там лежали наши семейные фотографии, связки писем и много-много страниц, исписанных знакомым отцовским почерком. Это были наши главные сокровища, и потеря этих немногих вещественных свидетельств глубоко личных воспоминаний моего отца навсегда обеднит мои представления о семье и обществе.

Однажды мать пришла домой и обнаружила, что настенный крюк, на который мы вешали наши сумки, упал на пол. На отцовском письменном столе лежала лампочка, и когда она взяла ее в руки, то увидела, что нить внутри цела. «Зачем ты выкрутил лампочку, если она не перегорела?» — спросила она отца, который сидел молча. Вдруг она поняла, что он, вероятно, пытался повеситься на настенном крюке, а теперь размышлял о том, как еще можно совершить самоубийство. Она заплакала и крепко обняла его. «Ай Цин, даже не думай об этом! Что с нами станет, если ты умрешь? Не делай так больше!»

Отец взглянул на моего маленького брата Ай Даня, который крепко спал и ничего не знал о несчастье, которое чуть было не случилось. «Гао Ин, — сказал он, — дети еще так малы, как бы ты справилась одна? Не волнуйся, мне не хватит смелости это сделать».

В 1967 году соперничество между разными фракциями хунвэйбинов усилилось. Все они были убеждены в собственной непоколебимой верности председателю Мао, но разногласия и взаимная вражда привели к вооруженным столкновениям. Ночью 25 января 1967 года один такой конфликт разразился в нашем районе между «мятежниками» — самыми радикальными хунвэйбинами и «роялистами» — их соперниками, которые стремились защитить партийные интересы.

В ту ночь я слышал, как по крыше бегали люди, ломая черепицу, и как множество голосов сливается в неразборчивый шум. Из громкоговорителей доносилась оглушающая какофония лозунгов и угроз. На следующий день послышались выстрелы — громкий и резкий звук напоминал треск бобов на сковороде. Выстрелы прекратились только с наступлением темноты, и на наш район наконец опустилась тишина.

На следующее утро под холодным небом на заледеневшей

земле лежало около двадцати трупов. Среди них были солдат, беременная женщина и мой одноклассник Ма Лу, которого обожали все соседи. Пуля настигла его на пути домой — он ходил за водой, и рядом с его скрючившимся телом валялись два ведра и коромысло, которые уже успели вмерзнуть в лед. Тело солдата закоченело, как камень. Взбудораженные новизной ситуации местные мальчишки демонстрировали друг другу, что совсем не испугались, и по очереди запрыгивали на тело солдата.

Ходили слухи, но никто не знал наверняка, что случилось в ту ужасную ночь, и никто не взял на себя ответственность. Позже даже поползли нелепые слухи, будто стычкой тайно руководил мой отец, а мать обвинили в пособничестве.

Однажды утром я вернулся домой и увидел сестру Линлин и брата Гао Цзяня в военной форме, которую они бог знает где раздобыли. Мне это показалось очень странным, и не потому, что одежда им не по размеру, а потому, что им не положено было ее носить, ведь наш отец принадлежал к «пяти категориям дискредитировавших себя слоев населения» — помещикам, кулакам, контрреволюционным элементам, преступникам и «правым». В те годы была популярная песенка: «У драконов родятся драконы, у фениксов — фениксы. Если крысы имеют крысят, они рождены для жизни в норе». Теория наследственности тогда была в моде: революционная элита никогда бы не приняла детей из «пяти категорий», как крысеныш никогда не стал бы драконом.

Линлин и Гао Цзянь уже были подростками, и мать все больше беспокоилась за них. Она убедила их отправиться обратно в Пекин, к своему биологическому отцу, чья принадлежность к «революционным кадрам» пока оберегала его от всяческих чисток. Семье предстояло разделиться, и я чувствовал, как отец расстроился, ведь приемных детей он любил как своих — настолько, что я даже не знал, что у нас разные отцы. Но мать не хотела, чтобы их жизнь пошла под откос только из-за того, что она вышла замуж за моего отца, а он понимал ее страхи. В те опасные времена отправить их в более спокойное место было мудрым решением.

Столкнувшись с неминуемой разлукой, в глубине души я испытывал боль, понимая, что на самом деле мы не были одной семьей: у некоторых из нас были другие варианты.

Я неподвижно сидел перед сестрой. «Не уезжай», — прошептал я.

Но Линлин лишь бросила на меня странный взгляд — может, она не слышала, что я сказал.

После отъезда Линлин и Гао Цзяня дом затих, но каждый день мы ждали очередных неприятностей. Через несколько недель Гао Цзянь вернулся. Биологический отец принял в дом Линлин, а ее младшего брата нет. Мне, десятилетке, это казалось очень странным, и я постоянно выспрашивал сводного брата, почему отец не взял его к себе. Для Гао Цзяня, конечно же, это был самый обидный вопрос на свете, поэтому в ответ я обычно получал по морде. Тогда я не знал, что опеку над Гао Цзянем присудили матери, так что ее бывший муж действовал в рамках закона, когда отказался растить сына.

Отец редко говорил о трудностях, которые пришлось перенести в те дни, — и тогда, и потом, и с нами, и с друзьями он предпочитал молчать, оставаясь верным своему заявлению, сделанному четверть века назад:

> Никто не страдает острее, чем я.
> Я предан эпохе, я слит с эпохой, но я молчу
> Уныло, как преступник в узилище.
> Это его молчание, когда под конвоем идет он к месту казни.

Вскоре отца вместе со мной и сводным братом отправили на край пустыни, и мы, не взяв почти ничего из личных вещей, вынуждены были начинать новую жизнь в «маленькой Сибири».

Много лет спустя, в апреле 2011 года, на второй день своего ареста я стал доказывать, что у меня есть законные права, и тогда следователь со значением посмотрел на меня. «Неужели не знаешь, что было в руках у Лю Шаоци, когда к нему в дом ворвались хунвэйбины? Он держал конституцию».

Лю Шаоци, ветеран революции, коммунист с 1921 года, был главой государства на момент начала «культурной революции». Он составил текст китайской конституции и предполагал, что она защитит своего создателя. Но в 1966 году Лю обвинили в том, что он пошел по капиталистическому пути, сделали изгоем и заключили в импровизированную тюрьму. Он умер от воспаления легких в ноябре 1969 года и был тайно кремирован под вымышленным именем.

Следователь поднял голос, чтобы убедительнее донести мысль. «Нет никакой разницы, — сказал он, — между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас. Сегодняшние руководители точно так же могут оказаться на месте Лю».

Он прямо сказал то, что и так было понятно. Он имел в виду вот что: никогда не забывай, что при тоталитаризме жестокость и

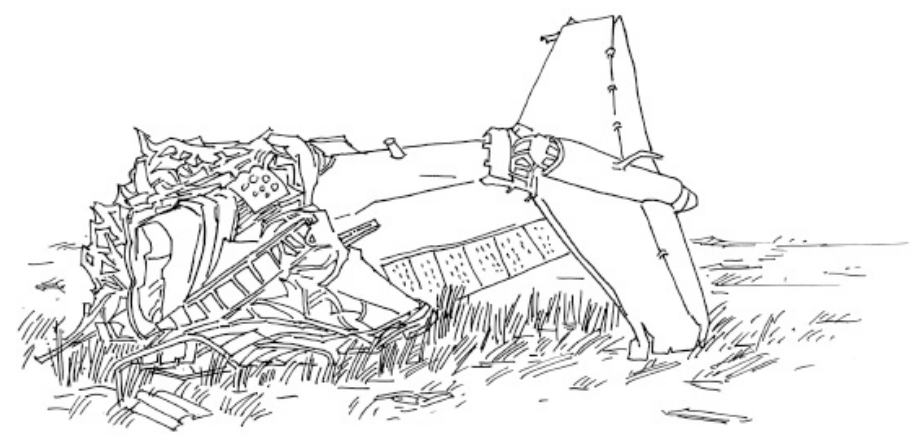
абсурд идут рука об руку.

Глава 9. Свободнее ветра

С момента основания нового режима до смерти Мао Цзэдуна в 1976 году Китай пережил более пятидесяти политических кампаний, и каждая очередная оказывалась более неистовой, чем предыдущая. «Культурная революция» погрузила страну в мир фантазий и бредовых идей.

После того как в августе 1968 года Прагу оккупировали войска Варшавского договора, отношения Китая с Советским Союзом стали еще более напряженными. Советы разместили миллион человек на границе с Синьцзяном, и некоторое время казалось, что война неизбежна. В ожидании войны в младшей школе стали всячески подчеркивать значение изучения иностранных языков, и я узнал, как по-русски произносятся такие, например, фразы: «Сдавайте оружие, и вас не убьют» и «Мы хорошо обращаемся с пленными».

Однажды вечером в октябре 1971 года у двери появился молодой человек. К изумлению отца, он достал из кармана бумагу — конфиденциальный документ ЦК партии, в котором сообщалось, что заместитель председателя Линь Бяо погиб в авиакатастрофе над территорией Монголии при попытке сбежать за границу. Молодой человек случайно увидел этот документ в администрации совхоза и почему-то решил, что его нужно передать единственному человеку, который достоин того, чтобы это узнать, — моему отцу.



В администрации вскоре обнаружили пропажу документа, и нашего гостя на два дня и две ночи подвесили на стропила, чтобы выяснить мотивы его действий. Кстати сказать, когда бумага

попала к руководству госхоза, новость и так уже знал весь мир.

Линь Бяо был высокопоставленным генералом, отцом-основателем КНР, а в ходе «культурной революции» сыграл ключевую роль в триумфе Мао над противниками. Но их отношения испортились, что в конце концов привело к катастрофе. Попытка Линь Бяо сбежать в Советский Союз была серьезным ударом по репутации Мао, и после этого он был сам не свой.

Двадцать первого февраля 1972 года произошло нечто еще более поразительное. В Пекине приземлился самолет с Робертом Никсоном на борту — первым американским президентом, прибывшим в КНР. Визит Никсона стал знаком внезапной оттепели в многолетней холодной войне, ничего подобного никто в Китае не ожидал. Семь месяцев спустя премьер-министр Японии прилетел в Пекин, и через несколько дней Китай и Япония объявили о нормализации дипломатических отношений. В свете этих событий журналист Эдгар Сноу, который рассказал миру о Яньане в своей книге «Красная звезда над Китаем» (Red Star Over China), снова приехал в Китай и спросил Чжоу Эньлая, жив ли еще поэт Ай Цин. «Да, — последовал ответ. — Он набирается жизненного опыта в Синьцзяне».

По возвращении из «маленькой Сибири» в Шихэцзы нас разместили в гостинице производственного корпуса — трехэтажном здании, стоявшем на видном месте на перекрестке в самом центре города. Там нам выделили две комнаты друг напротив друга, и наша жизнь сразу стала приятнее благодаря отоплению и электричеству. Меня уже зачислили в первый класс средней школы, той самой, где я успел какое-то время поучиться несколько лет назад. Меня назначили старостой, мой рисунок висел в школьном коридоре, а одно из сочинений поместили на доску объявлений.

Само собой разумелось, что отличники вроде меня должны вступать в комсомол — организацию, созданную отчасти для поощрения достижений, а отчасти для того, чтобы формировать мировоззрение молодых людей и готовить их к вступлению в Коммунистическую партию. Как сказал секретарь комсомола, если меня не принять, будет сложно объяснить, почему приняли тех, у кого оценки хуже. Однако моя кандидатура оказалась спорной: некоторые сторонники жесткой линии подвергли сомнению мою благонадежность (ведь мой отец был «правым элементом») и потребовали, чтобы я отрекся от него. Но победили те, кто меня поддерживал, — они говорили, что правильное образование сделает из меня человека. Так что меня приняли в

комсомол, и я в первый — и последний — раз в жизни стал членом политического объединения.

Во время учебы в средней школе Шихэцзы я познакомился с Чжоу Линь, которая потом сыграет важную роль в моей жизни. Спокойная, независимая Чжоу Линь была на три года старше меня и тоже из Пекина и то ли из-за своего поведения, то ли из-за манеры одеваться выделялась на фоне остальных девушек. Она частенько приходила к нам в гости по выходным и выбирала что-нибудь почитать на книжных полках, потом привязывала стопку книг и журналов к багажнику велосипеда и уезжала, а через неделю возвращала их.

В мае 1972 года Чжоу Эньлаю диагностировали рак, и силы стали его покидать. Дэн Сяопину, отправившему Мао из провинции Цзянси два письма с самокритикой, разрешили вернуться и восстановили его в должности вице-премьера. Другие пострадавшие в начале «культурной революции» за то, что «шли капиталистическим путем», также потихоньку стали возвращаться на свои прежние посты.

Отец уже давно заметил, что стал хуже видеть, но списывал это на плохое освещение в землянке. И только по возвращении в Шихэцзы он сходил к окулисту и узнал, что полностью потерял зрение в правом глазу. Врач сказал, что это легко было предотвратить, обратись он за помощью раньше. Отец лишь печально улыбнулся.

Летом 1973 года он стал резко терять зрение и в левом глазу, настолько, что ему стало тяжело читать. Учитывая сложность случая, местные врачи не давали гарантий и посоветовали съездить в Пекин. На это нужно было получить разрешение на нескольких уровнях партийного руководства, вплоть до начальства Синьцзянского военного округа. Прошло пятнадцать лет с начала его ссылки, и наконец отцу (а вместе с ним и Гао Ин с Ай Данем) разрешили поехать в Пекин на лечение, а я оставался в Шихэцзы и продолжал ходить в школу.

В Пекине у родителей не было такого места, которое они могли назвать своим домом, их прежнее жилище заняли другие люди, и единственным вариантом было остановиться у Цзян Синин, младшей из двух моих теток. И без того невысокая Цзян Синин теперь еще и сгорбилась оттого, что годами подметала улицы, и ее слух испортился — приходилось говорить очень громко. В моих воспоминаниях из раннего детства, когда она жила вместе со старшей сестрой, хранится образ, как она с застывшей улыбкой на лице приходит с Сиданьского рынка, сжимая в руках пучок овощей и пакетик свиного фарша.

Отец наконец смог увидеться со своим другом Цзян Фэном. Они вместе сидели в шанхайской тюрьме, а потом встретились в Яньане и в 1949 году приехали в Пекин триумфаторами, а в 1957 году их объявили «правыми элементами». С тех пор их общение оборвалось, и ни один из них не знал, жив ли другой. Цзян Фэн всегда был тихим, а теперь и вовсе стал молчуном, но именно от него отец узнал, что случилось с некоторыми друзьями: Дин Лин все еще была в изгнании на северо-востоке, а Чжоу Ян впал в немилость в ходе «культурной революции» и был заключен в тюрьму.

После консультации у врача в Пекине отец ухитрился также съездить в родной город в провинции Чжэцзян. Он не был там уже двадцать лет, и, хотя сам город почти не изменился, его родственники и друзья успели страшно состариться. Он все еще был в опале и не мог переехать обратно в Пекин, поэтому пришлось возвращаться в Синьцзян. Цзян Фэн пришел проводить его на вокзал, и старые товарищи простились со слезами на глазах.

Пропагандистские кампании продолжились. В сентябре 1973 года уже почти восьмидесятилетний Мао в беседе с иностранным посетителем обнаружил свои истинные взгляды, сравнив себя с первым императором Китая, известным как Цинь Ши-хуанди. Правителя царства Цинь обычно изображали в отрицательном свете, как безжалостного деспота, но Мао хвалил его, а Конфуция критиковал. Умеренность Конфуция ему не нравилась, ведь главное для верховного правителя — это единоличная власть. Мао призывал партийное руководство изучать историю и критиковать Конфуция и конфуцианство. Эта инициатива в рамках долгосрочного курса Мао на идеологическую борьбу была направлена против более прагматичных людей в Коммунистической партии.

Вскоре к критике конфуцианства добавилось дальнейшее очернение Линь Бяо, и эту многоцелевую кампанию продвигали все активнее. На досках объявлений в нашей средней школе появились карикатуры на Конфуция, а учителя, которые едва успели вернуться к нормальной жизни, снова стали ходить, повесив головы.

В мае 1975 года шел девятый год «культурной революции», и для множества людей именно эта, поздняя стадия оказалась наиболее мрачной и разрушительной. Вопреки обещаниям Мао, общество не перешло от великого хаоса к великому порядку — напротив, проблем становилось все больше. Китайская экономика в 1974 году функционировала неэффективно, многих товаров не хватало. Жена Мао, Цзян Цин, вступила в сговор с тремя левыми

— Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюанем и Ван Хунвэнем (их группу потом будут называть «Банда четырех») и конкурировала за власть с Чжоу Эньлаем и Дэн Сяопином.

Со временем Мао стало казаться, что хотя Дэн формально и следует его указаниям, но на деле им противоречит, оставляя лишь внешнюю форму его мысли и отвергая политику «культурной революции». В конце 1975 года, уже больной, Мао произнес речь, в которой объявил, что Дэн не вызывает у него доверия, а его усилия по восстановлению порядка Мао назвал «склонностью правых элементов к пересмотру вердиктов».

Вот в такой тревожной обстановке отцу разрешили вернуться в Пекин. Там ему удалили катаракту на левом глазу, и после операции они с моей матерью и Ай Данем смогли остаться в столице. Я присоединился к ним в начале зимних каникул в первые дни января 1976 года.

Время моего возвращения в Пекин совпало со смертью Чжоу Эньлая. Для интеллигентов поколения отца это событие было грустным и тяжелым. Тридцать шесть лет назад Чжоу Эньлай организовал его переезд в Яньань, а в 1944 году в период движения по «выправлению стиля работы партии» именно Чжоу помог снять с него подозрения. Отец чувствовал, что Чжоу — самый сердечный человек из партийной верхушки, способный понять интеллигенцию и отдающий ей должное. Теперь же, со смертью Чжоу, будущее Китая, как и его собственное, становилось еще более неопределенным. Горе, тревога и дурные предчувствия охватили весь круг его знакомых, впрочем, как и весь Пекин. Одиннадцатого января, когда тело Чжоу перевозили из больницы, где он умер, в крематорий, находившийся в Бабаошане в девяти милях от центра Пекина, множество людей пришло проститься со своим премьером. Хотя политические оппоненты Чжоу — радикалы, связанные с Цзян Цин, — пытались запретить публичный траур, новости о предстоящей кремации разнеслись по сарафанному радио, и когда катафалк медленно ехал по проспекту Чанъаньцзе с востока на запад, по всей его длине стояли десятки тысяч людей, многие плакали. В тот день мы с отцом были в гуще этой скорбящей толпы.

Район Сидань, где мы тогда жили, находился всего в двадцати минутах ходьбы от Тяньаньмэнь. Памятник народным героям — гранитный обелиск в центре площади — стал главным местом траурных мероприятий, последовавших сразу за смертью Чжоу. Я туда приходил каждый день, чтобы записать стихотворения, которые декламировали люди, и отнести отцу, читавшему их с большим интересом.

Однажды мы с отцом отправились на площадь вместе. На нем

был старый ватник и хлопковая кепка, а вокруг шеи он намотал длинный шарф. На этот раз отец вернулся на Тяньаньмэнь ослепшим на один глаз, а второй сощурился от лютого мороза. Он был стариком, не имевшим ни постоянного дома, ни перспектив на лучшую жизнь. Он одиноко стоял под серым небом, печально озираясь и размышляя о том, что потерял. Атмосфера на площади была гнетущей. Памятник возвышался над морем людей, а окружающая его вечнозеленая изгородь была покрыта белыми цветами, так что казалось, будто выпал снег. Четырнадцать лет назад, когда отец приехал в Пекин, чтобы забрать меня в Синьцзян, мы вместе пошли на площадь Тяньаньмэнь, и на сделанной тогда фотографии мы оба улыбаемся — он держит меня на руках на фоне ворот Тяньаньмэнь. Теперь он вернулся на площадь после долгих суровых испытаний, и эмоции, должно быть, переполняли его. А я впервые оказался в такой большой толпе.

На следующий месяц исполняющим обязанности премьера вместо Дэн Сяопина назначили Хуа Гофэна — стало ясно, что Дэн попал в опалу. Хуа был тихим и держался незаметно; не имел связей ни с «Бандой четырех», ни с Чжоу Эньлаем или Дэн Сяопином. В политической борьбе между радикалами и центристами Хуа Гофэн занимал нейтральную позицию, подчиняясь исключительно Мао.

Подконтрольные левым средства массовой информации пытались предотвратить траур по Чжоу Эньлаю, но чем больше весна вступала в свои права, тем больше людей во множестве городов пренебрегали предписаниями и приходили отдать ему дань уважения. В Пекине эти демонстрации достигли пика в начале апреля, уже после того, как я вернулся в Синьцзян. Памятник народным героям был завален горой венков, а 4 апреля, на праздник Цинмин — день поминовения усопших, — на площадь Тяньаньмэнь хлынула толпа в миллион человек. Многие воспользовались моментом, чтобы выразить накопившееся недовольство левыми радикалами, и, когда венки ночью убрали, чтобы прекратить дальнейшие демонстрации, возмущенные граждане набросились на командный пункт полиции на площади и сожгли полицейскую машину. Ночью 5 апреля для разгона протестующих вывели народную дружину. Дружинники били людей дубинками и многих арестовали.

В Шихэцзы я слышал по радио о «контрреволюционном инциденте» на площади Тяньаньмэнь, за которым якобы стоял Дэн Сяопин. Нам говорили, что классовые враги произносили реакционные речи, писали реакционные стихотворения и лозунги, распространяли реакционные листовки и подстрекали к

созданию контрреволюционной организации. Я был всей душой солидарен с протестующими, я был возмущен тем, как жестоко подавили демонстрацию и как машина пропаганды перевернула все с ног на голову. Я знал, что свободно обсуждать произошедшее возможности не будет. Тринадцать лет спустя Коммунистическая партия займет аналогичную позицию по поводу движения за демократию в 1989 году. Тоталитарный режим не уступал ни пяди мирной оппозиции, вместо этого показывая свою суть и отвечая применением насилия, не считаясь с человеческими жертвами и нарушением свобод.

Мне уже исполнилось девятнадцать, и, хотя многие мои представления оставались весьма расплывчатыми, одно мне было ясно: едва ли кто-то желает перемен так страстно, как я. Что угодно, только не то, что сейчас. Окончив школу в июле 1976 года, я поспешил в Пекин. Когда мой поезд доехал до станции Шицзячжуан, что в 180 милях к юго-западу от Пекина, пассажиры идущего в противоположном направлении поезда стали высовывать головы из окон и убеждать нас не ехать дальше: в столице произошло сильное землетрясение, сказали они. У меня засосало под ложечкой: я надеялся на перемены и вот дождался. Но никто из нас тогда не понимал, насколько катастрофическим было это землетрясение в городе Таншань, в сотне миль к востоку от Пекина. Оно произошло в 3:42 ночи, за пару минут сравняв промышленный город с землей и лишив жизни более двухсот тысяч человек.

Приехав в Пекин, я обнаружил, что на привокзальной площади лежат сотни людей, в то время как с телекоммуникационной вышки на проспекте Чанъаньцзе как ни в чем не бывало передавали песню «Алеет восток». Здания в столице немного пострадали, но, в отличие от Таншаня, не были разрушены; людей нервировали небольшие толчки, последовавшие за основным, а также слухи о том, что грядет еще более сильное землетрясение, — поэтому все боялись находиться в помещении. Я провел ту ночь в парке Сунь Ятсена, у южных ворот Запретного города — примерно там, где в свое время правители империй Мин и Цин делали подношения богам земли и урожая. Вокруг прудов с лотосами шла крытая галерея с изображениями пейзажей и исторических сцен на потолках. В тот вечер люди вроде меня, которым некуда было податься, заняли все скамейки. Небольшие толчки продолжались всю ночь, некоторые в панике теряли равновесие и падали в пруд.

Несколько недель миллионы пекинцев, опасаясь, что в случае очередных толчков окажутся под руинами собственных домов, жили на улице. Я наконец воссоединился с семьей, это произошло

возле кучи щебня рядом с воротами Фучэнмэнь, где строили метро. С крыши нашего дома от толчков упал всего один кусочек черепицы, но все же родители с моим младшим братом теперь ютились в хибаре, сложенной из металлических прутьев и листов пластмассы. Все осложнялось тем, что это был разгар сезона дождей, так что чуть ли не каждый день лило как из ведра, гремел гром и сверкали молнии. Ай Дань почти не спал ночью, вычерпывая воду, собиравшуюся на крыше нашей хлипкой палатки. Примитивность такого жилья напомнила отцу о мрачных военных днях, когда Чунцин подвергался японским бомбардировкам. Большинство магазинов закрылись, и нам оставалось полагаться на временные центры гуманитарной помощи. Из горячей еды там были только пшеничные лепешки, паровые булочки и рис. Везде стояли длинные очереди. Вдоль дорог выросли хибары, так что оставалась узкая полоса, по которой протискивались автобусы и велосипеды.

Катастрофы проверяют людей на прочность, но самый глубокий тектонический разлом проходит по их сердцам, даже если внешне они кажутся образцом выдержки. Не имея доступа к надежному источнику новостей, мы не знали, сколько людей погибло в землетрясении, — точно так же, как тридцать два года спустя не было известно, сколько жизней унесло землетрясение в Вэньчуане. Но в случае второго бедствия я принял меры, чтобы выяснить скрываемые властями факты, несмотря на все связанные с этим опасности. В Китае достаточно просто пытаться понять, что происходит в твоей стране, чтобы оказаться на встречной полосе с законом.

После таншаньского землетрясения время на несколько недель замерло, будто мы ждали чего-то, хотя и не знали, чего именно. Мы просто сидели в своем убежище, одинаково безразличные к правде и неправде, и не чувствовали ни горя, ни гнева, не обнаруживая в себе ни любопытства, ни доброты.

Люди вокруг осторожно пересказывали друг другу вести о том, что такого-то реабилитировали, а такой-то вернулся в Пекин, и наши гости всегда с интересом обсуждали эти события. Но я совсем не разделял оживления, которое испытывали старшие, на долю которых выпало столько бедствий. Мое состояние можно было описать одним словом: «подвешенное». И подвешен был не только я, а вся эпоха: она качалась, шаталась в бесполезном, бесцельном, непонятном движении. Люди не знали, чем заняться; мы все ждали перемен. В этот необычный период все общество было подавлено, угнетено. Пекин был серым и тихим. Отец считал, что мне стоит поступить так, как все выпускники школ, — заняться физическим трудом в сельскохозяйственной коммуне.

Но я не мог представить себе возвращения под чей-либо полный контроль.

Одним душным днем после трех часов пополудни я с друзьями пытался охладиться, плавая в озере в парке Цзычжуюань (Сад пурпурного бамбука), к северо-западу от города, как вдруг мы услышали по громкоговорителю объявление о том, что сейчас будут транслировать важные новости. Мы все высунули головы из воды, чтобы послушать их. Вскоре раздались скорбные звуки похоронной музыки. Это было 9 сентября 1976 года, умер Мао Цзэдун.

Незадолго до смерти Мао скончались еще два ключевых руководителя — Чжоу Эньлай и Чжу Дэ, и теперь казалось, будто небеса упали на землю. К чувству печали примешивался страх за будущее и горечь за все, что нам пришлось пережить из-за Мао. Пришел конец не просто человеческой жизни, а самой концепции нашего общества. Смерть унесла погрязшую в пороке эпоху, оставив нам лишь жалкую привычку цепляться за жизнь.

За первые недели Хуа Гофэн, преемник Чжоу Эньлая на посту премьера, по научению нескольких ушедших в отставку генералов арестовал Цзян Цин и остальных членов «Банды четырех». Никто не ожидал столь быстрого развития событий, особенно с учетом того, что «еще не успело остыть тело председателя», как выразилась Цзян Цин. Она недооценила смелость людей, которые организовали переворот. По словам Хуа Гофэна, устранение «Банды четырех» было посмертным желанием Мао, и он не откладывая провозгласил окончание «культурной революции».

Примерно в то же время один поклонник творчества отца предложил ему занять маленький одноэтажный дом в центре города, неподалеку от места, где раньше жил Лу Синь. Домик был темным и сырым, а места в нем хватало только для одной двуспальной и одной односпальной кровати, но расположен он был удобно, и вскоре к нам устремился постоянный поток гостей — бывших «бычьеголовых демонов и змееподобных бесов», которые теперь смогли вернуться в столицу.

В этом оцепеневшем городе я чувствовал себя неприкаянным. Таких, как я, безработных выпускников были десятки тысяч, нас узнавали за версту, и ни у кого мы не вызывали уважения. В тогдашней плановой экономике трудоустраивало человека государство и других вариантов не существовало. Писатели и художники вроде моего отца оказались в подвешенном состоянии: их уже не преследовали, но на хорошую работу их все же не брали. Один из наших соседей, добросердечный старый профессор, часто приходил к отцу поболтать и убедил меня

учиться у него рисованию.

Каждый день я брал складной стул и мольберт и отправлялся в парк Сунь Ятсена рисовать цветы, или же сидел на станции и делал наброски с людей в зале ожидания, или шел в зоопарк изображать львов и слонов, или уезжал на велосипеде дальше, к дальнему холму Летнего дворца или развалинам Юаньминъюаня, и писал пейзажи. Почти каждый день я возвращался домой поздно. Я вкладывал душу в эти картины, но не вполне понимал зачем, так как, кроме меня и старого профессора, никто ими не интересовался. Хотя я и не стремился постичь красоту, живопись служила мне художественным языком, помогающим добиться ощущения покоя. Удовольствие от концентрации на живописи отвлекало меня от всего остального и приносило облегчение. Благодаря искусству я открывал новое для себя пространство, заброшенное и заросшее сорняками, среди диких безлюдных руин. Пусть даже это занятие было декадентским и эгоистичным, оно успокаивало меня и позволяло отвлечься.

Когда один преподаватель Центральной академии изящных искусств поехал на Шаньдунский полуостров, я увязался за ним, чтобы потренироваться рисовать с натуры. Пока наше рыболовное судно прыгало по волнам, я видел, как заходящее солнце окрашивает воду в кроваво-красный цвет, а кожа рыбака, красновато-коричневая, как ююба, под ярко-голубым небом приобретает пурпурный отлив. Технически мои наброски, наверное, были грубоваты, но делал я их очень уверенно. Просто я считал, что хочу заниматься живописью, и не имел ни малейшего желания подстраиваться под какой угодно стандарт: с самого начала я отказывался ограничивать себя устоявшимися приемами и привычными правилами. В конце семестра, когда преподаватель оценивал картины студентов, он ничего не стал говорить о моих работах, сочтя их слишком странными, чтобы подходить к ним с традиционной меркой.

В 1977 году Дэн Сяопин при поддержке ключевых фигур в Коммунистической партии вернулся и был восстановлен в прежних должностях. Продвигая идею, что единственный критерий истины — это практика, Дэн подвел теоретическую базу под дискредитацию многих идей Мао, таким образом ослабив позицию Хуа Гофэна и проложив себе путь к посту руководителя Китая, который и занял в 1978 году.

В течение этого переходного периода отец стал писать с новой энергией и надеждами. С начала «культурной революции» он не создал ни одного стихотворения, но теперь вставал около двух-трех часов утра и старался писать не менее трех-четырех

часов.

Учитывая непростой статус бывшего «крупного правого элемента», Ай Цин не мог себе позволить публиковать стихотворения, даже мало-мальски спорные, как не могли себе позволить этого и газеты. Соответственно, когда в шанхайской газете от 30 апреля 1978 года впервые за два десятилетия напечатали его произведение, тема была самой безопасной из возможных. Но китайским читателям Ай Цина это дало понять, что он все еще жив, несмотря на долгие годы молчания.

В Пекине мы до сих пор считались «черными домовладельцами» — то есть жили в городе без прописки. Ван Чжэнь, который теперь снова занимал высокий пост, лично утвердил реституцию дома, купленного Ай Цином в 1950-х годах, но выполнить это решение оказалось непросто, поскольку в нем уже поселились несколько семей, которые отказывались выезжать. Так что Союз писателей нашел отцу временное жилье в довольно просторном доме с шестью комнатами в переулке Шицзя. Отец тогда начал принимать иностранных гостей, и ему установили телефон, который в то время считался диковинкой.

В новых условиях у отца появилась возможность обустроить кабинет и писать каждый день. Теперь, когда политическая атмосфера стала более расслабленной, в конце августа в *Вэньхуэй бао* было опубликовано его стихотворение «Окаменелая рыба», описывающее положение многих интеллигентов в эпоху Мао, годами лишенных уважения, безопасности и доступа к необходимым для работы ресурсам.

Но ты безмолвствуешь,
ни вздоха.
И чешуя, и перья целы,
но не шевелятся:
Ты абсолют покоя,
не отвечаешь миру,
не видишь неба и воды,
не слышишь звука волн.

Когда интеллигенцию отправили в изгнание, сама жизнь этих людей оказалась под угрозой, и так легко было превратиться в «окаменелую рыбу». Но они не должны мириться с такой судьбой, заявлял Ай Цин:

Чтобы жить, надо бороться,
бороться и двигаться вперед.
Пока не подобралась смерть,

пусти все силы в дело[28].

Осенью 1978 года программа реформ Дэн Сяопина развивалась по нескольким фронтам. Отменили вердикт о контрреволюционном характере инцидента в апреле 1976 года на площади Тяньаньмэнь; решение Мао о начале «культурной революции» косвенно отвергли, и, что было важнее всего для Ай Цина, — партия объявила о реабилитации жертв кампании 1957 года по борьбе с «правыми элементами».

Двадцать пятого ноября на поэтическом вечере на пекинском Стадионе трудящихся, который потом транслировали по Центральному телевидению Китая, огромная толпа бурно аплодировала новому стихотворению Ай Цина, воспевающему протест на площади Тяньаньмэнь в апреле 1976 года и устранение «Банды четырех». В последних строфах Ай Цин выразил потребность в восстановлении справедливости, которую многие испытывали:

> Все меры должны быть приняты,
> все невиновные — оправданы,
> И даже спящим вечным сном
> отомщена поруганная честь!

Он закончил словами поддержки линии реформ:

> Расчистим все преграды —
> феодализм, фашизм,
> порочность, предрассудки —
> и выкроим опору
> для «Четырех модернизаций»[29].

«Четыре модернизации» (в промышленности, сельском хозяйстве, обороне и науке) стали приоритетными направлениями государственной политики, впервые

сформулированными Чжоу Эньлаем и теперь занявшими центральное место в повестке нового руководства.

Оттепель продолжалась, положение отца укреплялось, да и сам он начал смотреть на жизнь оптимистичнее. В декабре 1978 года в предисловии к антологии своей поэзии он выразил уверенность в будущем: «Моя жизнь пришлась на переломную, многоцветную эпоху. Как и другие люди моего поколения, я прошел через самые разные сражения и встретил самых разных врагов на фоне постоянно меняющихся условий. Теперь течение времени привело меня в новую гавань, залитую солнечным светом, и под долгий гудок корабля в моей жизни начинается новое путешествие».

Он стал смелее критиковать культурную политику эпохи Мао и ратовать за расширение творческих свобод. Двенадцатого января 1979 года на форуме писателей и художников он заявил: «Если есть свобода критиковать, но нет свободы обсуждать, кто же тогда захочет творить?» Пять дней спустя на форуме, организованном при поддержке поэтического журнала *Шикань*, он высказал похожую мысль: «Без политической демократии невозможно говорить о творческой демократии. Нельзя ожидать, что демократию нам преподнесут на блюдечке, — ее можно добыть лишь в борьбе». Почему же столько лет люди не высказывались честно? Потому, говорил он, что правда была обидной для власти и могла повлечь за собой жестокое наказание, а это разрушило бы жизнь и самого человека, и его семьи. Отныне поэты должны говорить правду, затрагивать проблемы, задавать вопрос «почему?»

Портрет Гао Ин. Набросок Ай Цина, 1978 год

Наконец в марте 1979 года отец получил долгожданные вести: с него официально сняли обвинение в правых взглядах. Его полностью реабилитировали, восстановив членство в партии, политический статус и размер оплаты труда. Членов семьи, детей и друзей, пострадавших из-за контактов с ним, также должны были теперь избавить от неблагоприятных последствий.

Вскоре на прогулке в парке Сяншань он случайно встретил Чжоу Яна, которого незадолго до этого выпустили из тюрьмы Циньчэн. Бывший жрец культуры теперь подошел к нему извиниться: «Товарищ Ай Цин, мы допустили ошибку в вашем случае».

Легко сказать: «Мы допустили ошибку». Ведь очень многие люди, в отношении которых были допущены ошибки, не выжили. Отец потом так отзывался о своей реабилитации: «Не так просто собрать воспоминания, разбросанные по морскому дну. Многие из них разъела соленая вода, и они утратили блеск. Я столько лет был оторван от мира».

Но Ай Цин постарался наверстать упущенное. С августа 1979 года по август 1982-го он опубликовал более ста стихотворений, много путешествовал и по Китаю, и по другим странам и получил широкое признание. В мае 1979 года он отправился в тур по

Западной Германии, Австрии и Италии — это было его первое зарубежное путешествие с 1954 года. Когда его пригласили прочесть стихотворение на мероприятии в Мюнхене, он с широкой улыбкой вытащил из кармана несколько листов бумаги и протянул переводчику. Это было стихотворение о Берлинской стене:

Стена
словно нож
разрезала город на две половины.
Половина — восток,
Половина — запад.
Сколь высока стена?
Насколько толста?
Насколько длинна?
Сколь ни была бы она высока, толста и длинна,
Ей не сравниться
с Великой китайской стеной.
Она тоже — след прошлого,
рана народа.
Никто не в восторге от эдаких стен.
Три метра наверх — это, считай, ничего.
Пятьдесят сантиметров в разрезе — это, считай, ничего.
Сорок пять километров в длину — это, считай, ничего.
Будь она в тыщу раз выше,
в тыщу раз толще,
в тыщу — длиннее,
Разве стена эта может закрыть
облака, ветер, дождь или солнце на небе?
Как она может закрыть
крылья птиц или трель соловья?
Как она может закрыть
вод теченье и воздух?
Как она может закрыть
мысли, свободнее ветра,
десяти миллионов людей?
Или их волю — мощнее земли?
Или надежду — бесконечней, чем самое время?[30]

Стена, 1979 год

Через десять лет один молодой человек прочитает это стихотворение вслух у подножия Берлинской стены в день ее

падения.

«Честно говоря, — писал мой отец в 1983 году, — прожив столько лет в нестабильности и тревоге, теперь я чувствую себя совершенно спокойно. Многие люди моложе меня уже умерли, а я все еще жив. Умри я семь или восемь лет назад, это значило бы меньше, чем смерть собаки. С момента публикации „Собрания“ в 1932 году прошло полвека. Моя писательская карьера шла через длинный, сырой и темный тоннель, и зачастую я не был уверен, что выберусь оттуда живым, но теперь я по крайней мере достиг его другого конца».

Этот «другой конец тоннеля» стал окончанием его личных страданий, но далеко не концом режима, который вызвал эти страдания, а будущее было более туманным, чем когда-либо. По возвращении из Синьцзяна в Пекин жизнь отца изменилась, да и моя тоже. Воспоминания не давали мне приобщиться к новым реалиям Китая, и в конце концов я почувствовал, как когда-то и отец, что мне остается только уехать из страны.

Глава 10. Демократия или диктатура?

В августе 1978 года меня приняли на курс анимации художественного отделения Пекинской киноакадемии. Эпоха маоизма постепенно уходила в прошлое, а с ней уходили и слепое подчинение, и культ личности. Казалось, перевернута новая страница истории, и люди испытывают радостное волнение. В материальной и духовной жизни Китая многое было разрушено, но все эти разрушения, казалось, открывают дорогу всему новому — новым вещам, новым идеям и новым людям, которые смогут восполнить утраты, и первокурсники радовались, что им повезло жить в эпоху реформ. Пусть наши родители все еще были в опале, а старшие братья и сестры пахали землю в какой-нибудь далекой провинции, но перед нами уж точно открывалось светлое будущее.

Вскоре я понял, что постмаоистские порядки мне подходят ничуть не больше, чем маоистские — те, что формировали, а скорее, деформировали мое детство. Я испытывал отвращение ко всем нормам и предрассудкам, которые остальным не приходило в голову ставить под вопрос, и это держало меня практически в постоянном напряжении. Многие мои однокурсники были из привилегированных, приближенных к власти семей, и их высокомерные манеры усиливали мое чувство, что я чужой среди них.

В ноябре 1978 года на кирпичной стене возле стройплощадки рядом с перекрестком Сидань, что в центре Пекина, появился написанный крупными буквами плакат-*дацзыбао*, автор которого назвал себя просто Механик № 0538. Плакат поразил людей своей смелостью, поскольку она простиралась дальше привычных обвинений «Банды четырех», и критика была обращена лично на Мао Цзэдуна. В следующие четыре месяца этот отрезок стены в 10 футов высотой и 260 футов длиной (3 × 79 м) стал площадкой для выражения настроений зарождающегося движения, осуждающего единовластие, требующего реформ и отстаивающего демократию и свободу слова.

Одним из самых ярких представителей движения был Вэй Цзиншэн, двадцатидевятилетний электрик, ставший идеологом перемен и писателем. Его плакат «Пятая модернизация: демократия», появившийся на стене 5 декабря 1978 года, представлял собой острую критику политики, которую Коммунистическая партия проводила с 1949 года, и

категорически отвергал взгляды нынешнего партийного руководства, которые Вэй описывал так: «Возьмите „Четыре модернизации“ в качестве руководящего принципа, идите вперед уверенно и слаженно, храбро служите революции, как верный старый бык, и тогда вы достигнете рая — процветания коммунизма и „Четырех модернизаций“». Вэй Цзиншэн предлагал радикальную альтернативу этому консервативному социалистическому сценарию: «Если мы хотим модернизировать экономику, науку, армию и прочие сферы, — утверждал он, — мы в первую очередь должны модернизировать народ и общество… Наши единственные цели в осуществлении модернизации — демократия, свобода и счастье народа. Без этой „Пятой модернизации“ все остальные будут лишь очередным пустым обещанием». Вэй Цзиншэн облек в слова многие мысли, которые вертелись и у меня в голове.

В конце января 1979 года Дэн Сяопин прилетел с девятидневным визитом в США — это был первый случай, когда на американскую землю ступила нога высшего руководителя Коммунистической партии. Джимми Картер устроил вечер и концерт в вашингтонском Центре имени Кеннеди, который завершило выступление двухсот младших школьников, исполнивших на китайском языке песню «Я люблю пекинскую площадь Тяньаньмэнь». Дэн Сяопин был растроган. Он даже удивил китайских телезрителей тем, что обнял Джимми Картера перед камерами.

Но в Китае в газете *Бэйцзин жибао* от 22 марта вышла статья под заголовком «„Права человека“ — непролетарский лозунг», что стало зловещим предзнаменованием надвигающегося закручивания гаек. Невзирая на риски, три дня спустя Вэй Цзиншэн опубликовал в подпольном журнале дерзкое эссе «Хотим ли мы демократии или новой диктатуры?» Вэй понимал, куда все движется — не к истинным политическим переменам, а к продолжению идеологического надзора и ущемления свободы слова. В эссе он настаивал, что ни один политический деятель не заслуживает безусловного доверия, и обвинял самого Дэн Сяопина в диктаторских наклонностях. Через четыре дня после публикации Вэй посреди ночи был арестован полицейскими. Другим активистам заткнули рты, и период брожения умов резко оборвался.

После реабилитации отец чувствовал себя более востребованным, а я двигался в противоположном направлении и все больше разочаровывался. Высшее образование со всеми его претенциозными внешними атрибутами стало казаться мне фальшивкой. Я чувствовал, что в моих венах течет дикая кровь:

она брала начало в бесконечной пустыне, в белых соляных степях, в кромешной тьме землянки и долгих, унизительных годах беспомощности. Мои воспоминания тянули меня обратно туда, куда я совсем не хотел. Бессмысленно было теперь ожидать от меня традиционных изысканий в области контуров и цветов в изобразительном искусстве или того, что я увлекусь сюжетами и персонажами кино.

Однажды вечером по пути домой из Киноакадемии я в тусклом свете фонаря вдруг увидел свою одноклассницу из Шихэцзы, Чжоу Линь, которая, как всегда, была одета неброско и с большим вкусом. Ее приняли в Пекинский педагогический институт, но, как и я, она чувствовала себя неуютно в новом окружении.

Меня восхищали способности Чжоу Линь: она почти не ходила на лекции, но за два дня перед экзаменом умудрялась освоить весь материал и получить хорошую оценку. В конце 1970-х годов, когда большинство студентов были робкими и покорными, это было редкое проявление индивидуализма.

Мы оба приехали из маленьких городов на северо-западе страны и не любили учебу, я бы даже сказал — ненавидели. Я узнал, что Чжоу Линь разделяет мое отношение к формальному образованию, когда она сказала, что однажды подумывала выпрыгнуть из окна школы. Когда я был с ней, не требовалось распространяться на тему, что сделало наше детство безрадостным, или объяснять, что мы имели в виду, говоря о беспринципности и лицемерии. Общие несчастливые воспоминания подпитывали наше неприятие всего вокруг, а отвержение действительности все больше сближало.

Мы с Чжоу Линь встречались каждые выходные. Она жила в общежитии в одной комнате с пятью девушками, и, вместо того, чтобы валяться под противомоскитной сеткой, мы до темноты гуляли по пшеничным полям на окраине города. Дороги были пустыми, лишь иногда проезжал какой-нибудь автобус; казалось, все вокруг замерло. Пройдет немного времени, и городской пейзаж станет совсем другим, да и мы сами вскоре стремительно изменимся.

Единственное, что мне нравилось в Киноакадемии, — это возможность каждую неделю смотреть по два иностранных фильма. Тогда это считалось привилегией, так как во время «культурной революции» зарубежное кино можно было смотреть только людям вроде Цзян Цин. Нам, студентам, выдавали только по одному билету, так что я взял себе за правило подделывать второй. Чтобы предотвратить подделку билетов, их каждый раз печатали на бумаге разных цветов, но я рыскал повсюду, чтобы

найти такую же. Для меня не так важно было посмотреть фильм, как придумать способ провести в кинозал Чжоу Линь. Навыки рисовальщика позволяли мне копировать настоящий билет настолько точно, что никто не мог отличить оригинал от подделки. Впрочем, билетер на входе всегда был начеку, однажды, после долгого изучения моих билетов, он объявил подделкой подлинник.

Во время «культурной революции» иностранная культура была под запретом, и теперь было очень непривычно сидеть в темноте и смотреть европейское или американское кино, пока синхронист переводил фразы, которые произносились с экрана. Там, в зале Киноакадемии, я испытывал даже бóльшую неловкость, чем когда несколько лет спустя пошел смотреть порнофильм в Филадельфии. Особенно поразил меня Феллини, потому что странные, местами пронзительные сцены его фильмов напоминали мне собственный жизненный опыт.

В то время две тетки Чжоу Линь, жившие в Америке, после долгого перерыва вышли на связь с семьей и впервые с 1949 года приехали в Пекин. Уезжая, они спросили Чжоу Линь, что ей прислать, и она сразу же ответила: книги по мировому искусству. Так я смог познакомиться с множеством репродукций работ художников со всего мира. Позже, уже живя в Нью-Йорке, я часто переезжал с места на место, но никогда не расставался с этой коллекцией альбомов — легче было бы выбросить собственные фотографии.

Отец Чжоу Линь был хирургом-ортопедом, который обычно стоял за операционным столом по десять часов без перерыва, ее мать преподавала английский язык, а сестры и братья матери в юном возрасте переехали в Америку. Только родители Чжоу Линь остались в Китае и влились в революционные ряды: они отправились в Синьцзян, чтобы развивать приграничные территории.

Она никогда не говорила об этом, но я знал, как Чжоу Линь предана матери, которую в самом начале «культурной революции» арестовали хунвэйбины, и она так и не вернулась. Ее нашли повешенной в женском туалете, со следами жестоких побоев. Причина враждебного отношения к ней была проста: она слишком хорошо говорила по-английски.

Чжоу Линь очень хотела учиться в Америке, и ее родственники были только рады посодействовать. Мне было ясно, что если она уедет, то уже не вернется. Ни я, ни она никогда не скрывали неприязни к обществу, в котором жили. Она уехала в Америку быстрее, чем я думал, и хотя я был расстроен ее

отъездом, все же радовался за нее — я чувствовал, будто это часть меня вырвалась на свободу.

Она поступила в Питтсбургский университет, и вскоре я получил письмо с фотографией, где она стояла на фоне одной из картин Ван Гога с подсолнухами. Когда мы были вместе, она часто говорила, что я лучший из известных ей художников. Смелое заявление, учитывая, как мало я успел сделать, и она произносила это с нарочито серьезным лицом, как это бывает, когда человек говорит неправду; но она действительно так считала. Как бы то ни было, ее однокашники ей верили безоговорочно, не имея причин усомниться в ее правоте: в их понимании искусство — это не более чем набор пропагандистских плакатов.

В конце сентября 1979 года мы, студенты-аниматоры, проходили стажировку на Шанхайской киностудии художественных фильмов, когда от пекинского друга пришла радостная весть. Около двадцати пекинских художников осмелились устроить несанкционированную выставку своих работ в очень заметном месте: более ста пятидесяти картин маслом и тушью, рисунков, ксилографий и резных изделий из дерева были развешаны на стальной ограде Музея изобразительных искусств Китая. Они назвали это «Выставкой Звезд» (Stars Art Exhibition). На следующий день Управление общественной безопасности направило туда отряд полицейских, чтобы снять все экспонаты на основании отсутствия официального разрешения.

Набросок Шанхая, 1979 год

Через несколько дней, утром 1 октября, запрещенные художники устроили марш протеста на проспекте Чанъаньцзе. Требуя свободы творческого самовыражения, они произносили страстные речи, которые привлекли сотни слушателей. Вернувшись в Пекин, я узнал, что власти сдались и разрешили «Звездам» выставить работы в Павильоне расписных лодок

(*Хуафанчжай*) в парке Бэйхай, и меня пригласили поучаствовать. В последний день работы выставки было продано целых восемь тысяч билетов. На следующий год прошла еще одна выставка «Звезд», на этот раз уже в Музее изобразительных искусств Китая — отчасти благодаря другу моего отца Цзян Фэну, который теперь был председателем Союза художников Китая. «Мы уже не дети, — говорилось в материалах к выставке. — Нам нужно общаться с миром на новом, более зрелом языке». Толпы тут были еще плотнее.

Лес, 1977 год.

Иллюстрация использована для обложки книги

«Избранные стихотворения Ай Цина»

Хотя деятельность группы «Звезд» и показала, что стремление к переменам в искусстве иногда может увенчаться успехом, правительство не допускало ни малейших признаков политического инакомыслия. Шестнадцатого октября 1979 года Вэй Цзиншэна привлекли к суду, а после слушания дела, которое

продолжалось всего один день, его приговорили к пятнадцати годам тюрьмы по сфабрикованному обвинению в раскрытии военной тайны, сочинении реакционных эссе и контрреволюционной агитации. Необычайная строгость приговора оказала на меня огромное воздействие, продемонстрировав весь цинизм и жестокость китайского государства и фундаментальное неприятие Коммунистической партией свободы самовыражения. Суд над Вэй Цзиншэном положил конец краткой оттепели, пока «Стена демократии» оставалась полем политических дебатов, но теперь перспективы открывались нерадостные. Я поклялся, что уеду, как только представится возможность.

Глава 11. «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

В 1981 году я подал заявку на обучение за границей с самостоятельным финансированием. В те времена о таком и не слыхивали, и в Киноакадемии мне сразу отказали. В ответ я пригрозил, что брошу учебу. Тогда они обратились в Министерство культуры за советом, и там одобрили мою заявку с условием, что перед отъездом Киноакадемия проведет для меня курс «патриотической подготовки» и «обучит хранить тайны».

В глазах многих желание учиться в Америке приравнивалось к государственной измене. Начиная с 1949 года для китайца было практически невозможно отправиться на учебу за границу, если ее не спонсировало государство. Китай находился в изоляции от стран Запада более тридцати лет, а от советского блока — более двадцати. Теперь, когда отношения с США и Европой возобновились, я был в числе первых студентов, которые поехали за рубеж за свой счет.

Получить паспорт было непросто. Сначала требовалось обзавестись разрешением с места работы и отнести его в Бюро общественной безопасности вместе с заявлением, которое рассматривали еще пристальнее, чем мои фальшивые билеты в кино.

Получить паспорт было сложно, но визу — еще сложнее. Только имея визу, можно было пойти в местное отделение полиции, чтобы отменить прописку по месту жительства и удостоверение личности, после чего надлежало вернуться в Управление общественной безопасности и забрать разрешение на выезд — без него нельзя купить билет на самолет за рубеж.

Сотрудник визового отделения американского посольства, высокий афроамериканец, бегло изъяснялся на нормативном китайском. Когда он узнал, что я изучаю анимацию, он сказал, что мне обязательно нужно посетить «Диснейленд». А затем выдал визу.

В 1981 году в Китае было ограниченное количество валюты, и перевести китайские наличные в доллары в Пекине можно было только в одном месте: в центральном отделении Банка Китая в районе Ванфуцзин. Я предъявил паспорт, пояснив, что доллары нужны на оплату автобуса от Нью-Йорка до Филадельфии (Чжоу Линь уже перевелась в Пенсильванский университет). Банковский служащий вытащил карту США, тщательно отмерил расстояние между двумя городами и, исходя из этого, выдал мне 30 долларов наличными. Когда я вышел из банка, то увидел снаружи крестьян с велосипедами, к багажникам которых были привязаны древние

фарфоровые вазы, и иностранцев, которые изучали их товары и торговались. Эта сцена запомнилась надолго.

Я никак не мог дождаться момента отъезда. Мать провожала меня в путь 11 февраля 1981 года. Когда мы ехали в аэропорт, я пытался успокоить ее, беззаботно уверяя, что сейчас «еду домой», и обещая, что через десять лет ее сына будут считать вторым Пикассо.

Я ехал в Америку не ради западного образа жизни — скорее, я просто не мог больше выносить жизнь в Пекине. Незадолго до моего отъезда отец с многозначительным видом сказал, что в его времена из тех, кто уезжал учиться за границу, практически никто не оставался там по окончании учебы. «Времена изменились», — сказал я себе.

В последние минуты полета самолет кружил над Нью-Йорком, готовясь к посадке в аэропорту имени Джона Кеннеди. Я смотрел вниз на невероятный бурлящий мегаполис, где, как расплавленная сталь, текли потоки машин, и все, чему меня так усердно многие годы учили на родине, улетучилось, как дым.

Пока я ехал в Филадельфию, начался снегопад, а когда вышел из автобуса, то увидел стоящую в снегу Чжоу Линь. Мы снова были вместе, на другом краю света. Мы жили на втором этаже таунхауса, неподалеку от Пенсильванского университета.

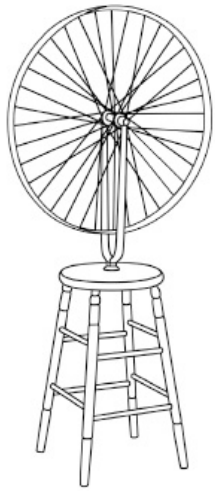
Для начала я планировал подтянуть свой английский, а потом отправиться в Нью-Йорк изучать искусство. По совету Чжоу Линь я принялся ходить по улицам и звонить в двери, не успев даже оправиться от смены часовых поясов. Если кто-то открывал, я со словарем в руках сбивчиво представлялся студентом из Китая и спрашивал, не найдется ли для меня работы. «Я могу делать что угодно», — говорил я. Вскоре мне повезло: одна женщина поспешила к двери и при виде иностранца на пороге на мгновение разинула рот, а потом просияла, как миссис Никсон в момент знакомства с пандами в Пекинском зоопарке.

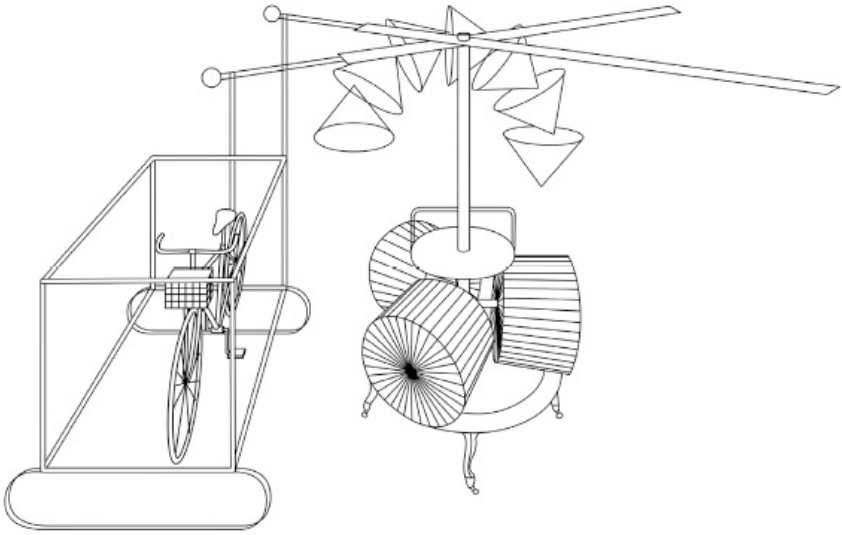
Работа по уборке дома и заднего двора этой женщины мне отлично подошла, поскольку не требовала навыков общения, а выполнять ее я мог быстро и эффективно. Правда, сложно было разобраться с широким ассортиментом чистящих средств, каждое из которых имело определенное назначение и способ применения. Это была моя первая оплачиваемая работа, и за день я зарабатывал больше, чем получил бы в Пекине за несколько месяцев. Если у хозяйки дома не было мелочи, она просто округляла сумму, и такого рода чаевых мне хватало на целую упаковку мороженого. Закончив работу, я оставлял ключ под ковриком у двери и уходил.

Я записался на уроки английского, где занимались ученики со всех концов света, говорившие на самых разных языках. Нас объединяла жажда новой жизни, но одежда и речь выдавали наши бессистемные попытки культурной адаптации. Однажды утром в начале марта наша высокая стройная преподавательница вошла в класс своей обычной стремительной походкой и произнесла специально медленно, чтобы мы могли разобрать: «В президента Рейгана стреляли». Сначала показалось, будто это какой-то американский прикол, но, действительно, Рейгана пытались застрелить после всего лишь трех месяцев на посту президента. Американское помешательство на огнестрельном оружии расширило мои представления о правосудии: в Китае я рос с убеждением, что ружья имеют только солдаты.

В свободное время я отправлялся в Филадельфийский музей изящных искусств, где было тихо, как в церкви, разве что иногда несколько элегантно одетых дам прохаживались возле экспонатов. Когда мы жили в Синьцзяне, отец хранил подальше от детских глаз альбом с изображениями скульптур Родена, и каждый раз, когда мне удавалось взглянуть на них, мое лицо заливалось краской, а сердце бешено колотилось. Теперь, когда я стоял перед «Поцелуем», белая мраморная плоть любовников была твердой и холодной, без того загадочного сияния, которое когда-то мне виделось в этой скульптуре.

В одной из галерей на деревянном табурете было закреплено велосипедное колесо; две большие стеклянные панели, одна над другой, обе в трещинах и сколах, предлагали зрителю задуматься о связи между «Территорией невесты» сверху и «Машиной холостяков» снизу. Работа Étant donnés («Дано»), которую художник тайно собирал в течение двадцати лет, предлагала заглянуть в дырочку в старой деревянной двери, чтобы увидеть обнаженную женщину, лежащую с раздвинутыми ногами на снопах соломы с маленькой масляной лампой в вытянутой руке (такие лампы мне были хорошо знакомы). Я был настолько поглощен созерцанием этих произведений, что не запомнил имени художника, и пройдет немало времени, прежде чем я пойму, насколько важную роль ему предстоит сыграть в моей жизни.





Эскизы «Велосипедного колеса» и «Мельницы для шоколада» Марселя Дюшана с «Велосипедом» Ай Вэйвэя

Рисунок по мотивам работы Марселя Дюшана Étant donnés

Вскоре Чжоу Линь перевелась в Беркли, чтобы изучать программирование, и я переехал за ней следом. На западном побережье царила расслабленная атмосфера, солнце настраивало всех на беззаботный лад. На северной границе университетского городка стояло здание бывшего женского студенческого клуба, которое теперь занимало общежитие под названием «Пакс хаус», где проживало порядка двадцати студентов. Я устроился туда уборщиком, и мое жалованье покрывало аренду комнатушки в мансарде. Каждую неделю, помимо мытья посуды, я должен был приносить продукты из супермаркета и класть их в холодильник, который был выше меня. Часто бывало, что, когда я в следующий раз открывал холодильник, там уже ничего не оставалось, как будто продукты испарялись волшебным образом.

Чжоу Линь справлялась с огромной учебной нагрузкой с точностью туго заведенных часов, а в свободное время ездила на велосипеде помогать одинокому старику. Я зарабатывал различными мелкими поручениями, уборкой дворов и ремонтом домашних приборов. Кое-как прожив таким образом год, я

почувствовал, что, если задержусь в Беркли, мой мозг на этом постоянном солнце совсем заклинит. К счастью, меня приняли в Школу дизайна Парсонса со стипендией. Чжоу Линь радовалась за меня, но было очевидно, что наши пути расходятся, подобно тому, как созревший фрукт падает с ветки, когда приходит время.

В день отъезда я нашел у себя на столе открытку: «Однажды я увижу твое имя в газете». На ней стояла подпись одной из студенток общежития — сумасшедшей девчонки, футбольной фанатки. Кажется, она разглядела во мне то, чего другие не замечали.

Я добрался до Нью-Йорка к Рождеству. Стоя на углу 14-й улицы, лицом к Юнион-сквер, я уже чувствовал себя частью этого волшебного города.

Я всегда завидовал тому, как прекрасно мой отец владел языком: даже в молодости это позволяло ему уверенно прокладывать свой путь. Теперь я сожалел только о том, что не умел так использовать силу слова, не смог увлечься писательством и найти в нем утешение в тяжелых обстоятельствах. Пожалуй, поэтому мой путь был проще и продуктивнее, и я не позволял времени утекать сквозь пальцы в сумбуре сомнений.

В Школе дизайна живопись нам преподавал ирландский художник Шон Скалли. На первом занятии я положил на пол большой лист рисовой бумаги (размером с двуспальную кровать) и без труда китайской кистью для каллиграфии нанес на нее контур человеческого тела. Уверенность и ловкость моих движений привлекли внимание остальных студентов, и они встали вокруг, чтобы понаблюдать. Я был полностью поглощен работой и только окончив ее, заметил, что Шон стоит прямо у меня за спиной. Он холодно сказал, что в жизни не видел ничего хуже.

В картинах Шона читался контроль над внутренними переживаниями, и он любил переписывать и распространять казавшиеся ему важными тексты — зачастую это были хаотичные отрывки стихотворений и поверхностные эпиграммы. Один из примеров, которые я запомнил, — четверостишие поэта эпохи Тан Ван Вэя: «В великой степи мой дымок сиротливый один к небесам идет; / Я вижу лишь длинной реки переливы, лишь солнца пустынный заход»[31]. Шон привел эту цитату в качестве иллюстрации того, что издали горы не похожи на горы, а река не похожа на реку, или что-то в этом духе. В отличие от китайской системы образования, его стиль преподавания предполагал свободный обмен мнениями: мы слушали комментарии Шона к работам студентов и разбирали живопись друг друга. В ответ на

чью-либо пренебрежительную оценку другой студент мог обидеться, и временами атмосфера накалялась.

Рисунки фигур, 1982 год

В день визита в студию Шона в районе Трайбека мы были похожи на стайку потерявшихся птенцов, случайно залетевших в чужое гнездо. По деревянному полу были беспорядочно разбросаны кисти и тюбики краски, будто пронесся ураган, а к стенам были прислонены большие картины маслом Шона, которые впоследствии признают классикой. Искусствовед Артур Данто позже опишет его как «творца, чье имя входит в самый краткий список важнейших художников нашего времени». Шон всегда сжимал в кулаке стакан с виски — на уровне груди, будто он боксер, который собирается сделать хук. Исключительность его работ состояла в широких мазках и богатой палитре, но мы, новички, смотрели только на интенсивность колорита и упускали

из вида главные эстетические особенности его картин.

В следующий раз я увижу Шона лишь через тридцать лет. Почему-то я никогда не думал, что он может приехать в Китай, но однажды он приятно удивил меня визитом в мою пекинскую студию. Он прогулялся по ней и объявил, что она ничем не уступает его студии в Германии.

Школа Парсонса напоминала дорогой детский сад, где группу шаловливых детей чопорно пытаются уговорить вести себя прилично. Но проведенное там время было важно для меня. Я чувствовал, будто стою на берегу искусства и могу широко охватить взглядом все, что расстилается передо мной, а в голове крутится куча идей. Я начал искать интересные концепции и формы их выражения.

Стоило мне немного привыкнуть к учебному заведению, как пришлось его оставить из-за провала на итоговом экзамене по истории искусств. В тот день лекционный зал был набит студентами до отказа. Я пробежал глазами вопросы, а потом поставил подпись в правом верхнем углу экзаменационного листа и вышел прочь. Уже снаружи, стоя на Вашингтон-сквер, я понял, что не знаю, куда хочу пойти. Небо было высоким, с редкими облаками. От этой прекрасной погоды я чувствовал себя потерянным. В Нью-Йорке такой же климат, как в Пекине, — хотя эти города и разделяет большое расстояние, они находятся на одной широте.

Я сдал пустой лист не потому, что с пренебрежением относился к самой истории искусств или находил неинтересными детали жизни Пикассо и его любовниц. Просто я не мог определиться, я не знал, что мне нравится. Я сожалею, что не имел возможности толком объяснить преподавателю свои действия. Она сочла, что я не приложил никаких усилий, а если бы она так не думала, то позволила бы мне продолжить учебу, так как была терпеливым и преданным своему делу педагогом. Но я чувствовал, что недостаточно хорошо владею английским, чтобы высказать свои мысли по экзаменационным вопросам, и проще всего было сдать пустой лист. Ценой такого решения была потеря стипендии.

Уйдя из Школы Парсонса, я переехал в Вильямсбург, что в Бруклине, где тогда жило много евреев и латиноамериканцев. Но вскоре пришлось переезжать опять, так что однажды я оказался в манхэттенском районе Алфабет-Сити, на углу Восточной 3-й улицы и авеню А в ожидании ключа от квартиры. Здесь не было ни суеты, ни суматохи других районов — темно и мрачно, как на съемочной площадке фильма о послевоенной Восточной Европе. Когда старенькая миниатюрная хозяйка наконец появилась, она

посмотрела на меня снизу вверх и быстро проговорила что-то на идише. Это была студия с ванной комнатой. В кухоньке стоял маленький холодильник, а с плиты меня поприветствовал одинокий таракан. Снаружи не переставая шел мелкий дождь, и какие-то люди без зонтов ошивались возле входа в здание и явно не собирались уходить. Наркоторговцы или наркоманы, которым везде одинаково хорошо.

Вся моя обстановка состояла из диван-кровати да старой зеленой скамьи, которую я притащил из парка. Я подобрал оставленный кем-то на тротуаре телевизор и после переезда в эту комнату никогда его не выключал. Некоторое время мое внимание было приковано к слушаниям по делу «Иран-контрас» — я был ошеломлен скандалами, которые кипели под поверхностью демократического процесса.

Чувство дома одинаково важно как для богатых, так и для бедных, и я чувствовал себя своим среди грязи, бардака и упадка Нижнего Манхэттена. Думаю, окажись я в квартире на Парк-авеню, сразу бы умер от тоски. Я перенимал опыт у старожилов Нью-Йорка, таких практичных и бдительных. В метро я старался ни с кем не встречаться взглядом, а когда шел по улице, то никогда не замедлялся, как механическое устройство, которое трудно будет завести заново, если оно остановится. Я запирал дверь за замок, как только входил домой, и никогда не открывал, если в нее звонили. Иногда у меня бывали подработки, но в остальное время у меня не было четкого расписания, и я мог делать что угодно. Надев зеленую солдатскую форму или армейский ватник, я бродил по улицам, когда моей душе было угодно.

Пусть жители моего района порой походили на вампиров с безумными глазами, я все же нервничал, когда приходилось покидать его пределы. Я записался на курс Лиги студентов-художников Нью-Йорка на Западной 57-й улице, но, если бы мне не требовался формальный статус для продления визы, я бы предпочел не бывать в той части Манхэттена. У этой школы была долгая и славная история и, что наиболее важно, — гибкая система оплаты, то есть деньги можно было вносить частями по ходу учебы, а не за весь год вперед. В сравнении со Школой Парсонса эта выглядела убого, что не помешало ей, однако, воспитать нескольких выдающихся художников.

Моему преподавателю Ричарду Пузетт-Дарту, весьма многогранному художнику, было тогда лет под семьдесят. Никому бы и в голову не пришло, что в свое время он принадлежал кругу Джексона Поллока, но он все еще оставался активным членом этого легендарного поколения нью-йоркских

художников, и одна из его ранних картин висела в Метрополитен-музее. Возможность соприкоснуться с живой частью истории заряжала меня энергией. Пузетт-Дарт всегда поощрял меня продолжать делать то, что делаю. Но я знал, что живопись — это не мое. Я был там просто потому, что не нашел чего-то более подходящего.

Иногда я болтался по галереям, и, как бы меня ни озадачивали выставленные там работы, я приучился не делать поспешных выводов и отдавать им должное — так я прививал себе терпение и культуру. А бывало и так, что моя голова была полна праздных дум, и я не знал, чем себя занять, так что выходил из дома без особой цели и просто шел куда глаза глядят.

Я устроился работать в ночную смену в типографии на углу Западной 13-й улицы и 10-й авеню. Здесь, в районе Митпэкинг, бойни и мясные производства уже стали закрываться, но запах крови все еще витал в воздухе. Использованные деревянные палеты стопкой складывали на тротуаре, и зимой бездомные собирали их, бросали в старые металлические бочки и поджигали. Они стояли вокруг костров, пили и болтали, а огонь подсвечивал их лица красным. По пути на работу я в вечерних сумерках проходил мимо с неизменной коробкой пончиков в руке, которые жевал с нескрываемым удовольствием.

Глазея на книги на нижнем этаже книжного магазина Strand на Бродвее, я однажды нашел в самом дальнем углу книгу под названием «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)»[32] с подписью самого Энди на форзаце. Эта книга стала первой, которую я прочел на английском от корки до корки; ее лаконичный язык очень напоминает сегодняшние посты в Twitter. И мой восторг от книги отчасти объяснялся удовольствием от чтения, а отчасти воображаемой мной картиной радости, которую испытаю в один прекрасный день, когда постигну ее суть. Моя привязанность к этой книге была сродни неразлучности кенийца с палкой, который не выпускает ее из рук ни во время ходьбы, ни во время танца. Я купил несколько экземпляров одного и того же издания с одинаковой обложкой, и чтение книги уподоблялось религиозному обряду, особенно если учесть, что я не все понимал. Если бы я смог понять ее полностью, усвоенные знания сразу же наверняка испарились бы.

Со временем меня выгнали и из Лиги студентов-художников, в результате я потерял статус студента и, как каждый седьмой житель Нью-Йорка, стал нелегалом. Сначала это потрясло меня, но вскоре я стал смотреть на вещи спокойнее, так как знал, что нечто подобное должно было случиться, учитывая мою упорную склонность пускать все на самотек. Я принял свои трудности как

цену свободы или даже знак этой свободы, и, пока у меня в холодильнике была пачка молока, чувствовал себя в безопасности.

Для меня, словно для муравья на большом дереве, не стоял вопрос выживания, а Нью-Йорк был не просто большим деревом, это был целый лес, который тянулся, сколько хватало взгляда. Я мог исчезнуть в этом городе, никем не узнанный и не замеченный, и любил я его именно за это. В те времена свобода для меня означала просто отсутствие переживаний и ответственности. Когда весь мир о тебе забыл, легко быть беззаботным.

В 1980-х годах район Ист-Виллидж захлестнула волна современного искусства, и бунтарские граффити Кита Харинга и Жан-Мишеля Баскиа привлекали всеобщее внимание. В галерее International With Monument неподалеку от моего дома выставили три аквариума, и лампы освещали плавающие в них баскетбольные мячи. Выглядело впечатляюще, но стоимость произведения в несколько раз превышала размер годовой аренды моей квартиры. В то же время рядом с продуваемой всеми ветрами парковкой возле Купер-Юнион[33] можно было встретить высокого, тощего художника, закутанного в шерстяное пальто, который продавал разложенные у него в ногах снежные шары.

Набросок «Обнаженной, спускающейся по лестнице»

В Нью-Йорке были десятки тысяч художников, но лишь несколько десятков из них зарабатывали деньги. Для некоторой группы людей искусство превратилось в объект спекуляции, в гонку за очередной новинкой. Искусство уже давно было предметом потребления, украшением в угоду вкусам богачей, и оно неизбежно деградировало под давлением рынка. По мере

роста денежного эквивалента произведений искусства их духовная составляющая убывает, и искусство становится не более чем инвестиционным активом, финансовым продуктом.

В галерее Мэри Бун на Западном Бродвее можно было полюбоваться работами Эрика Фишля — африканскими женщинами и мальчишками, играющими на пляже; политическими высказываниями-слоганами Барбары Крюгер и гигантскими полотнами Джулиана Штабеля, которые служили отражением финансового веса Нью-Йорка. Я восхищался мастерством этих работ, а однажды познакомился с самой Мэри Бун — утонченной, энергичной дамой небольшого роста. Но эти произведения, как и большая часть модного в Нью-Йорке 1980-х годов искусства, совершенно не перекликались с моим жизненным опытом.

Однажды, почти десять лет спустя, пекинский смог прорезал телефонный звонок, звонившая представилась как Мэри Бун. Она сказала, что хочет выставить мои работы. Я не знал, что ответить, — просто сразу же согласился.

И вот снова пришло время переезжать. Арт-пространство в Сохо под названием The Kitchen («Кухня»), где вся доска была увешана объявлениями об аренде жилья, служило информационным центром для бесчисленных паломников в этот город. Кто-то был полон надежд, а кого-то снедала тревога, но все мы нуждались в ночлеге. Сжимая в руках бумажку с найденным там адресом, я добрался до дома номер 111 на Хадсон-стрит в Трайбеке и позвонил в дверь. Меня встретил невысокий мужчина азиатской наружности. У «Сэма» было китайское имя, Се Дэцин (Ся Тэккхин), и вскоре я узнал, что он художник с Тайваня и занимается перформансами. За несколько лет до этого он собрал из досок клетку размером в одиннадцать с половиной на девять футов, восемь футов в высоту (3,5 × 2,7 × 2, 4 м), и заперся внутри нее на целый год, в течение которого ни с кем не разговаривал, не читал и не писал. Каждый день друг приносил ему еду и забирал отходы, и все. Когда я с ним познакомился, завершился уже третий из его «Перформансов длиной в год» (One Year Performances), и легче они не становились.

Теперь Се Дэцин работал над другим произведением. На этот раз они с Линдой Монтано, художницей из Калифорнии, которая тоже занималась перформансами, собрались провести год, связавшись друг с другом восьмифутовой (2,4 м) нейлоновой веревкой. Учитывая, что этому проекту предполагалось отдавать все силы, Дэцин хотел сдать в аренду часть своей студии, и вот пришел я.

Умный и решительный Дэцин обладал хладнокровием, присущим жителям Нью-Йорка, и природной сдержанностью урожденного тайваньца. В его жилище когда-то размещался производственный цех, и деревянные полы были в плохом состоянии; пропитанные машинным маслом, они издавали сильный запах. Окна открывались и закрывались тяжело и со скрежетом. Дверь запиралась изнутри горизонтальным металлическим прутом, похожим на засовы в Запретном городе, и не было в мире силы, способной открыть ее.

Огромный лофт был пустым, и мои шаги отдавались гулким эхо. Но в первую ночь я с недоумением проснулся: подо мной гремела дискотека, и полы тряслись в такт пронзительному припеву «Девочки просто хотят повеселиться». Сначала я перестал ложиться в обычное время и повадился по ночам бродить в дешевых китайских кедах по Трайбеке, району промышленных складов, который после заката пустел. Но вскоре мои уши привыкли к шуму, и постепенно я перестал его замечать. Переехав потом в спокойное место, я с трудом приспосабливался к тишине.

В комнате Дэцина две односпальные кровати стояли параллельно, в трех футах (около 1 м) друг от друга. Связанные одной веревкой, они оба продолжали жить своей жизнью: Дэцин занимался дизайном, а Линда давала интервью о проекте и медитировала. Разница была лишь в том, что теперь они постоянно находились в обществе друг друга. Когда Линда входила в состояние трансцендентального блаженства, Дэцин просто смотрел на стенные часы. Всякое занятие одного становилось испытанием для другого. Каждый день они делали фотографии, подтверждающие, что связаны.

Искусство поглощало жизнь Дэцина целиком, и он постоянно хотел большего. Однако, чтобы осуществить очередной «жизненный этап», требовалась тщательная и всесторонняя подготовка, возможно, поэтому впоследствии ему стало тяжело заниматься перформансами. Искусство — это всегда событие, и в любом случае у него должны быть и начало, и конец.

У Дэцина был черный тибетский мастиф, мелковатый для этой породы. Я никак не мог запомнить имя этой собаки, так что звал ее Дэцином, как хозяина. Пес частенько наведывался ко мне в комнату, поскольку двери у меня не было. В ту зиму Дэцин (пес) обильно оросил стопку моих набросков, и его моча застыла блестящими кристаллами. Я не рассердился, чувствуя, что это явный знак: пришло время переставать заниматься живописью. В другой раз я обнаружил на полу листок бумаги с надписью: «Вэйвэй, не пытайся быть совершенным. Совершенства в этом

мире нет». Там стояла подпись Линды. В некотором смысле я тоже был частью их проекта.

В конце года Линда и Дэцин (человек) перед собравшейся толпой взяли большие кусачки — такие обычно используют велосипедные воры — и под вспышки камер перерезали связывавшую их веревку. Пока другие праздновали это событие, я просто чувствовал облегчение — ведь я видел, как долго они страдали ради искусства. Линда вскоре уехала, и больше я ее никогда не видел.

Линда и Дэцин явились для меня образцом непоколебимого следования художественному видению, и с ними я никогда не чувствовал себя одиноким. Дэцин был похож на персонажа романа Кафки: никто не понимал, что он делает, и мало кто обращал на него внимание. Он был как редкое растение, существующее отдельно от всего остального. Встречаясь теперь с Дэцином, мы всегда делимся нашими мыслями о жизни художника. Он как боксер, всегда готовый нанести удар, а я как боксерская груша.

Мне тогда казалось, что все только начинается, и я не собирался уезжать из этого города — такого большого, что он сам по себе мог быть миром или даже множеством миров, — и планировал остаться здесь навсегда. Когда я сталкивался с ситуацией, где у меня не оставалось выбора, я позволял жизни самой делать выбор вместо меня. Моей задачей было просто держать курс, сталкиваясь с рутиной из отдельных повторяющихся действий: независимо от того, как начинался мой день, он шел от начала до конца предсказуемо и привычно.

Все в моем положении казалось временным — и иммиграционный статус, и постоянно меняющийся адрес, и нестабильный доход от случайных подработок. Но меня совершенно не интересовал обычный жизненный путь — накопить денег, получить диплом, обеспечить себе американский паспорт. Я хотел, чтобы от меня все отстали, потому что не желал менять образ жизни. Мой нигилизм не знал пределов, и именно хаотичность существования позволяла мне чувствовать себя живым. Но все же я знал: варианты есть всегда, и сама жизнь — это великое произведение искусства, в котором достаточно места и для разочарования, и для отчуждения.

В конце декабря 1984 года в церкви Св. Марка проходил поэтический вечер, на котором бородатый Аллен Гинзберг, облаченный в темный костюм, читал с кафедры свои стихи, а публика снизу внимала ему. Он рассказывал о своем недавнем путешествии в Китай:

Я узнал, что Большой скачок заставил миллионы
Семей голодать, а кампания против правых элементов,
Против буржуазных «вонючек» отправила революционных поэтов
Убирать лопатой дерьмо в провинции Синьцзян за десять лет до того,
Как «культурная революция» загнала несметные толпы читателей
Умирать без еды в стылых хижинах сельской глубинки на северо-западе.

Своим теплом Гинзберг, подобно костру, привлекал к себе людей в эту зимнюю ночь. Когда он закончил, я подошел к нему и представился сыном того самого революционного поэта, о котором он как раз и говорил. Он удивленно поднял брови. Пристально глядя на меня, он сказал, что его самое теплое воспоминание о Китае — это объятие моего отца. Мы вышли из церкви и отправились в «Киев» — украинскую закусочную неподалеку. Я сказал, что не пью кофе, и он заказал мне эгг-крим[34].

Аллену тогда было под шестьдесят, и он жил на Восточной 12-й улице, в квартире, оставшейся от матери. Прогибающиеся под весом книг полки, потертый местами пол. В углу спальни стоял маленький буддистский столик-алтарь, над которым висела каллиграфия: слова из Священного Писания, написанные его гуру. Неожиданно он повернулся ко мне и издал протяжный долгий звук «аааах» — свою мантру духовного просветления.

У Аллена всегда была под рукой маленькая фотокамера Olympus, и он спокойно фиксировал моменты проходящих дней. Он никогда не использовал вспышку, даже в самом тусклом освещении, и, хотя фотографии получались зернистыми, в их тенях была глубина. Ему никогда не надоедало снимать задний дворик под кухонным окном.

В рождественскую ночь в 1987 году Аллен читал у меня в гостях, в цокольном этаже, свое длинное стихотворение «Белый саван» (White Shroud). Он написал его в честь своей матери. Она была радикальной активисткой и с раннего возраста приучала Гинзберга к политике, а по дому часто ходила голышом. Аллен напоминал мне моего отца: оба они оставались так и не повзрослевшими мальчишками. Для них мир был тем, что нашло отражение в их сознании, а когда они умерли, эта часть мира исчезла вместе с ними.

Как-то раз, когда мы с Алленом болтали возле Купер-Юнион,

к нему кинулась поздороваться женщина с седеющими волосами. Он представил ее как Сьюзен Сонтаг, а меня — как китайского философа, несмотря на то что я держал в руках альбом и направлялся в Гринвич-Виллидж делать рисунки на продажу туристам.

Аллен не всегда говорил обо мне так лестно. Однажды, изучив мое портфолио, он сказал: «Ума не приложу, кому может быть интересен китайский художник». Это воспоминание все еще свежо в моей памяти, будто это было вчера. Я никогда не считал Аллена американским поэтом — даже если его американскость была самой что ни на есть аутентичной, — в отличие от тех, у кого был совершенно американский взгляд на вещи, его мировосприятие было глобальным. Соединенные Штаты принято считать плавильным котлом, но это скорее чан с серной кислотой, который безжалостно растворяет все различия.

Впрочем, в другое время Аллен внимательно слушал мои рассказы об отце и нашей жизни в изгнании. Он смотрел на меня через толстые стекла очков и говорил: «Тебе нужно записывать свои воспоминания. Первая мысль — самая точная». Я тогда не понимал, что он имеет в виду, потому что не особенно ценил свои воспоминания. Они мне не принадлежали: в моменты, которые запомнились мне наиболее отчетливо, мое существование ничего не значило, и записывать их было все равно что швырять пригоршни песка против ветра. Прошли десятилетия, прежде чем я смог наполнить их содержанием.

Однажды в квартире Аллена я увидел, как в его постели крепко спит какой-то парень. Аллен с сожалением сказал, что на данном жизненном этапе ему нечего отдавать, так что он может только брать. Но мне он всегда казался молодым, отдающим всего себя, бескорыстно. Я уехал из Нью-Йорка, не попрощавшись с ним. Потом я узнал, что незадолго до смерти он, уже тяжело больной, пытался раздобыть мой номер телефона.

Мартин Вон родился в Сан-Франциско, его мать была китаянкой, а отец — наполовину китайцем, наполовину мексиканцем. Мы с Мартином сразу поладили, так как оба любили поболтать ни о чем, стоя на тротуаре и глазея на прохожих. Он обычно пристраивался рядом со мной, на углу 8-й улицы и 2-й авеню, в квартале от галантерейного магазина Love Saves the Day («Любовь спасает день»), около ряда таксофонов, откуда постоянно звонили ребята из Нью-Джерси. Времена тогда были мирные, но в той части района Ист-Виллидж царил такой хаос, будто близился конец света, — уличные торговцы сбывали контрабанду и ворованные вещи, пацаны просили денег,

наркоманы валялись поперек тротуара, а кришнаиты и скинхеды смешивались в толпе с поэтами, бродягами, рок-музыкантами и молодыми японцами — фанатами нью-йоркской панк-музыки. Высокий и чуть сутулый Мартин всегда ходил в ковбойской шляпе, красных кожаных сапогах с загнутыми носами, замшевой куртке с бахромой и потертых джинсах Levi's — настоящий полуночный ковбой.

Стоило Мартину открыть рот, как я уже знал, о чем он спросит, потому что вопрос был всегда один и тот же: правда ли, что я обучен приемам соцреализма? Этот художественный метод активно насаждался в СССР, а потом и в Китае для того, чтобы художники реалистично изображали вдохновляющие революционные сюжеты. Чтобы порадовать Мартина, я отвечал кратко: написать портрет Мао проще простого. Я не хотел его разочаровывать, но на деле уже давно потерял охоту к живописи. Я верю в того же бога, что и он, говорил я, просто никогда не хожу в церковь. Он усмехался, прислонившись к стене. Для него разговор с человеком из коммунистической страны был любимым развлечением, потому что позволял ему фантазировать о трудностях и лишениях нашей жизни.

Картины у Мартина были необычные, основная тема — красные кирпичные стены Чайна-тауна. На одном из его произведений кирпичи были сложены в форме сердца — теплый, печальный образ и неизменная верность своей живописной манере. Так мне и не пришлось увидеть музей граффити, о создании которого он часто говорил: Мартин умер через несколько лет после моего отъезда из Нью-Йорка. Я рад, что у меня осталась одна из его картин — небольшая, с красной кирпичной стеной.

Вот и все мои тогдашние друзья. Если бы я умер, мое тело, вероятнее всего, обнаружила бы хозяйка квартиры. В конкурентной среде, где люди смотрели друг на друга с подозрением, нужно было обаяние, чтобы завоевать одобрение и казаться крутым. В остальном я полагался на воображение: на каждой улице, в каждом окне, среди спешащих пешеходов — все они были моими друзьями, просто я еще с ними не познакомился. В конце концов, Нью-Йорк совсем не похож на деревню.

К началу 1980-х годов молодые люди, сосланные в сельскую местность во время «культурной революции», вернулись в города, и из-за растущей безработицы общественные структуры испытывали огромные перегрузки. Дэн Сяопин, новый верховный правитель Китая, преуменьшал значение прав отдельного человека, определяя гуманизм как «защиту безопасности

большинства». Государство стало бороться с коррупцией, вынося быстрые и суровые приговоры, и между 1983 и 1987 годами осудили не менее 1,7 миллиона человек. Тяжесть наказания обычно чудовищно превосходила масштаб преступления, и число казней резко возросло; в некоторых случаях смертный приговор выносили за такие незначительные проступки, как сексуальная распущенность. Эта политика «жесткого удара» напоминала репрессии, которым подвергались «контрреволюционеры» в эпоху Мао, и доказывала, что с тех пор практически ничего не изменилось.

В 1987 году, когда кампания была в самом разгаре, ко мне в Нью-Йорк приехал Ай Дань. Некоторых его друзей посадили в тюрьму — неудивительно, что он захотел уехать из Китая. Мы не виделись целых шесть лет, и ему уже исполнилось двадцать пять. Он планировал изучать фотографию.

Учитывая, что у меня в холодильнике редко водилось что-то, кроме нескольких катушек фотопленки, Ай Даню нужно было зарабатывать самому. Мы развесили на столбах объявления и просматривали разделы с предложениями о работе, и наконец он устроился разносчиком местной китайской газеты. Ранним утром он выходил на улицу с тележкой и весь день курсировал между Манхэттеном и Куинсом, пополняя и наземные, и подземные газетные стойки. Для человека, который только что переехал, такая трудная и при этом скучная работа была в тягость. По вечерам, когда он приходил домой, мы садились выпить вместе пива, но тем для разговора становилось все меньше. Я стыдился, что не могу как следует о нем позаботиться, как подобает старшему брату.

Благодаря присутствию Ай Даня до меня начало доходить, насколько мой образ жизни отклоняется от нормы. Обычно китаец, приехавший в США с какой-нибудь сотней долларов в кармане, стремится как можно скорее занять свое место в обществе и осуществить американскую мечту; он начинает с постоянной работы в ресторане или, может, университетской лаборатории. Каждый стремился преуспеть, достичь более комфортной жизни, но не я.

Отозвавшись на объявление, мы с Ай Данем устроились в массовку Метрополитен-оперы, ставившей «Турандот». Режиссер Франко Дзеффирелли посмотрел на нас с другого конца сцены и сразу же одобрил, впечатлившись нашими классическими монголоидными лицами. Ай Дань обожал классическую музыку, и оказаться на одной сцене с Пласидо Доминго для него было пределом мечтаний. Нам дали роли помощников палача, что шло вразрез с приверженностью Ай Даня идее ненасилия, но ведь это

была всего лишь опера, так что он не стал упорствовать. По роли мы находились на авансцене и размахивали топорами так театрально, что Ай Дань иногда не мог сдержать смех. Когда в самом конце финальной сцены палочка Джеймса Левина опускалась, мы выскальзывали через заднюю дверь и пировали хот-догами и соком папайи в Gray's Papaya на углу Бродвея и 72-й улицы.

Ай Дань так и не смог приспособиться к нашей беспорядочной нью-йоркской жизни и через полгода улетел обратно в Пекин, где не выходил из комнаты, пока не дописал мемуары под названием «Нью-Йоркские записки» («Нююэ чжацзи»). Если хотите узнать больше о моей жизни в тот период, загляните в эту книгу. Ай Дань ее написал в пику китайской литературной моде, которую считал поверхностной и пресной. Ай Дань никогда не стремился к народному признанию — ему хватало немногочисленных сочувствующих читателей и хотелось держаться подальше от мейнстрима.

В 1987 году, в середине своего нью-йоркского периода, я записал некоторые размышления и опубликовал их в журнале китайской поэзии *Ихан* («Одна строка») — вот некоторые из них.

> У искусства собственный язык. Этот язык может быть неэстетичным и иррациональным, но он остается языком искусства.
>
> У отрицательного поведения есть положительные последствия.
>
> Когда люди говорят о человеке, наделенном талантом, они подчеркивают значимость его дел. В будущем о человеке с талантом люди будут говорить так: «Он никогда ничего не делал».

Постепенно я начал понимать, что искусство — просто вопрос самоопределения, и все. Сбросить путы не означает стать свободным, ведь свобода — это выражение смелости и постоянной готовности рисковать, и оказаться перед лицом свободы всегда сложно, независимо от времени и места. В дальнейшем я не считал нужным объяснять свой образ жизни, поскольку его невозможно было втиснуть в какую-либо категорию, и мне предстоял бескрайний простор бесцельной и хаотичной жизни.

Энди Уорхол умер в 1987 году. Уорхол был продуктом собственного производства и собственного продвижения; сутью его деятельности была коммуникация. Он создал действительность, которая бросала вызов традиционным,

элитарным ценностям. Сам Энди Уорхол лучше всего выразил эту мысль:

> Думаю, что каждому нужно быть машиной, думаю, все должны друг другу нравиться.
>
> Мне нравятся скучные вещи. Мне нравится, когда они совершенно не меняются от раза к разу.
>
> Я никогда не чувствую себя разобранным, потому что никогда не бываю собранным.

За неделю до смерти Уорхол написал в дневнике: «Очень короткий день. Ничего не произошло. Я пошел за покупками, сделал пару мелких дел и вернулся домой, поговорил по телефону… Ну да, это все. Правда. Это и правда был очень короткий день».

Хотя нас с Уорхолом ничего не связывало, его смерть углубила пустоту в моей душе.

Я все меньше занимался живописью, боясь, что если продолжу и не смогу остановиться, то закончу, как Ван Гог — душевнобольным художником в комнате, до потолка набитой картинами. К тому же я терпеть не мог натягивать холст на мольберт и никогда не любил запах масляных красок и скипидара. Живопись мне надоела, но я пока еще не нашел подходящего визуального языка вместо нее.

В середине 1980-х годов мир искусства все еще упивался немецким неоэкспрессионизмом с его огромными полотнами и грубыми, чрезмерно драматическими мазками, меня же привлекало контркультурное течение — дадаизм. Я соединял скрипку с лопатой, крепил презерватив на китайский дождевик армейского типа, делал из проволочной вешалки портрет Марселя Дюшана. Впервые попав в Америку, в Филадельфийском музее изящных искусств я заинтересовался именно работой Дюшана, и именно его акцент на интеллектуальное переживание в искусстве, а не просто на визуальное, стал для меня источником вдохновения на всю жизнь. Его интерес к повседневным предметам в его «реди-мейдах»[35] уже оказывал влияние на мои собственные произведения.

Висячий человек (Hanging Man), 1985 год

Тогда я и провел свою первую персональную выставку под названием «Старые ботинки, безопасный секс» (Old Shoes, Safe Sex) в галерее Итана Коэна Art Waves, расположенной в Сохо. Хотя выставка прошла незамеченной, для меня она стала эпохальным событием. Единственная рецензия, вышедшая в *Artspeak*, описывала ее как «настолько мощный неодадаистский удар, что на Западе, где бунт против старшего поколения уже сам по себе стал традицией, мы можем только восхищаться его дерзостью и тонкостью исполнения».

«Несомненно, — продолжал автор рецензии, — Дюшан оценил бы эту дань его памяти и отметил бы дерзкий талант Ай Вэйвэя». Я весьма порадовался столь одобрительной рецензии, однако ни одна из моих работ не была продана.

Примерно в то же время несколько моих картин участвовали в групповой выставке в Ист-Виллидже. Когда она закрылась, я не стал забирать картины домой, а просто выбросил их в мусорный контейнер. Такие контейнеры на улицах Нью-Йорка стояли повсюду, и в них наверняка можно было найти шедевр-другой. За прожитое в Нью-Йорке время я переехал раз десять и первым делом обычно выбрасывал свои произведения. Я, конечно, гордился своими работами, но стоило закончить очередную, как

наша дружба прекращалась. Я ничего не был должен им, а они ничего не были должны мне, и увидеть их вновь было бы еще более неловко, чем столкнуться с бывшей любовницей. Если они не висели у кого-то на стене, то ничего не стоили.

Я теперь зарабатывал деньги как уличный художник, рисуя портреты углем или мелом, чаще всего на Кристофер-стрит в Гринвич-Виллидж, а иногда на Таймс-сквер. Глядя на выплескивающуюся из метро толпу, я не думал о том, кто эти люди или куда идут, — меня интересовало лишь одно: смогут ли они выделить пятнадцать минут на портрет. Когда я начинал рисовать, за моей спиной выстраивалась очередь, и я даже не мог улучить минутку на перекус или туалет. Я узнал, что самые щедрые туристы — американцы; иностранным же путешественникам, особенно из Израиля или Индии, угодить было сложнее всего.

Для таких рисунков не требовалось усиленной работы воображения, и я смотрел, как мои модели уходят со своими портретами под мышкой и уносят мои шедевры. Я знал, что никогда не стану новым Пикассо, но по крайней мере это позволяло мне оплачивать аренду и отопление.

Томпкинс-сквер-парк был всего в двух кварталах от моего дома. Его скамейки служили бродягам кроватями, а заброшенные дома вокруг привлекали сквоттеров, которые селились там бесплатно. В этом парке немногочисленные оставшиеся коммунисты раздавали революционные листовки, а по выходным кришнаиты угощали всех желающих сладкими рисовыми шариками. Неонацисты, скинхеды и бывшие хиппи тоже не оставались в стороне от событий. Парк был центром притяжения для всех — от людей, выгуливающих собак, до наркодилеров.

Словно побеги бамбука после весеннего дождя, тут и там начали появляться арт-галереи, район стал благоустраиваться, а небогатые жители постепенно вынуждены были оттуда переехать. Месяц за месяцем тут еженедельно проходили протесты против джентрификации и полицейской жестокости, и высшей точки они достигли в августе 1988 года.

Однажды жарким и душным вечером, когда власти ограничили часы работы парка, жители Ист-Виллиджа возмутились, и разразился бунт. Тогда я впервые увидел, как полицейские в полном защитном снаряжении атаковали безоружных. Должно быть, этих грубых, злобных и самонадеянных полицейских испугало отважное неповиновение анархистов, и к вечеру они начали применять грубую силу. В разгар беспорядков я сделал несколько снимков — в основном

окровавленные головы людей, побитых полицейскими дубинками. Этот опыт стал для меня ускоренным курсом обучения социальному активизму, позволив понять мощь капитала, конфликт интересов в отношениях между институтами власти и человеком и необходимость защиты прав и свобод перед лицом угроз и насилия.

Одного героя моих фотографий звали Клейтон Паттерсон. Он был анархистом и несколько часов снимал полицейский беспредел на видео. Когда окружной прокурор велел ему отдать отснятые пленки, он отказался. Клейтон сказал, что не настолько глуп, чтобы доверить улики капиталистической судебной системе. По пути в суд он показал мне свои ладони, на которых было написано: «Долой Коха» (Эд Кох тогда был мэром Нью-Йорка). Я тут же нажал на кнопку спуска затвора. Я знал, что это мощный образ, поэтому оттуда бежал уже, сжимая в руке экземпляр *The New York Times*. Я дозвонился до редактора из таксофона, а потом прыгнул в такси. Дежурный редактор вытащил пленку из моей камеры и уже через десять минут выбрал один из проявленных кадров — уверенно и спокойно, будто покупал помидоры на рынке.

Назавтра я уже в три утра стоял перед круглосуточным магазинчиком на площади Св. Марка, поджидая сегодняшний выпуск газеты. Моя фотография появилась в рубрике «Столица», и под ней мелким шрифтом было написано: «*New York Times*, Ай Вэйвэй». Когда я увидел эти слова, сон как рукой сняло. Та фотография была такой же обычной, как один из бесчисленного множества листьев, падающих с деревьев осенью, но ощущения у меня были совершенно особенные — ведь я впервые установил настоящую связь с приютившим меня городом. Теперь я здесь был не просто наблюдатель.

Реальное событие превратилось в новостное, и мне понадобилось несколько лет, чтобы в полной мере понять суть этого явления. Меня впечатляли журналистская приверженность свободе и беспристрастности, а также правдивость слогана, что в *The New York Times* можно прочитать «Все новости, достойные печати». Мне не приходило в голову, что однажды мне пригодится этот опыт. Двадцать лет спустя я столкнулся с насилием и цензурой на другом конце света, и фотоулики стали жизненно важными.

Стычка жителей Ист-Виллиджа с полицией стала последним спазмом продолжавшегося в Нью-Йорке насилия. Но мои фотографии, на которых полицейские избивали людей, были приобщены к материалам дела Нью-Йоркского союза по защите гражданских свобод против полицейского насилия. Однажды на

Вашингтон-сквер Норман Сигел, исполнительный директор этой организации, дал мне свою визитку и сказал, чтобы я звонил ему хоть посреди ночи, если ко мне постучится полиция.

После беспорядков на Томпкинс-сквер я заинтересовался и другими протестными движениями. На Манхэттене прошла демонстрация медицинских работников, которые требовали увеличения бюджета на борьбу со СПИДом; они заблокировали движение транспорта по центральной улице и так яростно сопротивлялись аресту, что каждого протестующего полицейским приходилось тащить в машину вчетвером. Это происшествие, разумеется, привлекло внимание СМИ. На той демонстрации я видел художника Кита Харинга, активного участника организации ACT UP[36]. Я снимал и другие события, в том числе демонстрации против операции «Буря в пустыне», против полицейского беспредела, за права геев и за права бездомных, хотя эти протесты привлекали куда меньше общественного внимания.

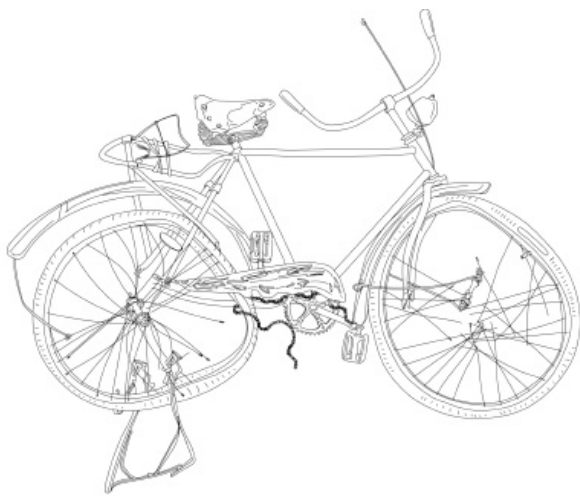
Главным событием весны 1989 года был кризис, происходивший в другом месте. В конце мая того года наш телефонный разговор с Ай Данем несколько раз тонул в шуме пролетавших над центром Пекина военных вертолетов. Это разбрасывали листовки с призывами к протестующим освободить площадь Тяньаньмэнь.

Пятнадцатого апреля 1989 года от инфаркта скоропостижно скончался Ху Яобан, бывший генеральный секретарь КПК, после чего в партийном руководстве разгорелась борьба за власть между сторонниками политических реформ и теми, кто соглашался только на экономические. Студенческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь начинались как траурные шествия по случаю смерти Ху Яобана, но вскоре зазвучали призывы принять меры против инфляции, безработицы и коррупции, а также требования уважать свободу прессы, демократические процессы и свободу собраний. В середине мая группа студентов объявила голодовку, получив поддержку более чем в четырехстах городах Китая. Правительство вскоре прекратило попытки вести диалог со студентами, и сторонники жесткой политики во главе с Дэн Сяопином, председателем Центрального военного совета, решили остановить демонстрации силой. Двадцатого мая в Пекине было объявлено военное положение, и в город ввели 300 000 солдат.

Ранним утром 4 июня вооруженные винтовками с боевыми патронами солдаты в сопровождении танков и бронетранспортеров прошли по проспекту Чанъаньцзе, унося

сотни невинных жизней и оставляя за собой след из раздавленных велосипедов и сгоревших автобусов. Жители Пекина и представить себе не могли, что армия откроет огонь по мирной студенческой демонстрации, выступающей за политические перемены. Легитимность китайского режима, которая и так была скомпрометирована рядом грубых промахов, после этой кровавой бойни рассыпалась в прах. Но санкционированное государством насилие не ослабило стремления руководителей страны удержать власть. Напротив, теперь они еще крепче вцепились в свое оружие.

«Смена режима обойдется дорогой ценой», — говорили в Пекине. Ходили слухи, что накануне разгона демонстрации Дэн Сяопин сказал своим помощникам: «Создание коммунистического государства обошлось нам в двадцать миллионов голов. Если люди теперь хотят отнять его у нас, пусть готовятся потерять столько же!» В других версиях этой истории слова приписывали генералу Ван Чжэню. Политика развития Китая и в последующие десятилетия будет определяться подобным собственническим, требовательным отношением.



День за днем я неотрывно следил за новостями из Пекина по Си-эн-эн. Что еще мне оставалось делать? Средства массовой информации изменили наш способ познания мира. Не то чтобы люди приблизились к местам событий из новостей, но они стали частью происходящего, частью новой действительности. Мир представлялся хаотичным и непредсказуемым, нескончаемым, как сама жизнь, потоком информации, беспорядочным чередованием добра и зла, правды и неправды.

Вместе с группой друзей мы устроили голодовку перед

зданием ООН, организовали демонстрацию, а также написали протест в китайское консульство. Пока в Пекине еще шли акции протеста, мы организовали несколько благотворительных аукционов в пользу студентов на площади Тяньаньмэнь, а после разгона демонстрации собрали в поддержку правозащитных организаций альбом фотографий протеста, сделанных иностранными журналистами.

В сентябре того года вместе с несколькими активистами, которые бежали из Китая после событий 4 июня, мы отправились на лекцию Далай-ламы в гостинице Grand Hyatt на 42-й улице. За тридцать лет до этого Далай-лама уехал из Тибета в возрасте двадцати трех, и теперь ему было за пятьдесят. Одетый в темно-красную мантию, он выглядел сильным и здоровым. Свою речь на тибетском языке с вкраплениями английских и китайских фраз Далай-лама посвятил свободе вероисповедания и самоуправлению на Тибете, выразив позицию, совершенно противоположную той, что приписывала ему китайская пропаганда.

В то время принято было считать, что в результате экономического спада, вызванного международными санкциями, наложенными после 4 июня, коммунистический режим в Китае вскоре рухнет. Далай-лама так не считал — он верил, что КПК все эти годы сохраняла власть в силу глубоких исторических причин, и режим не падет просто потому, что против него выступили студенты. Он посоветовал изгнанникам стремиться к самодисциплине, так как слишком легко разобщиться и сломаться. Когда мы уходили, зал все еще был полон его обожателями. Очевидно, существовало два мира — один внутри этой комнаты, другой снаружи, и я шел к Таймс-сквер, пораженный разницей между богатством духовной жизни и грубой действительностью, опустошенный ощущением беспомощности. Все фотографии, что я сделал в тот день, вышли смазанными.

Дни текли, и мое положение все больше раздражало меня. Свобода и отсутствие ограничений и тревог потеряли новизну, и мне, словно вернувшемуся с войны солдату, только и оставалось, что искать смысл продолжать жить. Люди говорили, что я буду последним, кто вернется в Китай, и я сам так думал. Но все мы оказались неправы.

Летом 1991 года, на десятый год моей жизни в Америке, случилось нечто такое, что поставило под вопрос мое неограниченное пребывание там.

В то время уличные нападения были обычным делом. Например, художнику из Шанхая пригрозили ножом на тротуаре

под окнами его квартиры и забрали все, что у него было. Его оставили на улице голым. А Линь Линю — талантливому художнику, учившемуся в Национальной академии искусств в Ханчжоу, — повезло меньше. В отличие от многих молодых художников, приехавших в Нью-Йорк, Линь Линь был настроен оптимистично и стремился использовать любую возможность погрузиться в американскую жизнь. Он жил в многоквартирном доме в Гарлеме. Однажды в выходной день он отправился на Таймс-сквер рисовать портреты, а там перед входом в Kentucky Fried Chicken молодой чернокожий парень ввязался с ним в перепалку. Не прошло и пары минут, как тот вытащил пистолет и выстрелил Линь Линю в грудь. Несчастный упал наземь с широко открытыми глазами и через несколько минут умер прямо там, на тротуаре, посреди шума и ярких огней.

Убийство Линь Линя заставило меня острее ощутить всю абсурдность этого общества. Насилие, так глубоко укоренившееся в американской жизни, что от него некуда было деться, отражало фундаментальные изъяны социального устройства.

К 1993 году со времени моего отъезда из Пекина прошло уже двенадцать лет. Пока меня не было, экономика Китая росла бешеными темпами. Впрочем, у меня не было никаких иллюзий по поводу родины: там, где острее всего требовались перемены, ничего не менялось, а может, и вовсе никогда не изменится. Но мои детские страхи и неуверенность остались позади, и, пока еще был жив мой отец, я хотел проводить время с ним вместе.

Раньше я говорил себе, что Нью-Йорк станет моим последним пристанищем, но теперь собирался нарушить слово. Я уехал с пустыми руками, без трофеев. Но кое-какие семена пустили корни в моем сердце, хотя для того, чтобы они дали всходы, потребовалось время. Но теперь я знал, что дух этого города останется со мной навсегда. В Пекине меня ждали дни без особой цели, дни апатии и отчуждения, дни, которым я не видел конца.

Глава 12. Перспектива

Когда я вернулся в Пекин в 1993 году, родители жили в районе Дунсы Шисаньтяо. В сравнении с американскими их дом казался маленьким. Конечно, близкие были счастливы видеть меня и не особенно расспрашивали о том, что я делал за границей, — тем лучше, потому что у меня не было внятного ответа. Мать считала, что я не слишком изменился, а подружкам, приходившим в гости поиграть в маджонг, она говорила с некоторым смущением: «Этот мальчишка Вэйвэй совсем такой же, как до отъезда в Америку».

Отцу на тот момент исполнилось восемьдесят три года, он был прикован к инвалидному креслу и то и дело попадал в больницу. Несчастья преследовали его: кровоизлияние в мозг, перелом руки, а потом компрессионный перелом позвоночника. Он любил сидеть во внутреннем дворике, пересчитывать цветки магнолии и слушать, как в воздухе порхают голуби с привязанными к лапкам свистульками.

«Это твой дом, — говорил мне отец. — Не робей, делай что хочешь». Он остро чувствовал мое смятение. Да, это был мой дом — здесь была моя кровная родня, близкие, которые понимали и принимали мои причуды и не демонстрировали завышенных ожиданий. У меня не было особых поводов для беспокойства или сожалений, но не было и представления о будущем. Правда, привязанности к этому дому я тоже не ощущал — я был словно ряска, плавающая на воде и не привязанная ни к какому месту.

Мне нужно было время на подзарядку и восстановление, чтобы с пользой для себя переосмыслить прошлое. Я снова столкнулся со знакомой дилеммой: я знал, чего не хочу, но не мог с уверенностью сказать, чего же все-таки хочу. Я родился в год Петуха и поехал в Америку в год Петуха, а теперь прошло двенадцать лет, и снова наступил мой год, а в моей жизни начинался новый период. Ай Дань напоминал мне об осторожности.

В семье все было по-прежнему, а вот Пекин изменился. Он очень разросся и в то же время стал казаться меньше, поскольку теперь город опоясывала кольцевая линия метро, от аэропорта к центру тянулась скоростная трасса, и строилась третья кольцевая автодорога, связывающая пригороды. В начале 1980-х годов не было личных автомобилей и на улицах редко можно было встретить какой-либо транспорт, кроме автобусов.

У Ай Даня была машина, и, чтобы я не заскучал, он возил меня на антикварные рынки, их было множество, и там

продавались артефакты со всего Китая и всех исторических эпох. Продавцы относились к Ай Даню уважительно: он заслужил репутацию эксперта по древностям, и, если говорил, что предмет подлинный, его цена сразу взлетала. Если попадалось что-то, что мне нравилось, то торговался за меня брат — у него это выходило намного лучше. «Ты как американец!» — шутил он.

В 1950-х годах отец, впервые приехав в Пекин, часто ходил по антикварным лавкам Люличана, и торговцы уважительно называли его господин Ай. Город более пятисот лет был столицей империи, и в течение нескольких десятилетий после 1911 года выжившие представители старого режима могли наслаждаться аристократическими занятиями вроде разведения певчих птиц или коллекционирования антиквариата. Но революция, которая последовала за переходом власти к коммунистам, передала всю частную собственность государству, и в конце 1950-х годов мало кто продолжал интересоваться культурными артефактами. В турбулентные времена «культурной революции» предметы старины стали считаться пережитками феодальной, буржуазной, ревизионистской культуры, так что их ломали и выбрасывали без сожалений. Но теперь, когда рыночная экономика возрождалась, торговля антиквариатом стала набирать обороты. Наступил золотой век коллекционеров: качество было высоким, а цены — низкими, лишь единицы хорошо разбирались в предмете, а подделки еще не появились.

Паньцзяюань, находившийся на окраине Пекина, называли рынком-призраком, так как на нем нелегально торговали антиквариатом в предрассветные часы, и лучи фонариков мелькали в темноте, когда покупатели осматривали товар. Здесь можно было найти орудия труда каменного века, ритуальные сосуды эпох Шан и Чжоу, нефритовые предметы времен Сражающихся царств и империи Хань, трехцветные глиняные фигурки времен Тан, не говоря уже о бесчисленных вещицах эпох Сун, Юань, Мин и Цин. Вскоре наш дворик был уставлен самыми разными сосудами и вазами.

Погрузившись в традиционное китайское искусство, я чувствовал себя первооткрывателем целого континента. В ходе своей первой экспедиции я заметил в углу неприметного магазинчика кучу деревянных деталей и купил их по бросовой цене. Когда я собрал их, передо мной предстал квадратный табурет из дерева венге в стиле эпохи Мин, вещь выверенных пропорций и искусной работы. Я каждый день исследовал новый уголок этой обширной территории, в каждом предмете находя этический порядок и чувство прекрасного. Я купил нефритовый топор возрастом в четыре тысячи лет; он был до середины

расколот на два очень тонких лезвия, и я никак не мог понять, как он вышел таким ладным и почему мастер изготовил его именно таким образом. Меня также заинтересовал амулет из слоновой кости времен Шан (ок. 1600–1046 до н. э.), в гребне которого был проделан ряд квадратных отверстий: для его изготовления требовалась такая кропотливая работа, что мастер, должно быть, делал его чуть ли не всю жизнь. Каждый день я, как зачарованный, часами разглядывал эти вещицы, вызывая ревность у матери. «Жаль, что я не одна из них!» — говорила она.

Изучая эти предметы и воображая их историю, я расширял свой кругозор. В Китае мы по-прежнему переживали эпоху обнищания культуры, но искусство не покинуло нас — его корни проросли вглубь почвы. Упрямое выживание исконных художественных традиций показало, что наше узколобое авторитарное государство никогда не сможет переделать нашу культуру на свой лад. Эти вещи существовали до нынешнего порядка, и они переживут его. С тех пор все свободное от общения с родителями время я проводил в мире антиквариата. Торговцы недоумевали, почему я не руководствуюсь ни модой, ни здравым смыслом. Вместо этого меня привлекали непонятные предметы, и я специально покупал то, что не казалось ценным; моя изголодавшаяся душа подпитывалась историями, которые я придумывал для каждой вещи. Наблюдения и озарения, приходившие ко мне из далекого прошлого, побуждали меня создавать произведения искусства самому.

Чтобы научить Ай Даня пользоваться режимом непрерывной фотосъемки на одной из моих камер, я попросил его запечатлеть последние моменты падающей из моих рук глиняной вазы эпохи Хань. Потребовалось десять лет, чтобы эту последовательность фотографий показали на выставке. Этот своенравный, бессмысленный поступок — лишь один пример моих безумств. Искусство кроется в потаенных уголках внутреннего мира человека, и я часто нахожу его там, куда другие просто не заглядывают, — для меня это столь же надежно и ощутимо, как кучка глиняных черепков. Когда фотография была сделана, я выбросил осколки, пока их не увидела мать — не хотелось, чтобы она поменяла мнение обо мне. К счастью, ваз эпохи Хань на рынке хватало, а по поводу Ай Даня я не переживал, так как он давно уже привык к моим выходкам. В свободное от работы над романом время он везде сопровождал меня и пытался направлять, будто помогал потерявшейся птичке найти дорогу к своей стае. Ай Дань не давал мне болтаться бесцельно и ничего не делать, он хотел, чтобы я добился успеха.

Вскоре я придумал, что еще можно сделать с глиняной вазой

эпохи Хань. У этой вазы были классические пропорции, ровная и округлая форма, но казалось, что ей чего-то не хватает, и, когда я нарисовал на ней логотип Coca-Cola, она стала смотреться гораздо веселее. Когда два года спустя ко мне приехал один любитель искусства из Швейцарии, он глазам своим не поверил, увидев в углу комнаты эту вазу.

С таких маленьких шалостей в 1994 году возобновились мои занятия искусством. Поменяв угол зрения, я снова обрел себя. То разрушая прошлое, то восстанавливая его, я мог создавать нечто иное. Высокомерие — это пропасть, которую ничто не в силах преодолеть; оно создает для себя место, подрывая установленный порядок.

Я повсюду видел раны, причиненные подавлением демократического движения в 1989 году: по глубине они превосходили сами человеческие потери. Страх и оцепенение пропитали людей до мозга костей. В центре Пекина вооруженные военные полицейские могли остановить на перекрестке любую машину, которая казалась им подозрительной, и допросить пассажиров. Прописка по месту жительства была строго обязательной, и приезжие должны были предъявлять удостоверение личности и прописку. Тех, у кого не было удостоверения, прописки и постоянного заработка, называли людьми «с тройным отсутствием» и отправляли за город на принудительные работы, пока им не удавалось накопить деньги на билет на поезд — только тогда эти люди могли вернуться туда, откуда прибыли.

Культурная жизнь в Пекине была удручающей, поскольку современное искусство у властей вызывало подозрение. Молодые художники со всех концов страны стали селиться у развалин Старого летнего дворца (Юаньминъюаня) на северо-западе Пекина, где они работали, оставаясь в полной безвестности. Мы с Ай Данем часто наведывались к ним.

Их произведения делились на две категории. Первую представляли мрачные темы насилия в темных, угнетающих тонах, вторая же являла собой полную противоположность: красочный и фривольный так называемый политический поп-арт с розовыми лысыми мужчинами и соблазнительными красотками на фоне образов «культурной революции». Хотя они и различались по степени самоиронии, декаданса, абсурда и цинизма, оба стиля отражали нашу бессмысленную, фальшивую действительность. Однажды мы зашли в землянку одного бродячего художника и увидели, как он зажимает рукой нос, из которого идет кровь, а потом размазывает кровь по стене, будто создавая произведение наскальной живописи. Но его действия направлял не художественный замысел, а тяжелая жизнь и отсутствие салфеток.

Проведя полвека в удушающих объятиях радикальной политики, Китай теперь жаждал признания со стороны Запада: уж конечно, для улучшения жизни нам не хватало именно признания Запада. Мои рассказы о нью-йоркских приключениях нравились слушателям, и молодые художники часто приходили посоветоваться, а я, словно врач традиционной китайской медицины, проверял у них пульс и выписывал лекарство — один и тот же совет: не надо пытаться угодить другим людям, лучше сконцентрироваться на сохранении своей жизненной энергии. Для конвенциональной культуры, говорил я, искусство должно быть занозой в глазу, ножом в горле, камешком в ботинке;

причина, по которой искусство нельзя игнорировать, заключается в том, что оно дестабилизирует то, что кажется надежным и устоявшимся. Перемены — это объективный факт, и нравится вам это или нет, лишь преодолевая препятствия, можно быть уверенным, что хватит хвороста для поддержания душевного огня. Не пытайтесь мечтать мечтами других людей, говорил я им: вам нужно честно оценить собственные жизненные обстоятельства, на своих условиях. Между вашими эстетическими эмоциями и безразличием реального мира — бездна.

Эти нищие художники часто брали себе новые имена и жили замкнуто, ограничиваясь своим узким кругом. Их вкусы часто совершенно выбивались из реалий современного Китая, а их интерес к Западу подогревался желанием сделать себе имя. В Пекине не было выставок современного искусства, и единственной надеждой были арт-дилеры из Гонконга, которые иногда приезжали и отбирали несколько работ. Но если пытаться смотреть на себя глазами других, толку мало. Эти молодые художники отчаянно нуждались в деньгах, но слишком щепетильно относились к участию в более выгодных проектах, так что они не могли сконцентрироваться на творчестве из-за ежедневной необходимости добывать пропитание. Разговаривая с ними, я вспоминал свою жизнь в Нью-Йорке.

В те времена городская застройка за пределы третьей кольцевой автодороги Пекина почти не распространялась, так что около двадцати молодых художников и рок-музыкантов воспользовались низкой арендной платой и поселились в заброшенном селе на окраине. Они стали называть его Пекинским Ист-Виллиджем, а мне дали шутливое прозвище в том же духе — я был их Крестным отцом. Чжан Хуань, художник из провинции Хэнань, попросил меня стать куратором его перформанса под названием «12 квадратных метров» (12 Square Meters). В жаркий летний день он пришел к общественному туалету на окраине Ист-Виллиджа, разделся догола и обмазал свое тело рыбьими кишками, всего за несколько секунд его облепили мухи. Как он сказал, его вдохновила история моего отца, который чистил туалеты в Синьцзяне. Такого рода подпольное искусство существовало относительно свободно, поскольку ему не требовались зрители — главное было зафиксировать событие, — хотя именно по этой причине оно не могло считаться публичным искусством. Снимки, которые я сделал в тот день, потом войдут в мой первый опубликованный альбом — «Черную книгу» (The Black Cover Book).

Наше знакомство с Лу Цин, художницей-абстракционисткой, состоялось в мяньди, примитивном такси-микроавтобусе, которые

тогда были самым удобным видом столичного транспорта. Я втиснулся в желтенький микроавтобус, в котором сквозь потрепанную обивку сидений торчали стальные пружины. Лу Цин с подругой пригласили меня в бар (в Пекине тогда только начали появляться такие заведения). Они с подругой не могли определиться с планами на будущее, так как к тому времени государство уже не распределяло на работу выпускников Центральной академии изящных искусств. Лу Цин спросила, что я думаю о творчестве Йозефа Бойса, но я ответил, что мало что знаю о нем. Мыслями Лу Цин явно витала где-то далеко, и она за весь вечер не произнесла больше ни слова.

В следующий раз я встретил Лу Цин в доме моих родителей. Мы проговорили допоздна, и я предложил ей остаться на ночь. С тех пор мы стали жить вместе, что весьма разочаровывало мою мать. С ее точки зрения, это означало, что в доме одним бездельником стало больше.

В течение года Лу Цин покрывала маленькими квадратиками гигантский свиток длиной более чем в тридцать футов (около 9 м). Каждый день она делала один процент работы, и процесс был неторопливым, размеренным, как дыхание. Созерцание пространства свитка от края до края походило на путешествие в потоке времени. В ее картинах едва ли кто-то углядел бы явное противостояние режиму, бунт или предчувствие беды. Наш жизненный опыт был совсем разным, но каждый из нас противостоял грубой силе по-своему. Никакая сила не способна подавить индивидуальность, задушить свободу, помешать презирать ее невежество.

Однокашники Лу Цин спроектировали и изготовили статую Богини демократии, которую установили на площади Тяньаньмэнь перед подавлением демонстрации в 1989 году. Вскоре после того, как на площадь въехали танки, они с друзьями укрылись в общежитии Центральной академии изящных искусств, где топили печаль в дешевом алкоголе. После изрядной порции горячительного Лу Цин издала отчаянный вопль: «Мы проиграли!», а потом рухнула, пьяная вдребезги.

Пытаясь стереть следы кровавой расправы, власти вымостили проспект Чанъаньцзе и площадь Тяньаньмэнь новыми гранитными плитами. Пятна крови, может, и исчезли, но мы никогда не забудем совершенные там преступления. Снова и снова, будто нас туда тянула неведомая сила, мы возвращались вдвоем на площадь Тяньаньмэнь. Мне было необходимо подтвердить свои впечатления о произошедшем, а эмоция сама по себе может быть боевым кличем.

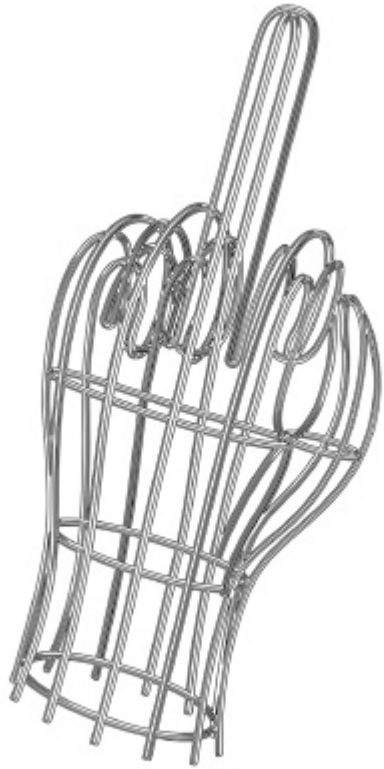
Однажды Лу Цин прямо на площади Тяньаньмэнь,

неподалеку от флагштока, провокационно подняла юбку, демонстрируя нижнее белье как раз в тот момент, когда я щелкнул затвором камеры. Лицо Лу Цин было спокойно, как и лица ни о чем не подозревающих прохожих, и абсурдность фотографии подчеркивала трагизм господствующего представления, что на этом месте ничего не произошло. Это было 4 июня 1994 года, в пятую годовщину разгона демонстрации за демократию, а флаг страны поглотил смог.

Солдат караула, которому на вид едва исполнилось двадцать, неподвижно стоял на своем посту. Я сфотографировал его издалека с помощью телеобъектива, сделав семь снимков с ног до головы, и на последнем я запечатлел его развязавшиеся шнурки. Каждый раз на площади Тяньаньмэнь меня охватывала смесь беспомощности и унижения, но такими невидимыми актами неповиновения я отстаивал свое право на существование. Я осознал, что не сожалею о своем переезде из Нью-Йорка. Напротив — я обрел давно утраченные чувства.

Наконец зимой 1995 года, стоя на западной стороне площади Тяньаньмэнь, перед Домом народных собраний, я сделал фото своей левой руки с поднятым средним пальцем на фоне Тяньаньмэнь. В тот день небо, как обычно, было свинцовым и ровным, и лишь несколько туристов гуляли под ним по площади. Древние Врата Небесного Спокойствия выглядели так же, как и всегда, и в потемках едва виднелся портрет Мао. Этот недвусмысленно презрительный жест был моим способом самоутверждения и не оставлял простора для ошибочной трактовки. У меня не было иных ресурсов — все, что я мог предъявить, это мое отношение. Я не забыл, не простил, не оставил и благодаря этому понял, что мое возвращение в Пекин — подарок судьбы: наконец я почувствовал, что вернулся домой. Моя фотография была не столько произведением искусства, сколько манифестом, экспромтом, но выстраданным.

Сегодняшняя китайская молодежь совсем ничего не знает о студенческих демонстрациях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, а если бы знала, осталась бы безразличной, ведь ее приучают к повиновению с ранних лет, не давая возможности усомниться в постулатах и подвергнуть их пересмотру.



Бамбуковый палец (Bamboo Finger), 2015 год

Теперь я чувствовал, что готов занять свое место художника и критика, готов доносить свое понимание искусства и создавать новую реальность, используя собственный язык. Так что летом 1994 года я решил сделать книгу. Я хотел создать андеграундное жизненное пространство для искусства и передать будущим читателям мысли предыдущих поколений. В этом отношении я шел по стопам своего отца, который опубликовал свой первый сборник поэзии в возрасте двадцати шести лет на собственные средства.

Для осуществления этой идеи я обратился за помощью к художникам Сюй Бину (в Нью-Йорке) и Цзэн Сяоцзюню (в Бостоне). С Сюй Бином мы проводили время на Манхэттене, а когда я уехал, он остался жить в том самом цокольном помещении в Ист-Виллидже, которое я раньше снимал. Мы договорились, что Сюй подберет несколько подходящих западных статей, Цзэн поможет с финансированием, а Фэн Бои, который тогда работал в пекинском отделении Союза художников, оперативно найдет участников проекта.

В «Черной книге» искусство, которое тогда создавалось в Китае, оказалось под одной обложкой с зарубежным искусством в форме статей и фотографий. Я взял для книги интервью у Се Дэцина и перевел на китайский тексты, написанные Марселем Дюшаном и Энди Уорхолом. В число иллюстраций вошли и мои фотографии, изображавшие облепленного мухами Чжан Хуаня. Я хотел донести мысль о том, что концептуальный подход — это не метод, а художественная практика как таковая.

Все опубликованное в Китае подвергалось государственной цензуре и контролю, и копирование даже одной странички требовало согласования с полицией. Для обеспечения безопасности и качества проекта я решил редактировать и печатать все в Шэньчжэне — специальной экономической зоне рядом с Гонконгом, где правила были не так строги.

Мы с Фэн Бои и Лу Цин заселились в гостиницу в Шэньчжэне, и я разложил на кровати все рукописи, а также линейку, бумагорезальную машинку и клей, и мы занялись макетом книги. Я придумал обложку, символизирующую молчаливый протест против цензуры: она была просто черная, без названия, с одной только мелкой строчкой иероглифов с годом и местом издания.

Во время печати пробного тиража я обнаружил, что пыль на валике оставляла белые разводы на черно-белых фотографиях. Я понял, что печатать нужно в Гонконге, а не здесь, а потом нелегально ввезти книги обратно в Китай. Я обнаружил, что сложность исполнения затеи часто прямо пропорциональна ее важности: за то, что легко сделать, не стоит даже браться.

Тираж «Черной книги» еще даже не прибыл в Пекин, когда в Союз художников наведались сотрудники органов государственной безопасности и заявили, что Фэн Бои замешан в одном «политическом инциденте». Это грозное обвинение было связано с перформансом, которому в «Черной книге» посвящалась первая страница — на ней была фотография обнаженного Ма Люмина.

Ма Люмин — стройный молодой художник, чью женоподобность подчеркивали длинные волосы и серьги, — устроил частное мероприятие во дворе собственного дома, в ходе которого разделся догола и стал готовить картошку в воке. Каким-то образом об этом узнала полиция, и его отправили в тюрьму, обвинив в непристойном поведении, хотя его действия были безвредны и невинны. Впоследствии на мой вопрос о времени, проведенном в тюрьме, он ответил, что чувствовал себя запертым в странном, бессмысленном лимбе[37] и часть его личности постепенно уходила, уступая место медленному пробуждению другой части. Этот разговор происходил за два

месяца до его освобождения из-под стражи.

Сюй Бин позвонил мне из Америки и попросил, чтобы я пока не распространял «Черную книгу», — он беспокоился, что, если книга начнет распространяться, это доставит неприятности Фэн Бои, да и его жизнь осложнит, ведь он собирался возвращаться в Китай и строить здесь карьеру. Но я отказался сворачивать проект, так как пока еще мы не были в опасности. И если честно, я надеялся на скандал. Прежде всего, это дало бы мне возможность испытать гонения со стороны государства на собственной шкуре, а не просто слышать о них со стороны. К тому же для меня было вопросом чести выполнить свои обязательства перед художниками — участниками проекта, и отказ от распространения книг расценивался бы как самоцензура. Я стоял на своем, и тогда Сюй Бин и Фэн Бои вышли из проекта.

Вскоре три тысячи экземпляров «Черной книги» стали достоянием общественности, и проект восприняли как родник, который забил посреди пустыни. В дальнейшем я продолжил серию двумя изданиями — «Белой книгой» и «Серой книгой». Это привлекло внимание полиции, но она не вмешивалась напрямую, ограничившись устными предупреждениями. Во введении к «Серой книге» я написал: «Печальный факт состоит в следующем: в то время как сегодня мы импортируем науку, технологии и западный образ жизни, мы не в состоянии внедрить духовное просвещение, или торжество закона, или душевные материи». Сам о том не помышляя, я стал политизированным, поступая так, как поступал в молодости мой отец.

В четыре часа утра 5 мая 1996 года сердце моего отца остановилось, и кривые на подключенном к нему мониторе стали прямыми. Врачи и медсестры реанимации сняли маски и покинули палату, реанимационное оборудование выкатили. Затем мы, родственники, сопровождали тело, пока его перемещали в морг.

Когда стальную ячейку с телом отца задвинули и оно скрылось из вида, я почувствовал, будто потерял часть себя, но при этом в некотором смысле освободился. Моего отца всю жизнь преследовали невзгоды, а теперь он, при всей бесконечной скорби окружающих, наконец был избавлен от них. Когда мы вышли из больницы, день еще только занимался и моросил дождь.

Прощание проходило на Революционном кладбище Бабаошань. Я взял организацию на себя и потребовал заменить в траурном зале обычные венки из переработанной бумаги на живые цветы. Тело отца покоилось на простом белом ложе, окруженном морем белых цветов.

Но затем события приняли неприятный поворот. Союз писателей настаивал, чтобы тело отца было покрыто флагом Коммунистической партии Китая, поскольку он был ее членом. Эта циничная попытка удостоить его такой посмертной «славы» вызвала у меня глубокое отвращение: правительство просто хотело сделать из него политическое украшение, трофей. Это было возмутительно, отец бы никогда на такое не согласился. Но они это сделали, несмотря на мои громкие возражения. «Ай Цин принадлежит не только семье», — ответили мне.

В Китае все идет по заведенному порядку, и это не обсуждается. У человека нет права спорить с властью, а унижение часто преподносится как честь, которую тебе милостиво оказали. Власть всегда стирает мысли и чувства отдельного человека. И вот, когда люди собрались проводить отца в последний путь, они обнаружили на его груди флаг Китайской коммунистической партии с гигантскими желтыми серпом и молотом.

С первого взгляда может показаться, что отец не слишком повлиял на меня, ведь при жизни он редко давал мне прямые указания. Но это во многом было связано с моим нежеланием спрашивать его совета. Сделай я это, он, несомненно, ответил бы. Он никогда не пытался меня в чем-то переубедить и ничего не требовал, но я всегда сверял по нему свой внутренний компас, как по звезде в небе или по дереву в поле, и он незаметно, каким-то таинственным образом помогал мне найти мой путь. Именно благодаря отсутствию однозначных предписаний между нами образовалась духовная связь; по-своему отец защищал меня.

В середине 1990-х годов, во время работы над «Черной книгой», я познакомился с Хансом ван Дейком — высоким голландцем несколько болезненного вида. В застенчивых глазах Ханса часто мелькала хитринка, и он всегда был моим добрым другом. Его впечатлила бунтарская суть «Черной книги», но сам он был приверженцем школы Мондриана и ценил гармонию и порядок. Всю жизнь он коллекционировал связанные с искусством документы, организовал несколько выставок. Каждые несколько месяцев ему требовалось выезжать из страны, чтобы обновить визу, но он не возражал — это давало ему возможность время от времени полакомиться в Гонконге вкусным мороженым. Вместе с Хансом и его другом Фрэнком мы основали арт-пространство под названием «Архивы и хранилище китайского искусства» (China Art Archives and Warehouse) — первое профессиональное место для альтернативного искусства в столице Китая.

Летом 1995 года я познакомился с Ули Сиггом, и эта случайная встреча изменила мою жизнь. Будучи тогда послом

Швейцарии в Китае, Сигг инициировал первые совместные проекты между Китаем и странами Запада. Благодаря ему на эту пустынную землю хлынул международный капитал. Он уверенно говорил на самые разные темы и, казалось, знал практически все, а его интересы и опыт впечатляли не меньше, чем его невероятная энергия. Беседа с ним всегда была мне в радость, потому что она часто сворачивала на неизведанную территорию — как и автомобиль, который он вел. Он не сбавлял скорость на поворотах и так успешно осваивал новые направления, что казалось, будто машина и дорога становились продолжением его тела. Однажды, когда Сигг был за рулем, он обратил мое внимание на оленя на склоне холма, но, когда я повернул голову, олень уже убежал, и я лишь услышал, как камешки покатились вниз, в долину.

Сигга завораживало китайское искусство, и он как раз начинал собирать коллекцию. Он был уверен: рано или поздно Китай поймет, что потерял своих лучших современных художников просто из-за того, что не обратил на них внимания и не оценил их вовремя. Меня не беспокоило, что будущее Китая может оказаться таким, каким его воображает Сигг, да я и не возражал, если так оно и случится.

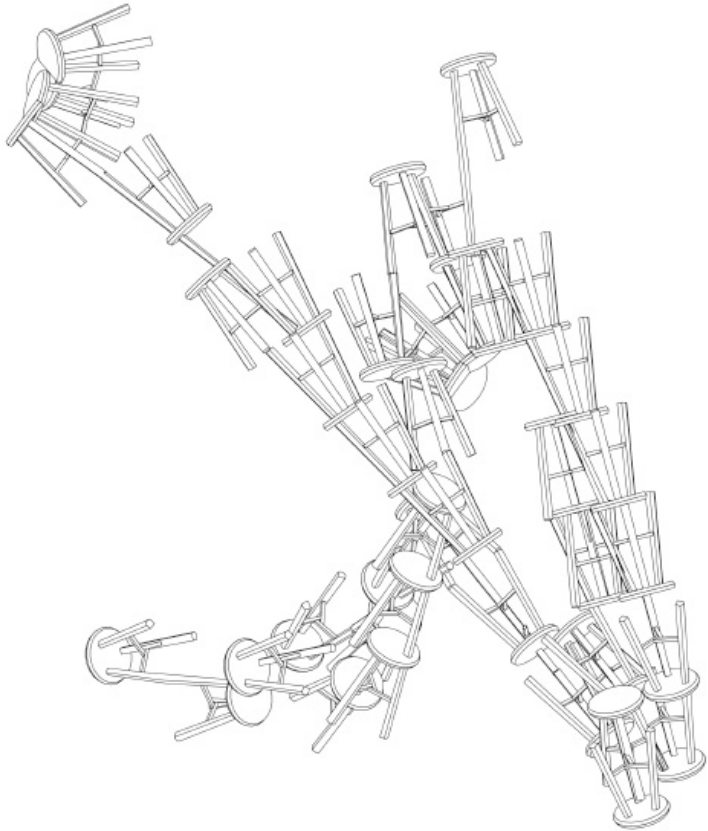
Сигг ездил по студиям художников, которые практически не говорили на английском, а некоторые не говорили и на нормативном китайском, но все они с нетерпением ждали его приезда, так как его признание свидетельствовало об успешности их работы. Правда, может пройти много лет, прежде чем его усилия по распространению современного китайского искусства оценят по достоинству. В те времена его уверенность, конечно, казалась ошибочной.

В 1997 году, когда срок службы Сигга в посольстве подходил к концу, он учредил премию в области китайского современного искусства, в жюри которой я входил в течение нескольких первых лет. Он также приглашал в Пекин кураторов влиятельных арт-фестивалей, в том числе Харальда Цимана, Ханса Ульриха Обриста и Криса Деркона. Впоследствии Циман взял две мои работы на Венецианскую биеннале 1999 года. Я приехал на место проведения выставки в самом сердце этого утонченного старинного города, где прибрежный бриз несет приятную прохладу. Но туристические достопримечательности обычно меня раздражают, и мне все быстро наскучило. В день открытия я встал перед базиликой Сан-Марко и сделал очередное фото со средним пальцем, а потом сбежал. Я знал, что, если проведу там еще хотя бы одну минуту, потеряю себя навсегда. Тогда, как и сейчас, у меня было (пусть даже инфантильное) инстинктивное неприятие

культурных авторитетов.

После смерти отца я вернулся к экспериментам с традиционными китайскими артефактами. Я арендовал здание старой типографии в деревне Лунчжаошу, на юго-восточной окраине Пекина, под «Архивы и хранилище китайского искусства». Снаружи атмосфера была далека от культуры: улицы были завалены мусором. Но внутри здания мы устроили все чудесно, и места было больше, чем в Музее изобразительных искусств Китая. Я нанял плотника, и мы вместе принялись за серию проектов, в которых была задействована старинная мебель. В одном проекте я работал с квадратным буковым столиком времен Цинской империи. Одну его половину мы прикрепили под прямым углом к другой с помощью традиционной техники шипа и гнезда, сохранив при этом патину и все остальные элементы дизайна, так что казалось, будто столик таким и был с самого начала. Мы установили его таким образом, что две ножки стояли на полу, а другие две прислонялись к стене, и он стоял себе несколько лет, не привлекая внимания редких посетителей.

Изменение функциональности мебели меняет и ее идентичность, дестабилизируя суть предмета, и я видел, как в процессе разрушения и воссоздания множатся смыслы. Я первым нашел эту золотую жилу, и мое понимание традиции придало мне решимости копать вглубь.



Взрыв (Bang), 2013 год

Часто мои плотники совершенно не понимали, что за объект они делают и для чего он предназначается, но они привыкли, что мои идеи не совпадают с их ожиданиями, и не требовали объяснений, почему что-то нужно делать тем или иным образом. Они просто брали мою идею и занимались ею. Через восемь лет, в 2004 году, когда мне выпала возможность выставить мои работы в Швейцарии, деконструкция традиционных порядков и устоев стала одной из моих главных тем.

В 2000 году друг попросил меня стать куратором выставки в арендованном им пространстве в центре Шанхая. Оно сохранилось со времен полуколониального прошлого Китая — это был бывший портовый склад 1920-х годов постройки на берегу реки Сучжоухэ. На пике глобализации Шанхай, оказавшись во власти капитала, превратился в бездумный, алчный, сумасшедший мегаполис, неспособный понять уникальный

бунтарский характер культуры. Прошло семьдесят лет с тех пор, как отец организовал художественный клуб «Весенняя земля», но современное искусство все еще считалось вредоносным и теперь столкнулось с еще более авторитарным режимом. Эта выставка должна была стать моим ответом.

Выставка Fuck Off (на китайский название было переведено как «Нежелание сотрудничать») стала продолжением идеи «Черной книги» и очередным совместным проектом с Фэн Бои. Мы пригласили более сорока художников показать свои произведения, представив подборку китайских фотографий, картин, инсталляций и перформансов 1990-х годов. После открытия выставки 4 ноября 2000 года ее провокационный характер, разумеется, не мог не вызывать раздражения властей. Как мне рассказали, один высокопоставленный чиновник пришел в такую ярость, что, размахивая нашим каталогом для пущей внушительности, кричал: «Смотрите, до чего докатилось искусство!» И действительно, принять некоторые работы было непросто: например, одна фотография изображала художника, жующего конечности человеческого зародыша. Но эти работы всего лишь отражали реальность. Китай двадцать лет проводил политику «одна семья — один ребенок», что привело к аборту по меньшей мере ста миллионов зародышей, так кто обвинит искусство в излишней прямоте?

Источником вдохновения и смелости для меня были отвращение и гнев, а еще упрямая стойкость, которую во мне взрастил Нью-Йорк, наряду с неприятием робости, присущей поколению моего отца. Теперь я не собирался сдерживаться. Я открыто заявил о своем недовольстве текущим положением вещей, утверждая своим актом неповиновения, что я ответственно занимаю позицию критика.

Название Fuck Off в некотором роде звучало как предсмертное желание, в том смысле, что самим актом демонстрации своей уникальности выставка объявляла о собственной кончине: вскоре после открытия шанхайские органы государственной безопасности закрыли ее. Экспозиция вызвала столь бурные обсуждения, что Министерство культуры сочло необходимым опубликовать уведомление: «Запрещены публичное воспроизведение или демонстрация кровавых, жестоких или непристойных образов; запрещены демонстрация человеческих гениталий, эротические перформансы и любые подобные выставки, вредные для общественных нравов». Противопоставляя себя государственной системе, проект Fuck Off, по сути, проводил эксперимент, в котором политика выступала в качестве «реди-мейда».

В классическом фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь», посвященном русской революции 1917 года, военный корабль плывет к Зимнему дворцу по покрытой льдом реке. Пока ревут пушки и революционные войска идут на штурм, во дворце раскачивается хрустальная люстра, символизируя надвигающийся крах старого порядка. Для первой триеннале в Гуанчжоу я спроектировал люстру высотой в двадцать три фута (7 м). Эта громадная геометрически правильная конструкция висела низко над полом, поддерживаемая гигантскими ржавыми лесами. Люстра и ржавчина олицетворяли сосуществование двух отдельных миров: власти и бедности.

Посвятив массу времени организации выставок и работе над книжными проектами, я с удовольствием вернулся к искусству, но мне сложно было избавиться от ощущения, что чего-то не хватает. Пройдет еще несколько лет, прежде чем я наконец найду свою идеальную платформу.

Глава 13. FAKE-дизайн

Не будь мать столь критически настроена к нашему образу жизни, мы с Лу Цин могли бы жить в ее доме бесконечно. Но ее терпение имело предел, и среди прочего ей надоели бородатые, длинноволосые художники, которые то и дело заходили в гости, при этом большинство из них были еще более неприкаянными, чем я. Я всегда мечтал найти место для постройки собственной студии и попросил помощи у Ай Даня. Он к тому моменту уже написал несколько романов, сардонически высмеивающих городскую жизнь, и теперь все свободное от дружеских попоек время он посвящал изучению древних нефритовых предметов декора. Я завидовал его коллекции древностей даже больше, чем литературному таланту.

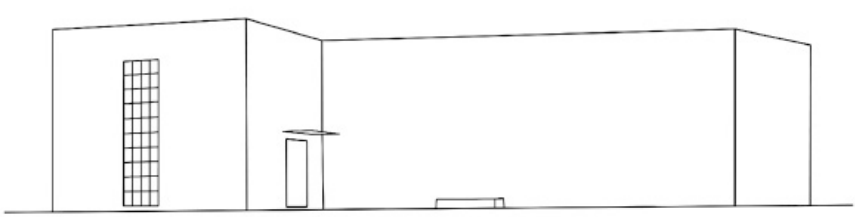
В самом сердце Пекина расположен Запретный город, а вокруг квадратной сеткой расходится современный город, и четкой диагональю, устремленной на северо-восток, выделяется на карте скоростная трасса до аэропорта. Примерно в десяти милях от центра, рядом с этой трассой, находится поселок Цаочанди; к северу от него проходит железная дорога до Улан-Батора, столицы Монголии, и когда мимо проносятся поезда, они подают звуковой сигнал. В прошлом это место служило пастбищем для императорских лошадей. В окрестностях не было ни высоток, ни торговых улиц, только старая дорога в аэропорт, которой теперь так редко пользуются, что ждать такси на ней пришлось бы слишком долго. Эта деревня привлекла мое внимание, когда мы ездили с Ай Данем по округе: она выглядела аккуратной и чистой, а близость к трассе означала, что, когда мне будет нужно навестить мать, я смогу быстро добраться до города.

Секретарь деревенской парторганизации, мужчина пятидесяти с небольшим лет, повел нас с Ай Данем осматривать заброшенный огород на окраине деревни. Земля находилась в его ведении, так что сдача участка в аренду могла приносить ему стабильный доход. Площадь участка составляла пять му — почти целый акр (0,3 га), и договор на тридцать лет обеспечил бы ему 6000 долларов в год. Чтобы скрыть истинное назначение студии, секретарь посоветовал нам назвать ее «Институтом сельскохозяйственного развития». Это был типичный руководитель низового уровня — хитрый, бессовестный и корыстолюбивый. Когда мы прощались, он посоветовал мне мыслить смелее. Я не совсем понял, что он имел в виду, вспомнив только, что в Китае несколько десятилетий был популярен лозунг «Чем смелее человек, тем плодоноснее земля».

До 1980-х годов в Китае не существовало рынка недвижимости. В его отсутствие жилая площадь на душу населения в городе в среднем составляла всего семьдесят пять квадратных футов (7 кв. м), и большая часть семей проживала в плохих условиях. В ходе экономических реформ торговля недвижимостью стала главным источником дохода муниципальных властей. Теоретически земля принадлежала всему народу, в том числе людям вроде меня, но государство просто присвоило ее себе, монополизировав рынок. За двадцать лет реформ, начавшихся в 1978 году, доходы от сдачи земельных участков в аренду выросли более чем в сто раз, а за семнадцать лет с 1999 по 2015 год доходы от недвижимости достигли 27,29 триллиона юаней.

Присвоение земельных богатств — преобладающая в Китае форма накопления капитала. Вот как это работает: сначала местное правительство принудительно выкупает право пользования землей у крестьян по низкой цене, а потом продает застройщику по высокой. Владение землей позволяет застройщикам легко получить кредит в банке, и они могут еще до начала работ начинать продавать дома на этапе проектирования. Этот трюк кого угодно привел бы в неистовый восторг: деньги появляются с такой скоростью, будто ты перекладываешь пачку из одной руки в другую. Каждый аспект китайских реформ сопряжен с мошенничеством и коррупцией, и это не единственные формы насилия.

За несколько часов я сделал набросок дизайна своей студии. В моем воображении это была коробка с острыми гранями, построенная из традиционного серого кирпича, с одним большим окном на южной стене, дверью в углу восточной стены и мощенной серым кирпичом стофутовой (30 м) дорожкой, ведущей к главным воротам, выкрашенным в бирюзовый. Рисунок был похож на детский.



Цаочанди, 258

Я стал архитектором, эта идея зародилась в моем сознании

много лет назад, когда я прочитал книгу о доме в Вене, спроектированном Людвигом Витгенштейном для своей сестры. Но у меня хватало практического опыта в изготовлении материальных объектов: в детстве я смастерил печку, кровать, корзину, тачку, так что я был не чужд архитектуры. К тому же сложные задачи всегда мотивируют меня двигаться вперед.

От отца я унаследовал лаконичность стиля: он любил простоту, и откровенное выражение эмоций вызывало у него восторг. Для меня тоже экономия имеет смысл, ведь убрать ненужное очень логично; так в детстве я выдолбил нишу в стене землянки, чтобы поставить туда то, что было необходимо, — маленькую масляную лампу, и ничего больше.

В конце февраля, когда земля начала оттаивать, строители принялись за работу и стали закладывать фундамент. Мы с Ай Данем каждый день приезжали на стройплощадку, чтобы контролировать процесс. Для сооружения студии требовалось 130 000 кирпичей, 80 тонн цемента, 7,5 тонн арматуры и 60 кубических ярдов песка. За день стены вырастали на три фута, и через несколько недель здание было возведено, а кровля — застелена до начала сезона дождей. Строили крестьяне с близлежащих холмов, и качество работы было довольно топорное. Но мой проект был настолько прост, что его сложно испортить.

Когда завершилось основное строительство, изнутри здание было абсолютно пустым, с такими же голыми кирпичными стенами, как снаружи. На тот момент, вопреки распространенному обычаю украшать дома в псевдозападном духе, я решил пренебречь внутренней отделкой помещения.

«То есть нам больше ничего не нужно делать?» — строители не верили своим ушам.

Не желая вдаваться в объяснения, я сказал, что у меня закончились деньги.

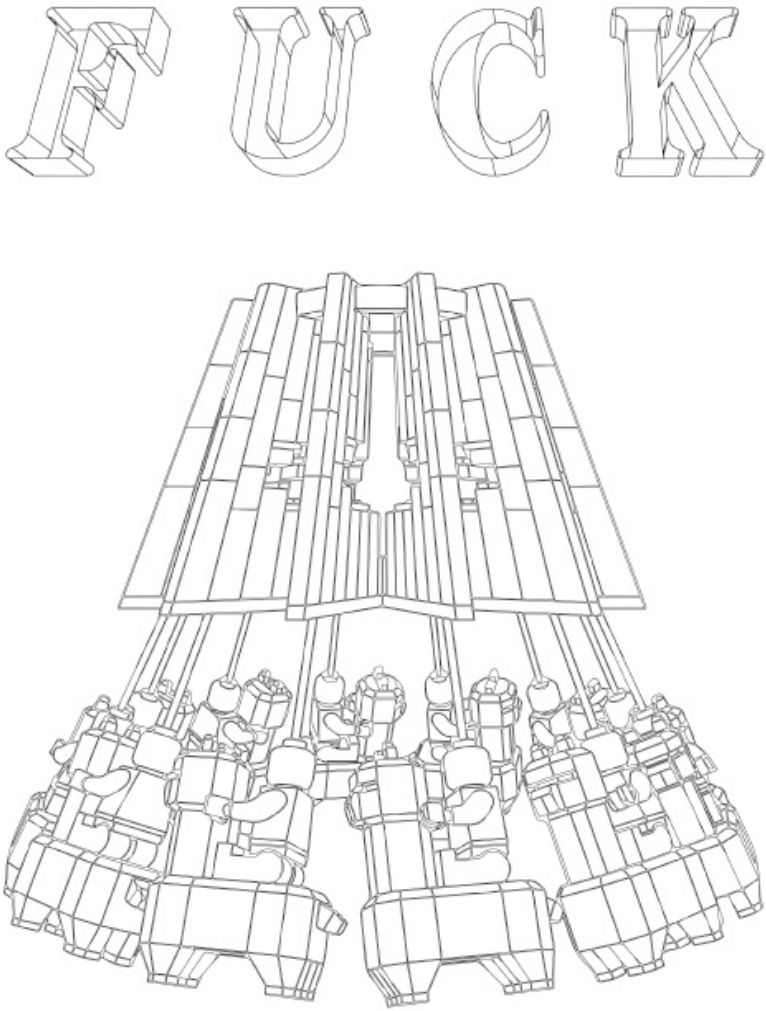
Мой проект был крамольным и во многих отношениях шел вразрез со стандартной практикой: кирпичные стены и пол сходились плотно и ровно, позволяя обойтись без карнизов или бетонной отмостки, что способствовало стилевому единству и при этом придавало зданию необычный вид. В центральном помещении не было окон, но световые люки в крыше обеспечивали равномерное освещение. На лестнице не было перил, а туалет на третьем этаже не отделялся дверью, и вся его обстановка была на виду. Свобода и открытость — не пустые слова: этот дом нарушал все принципы строительства, и в этом был его главный шарм. Здание было построено без плана, без разрешения, по собственным законам: оно выросло, как сорняк, в полном соответствии с духом свободы.

Через сто дней после начала строительства я уже въехал в студию и чувствовал себя там как дома. У меня наконец появилось собственное жилье, и я мог спокойно работать. Один японский архитектор, который приходил в гости, на прощание сказал: «В Китае больше нет архитекторов. Ай Вэйвэй — лучший».

Когда мы отправились в Министерство торговли, чтобы зарегистрировать новую компанию, мы предложили три варианта названия на китайском, и служащий формально выбрал среди них 发课. В письменном китайском эти иероглифы рядом выглядят безобидно и ничего не означают, но в транскрипционной системе пиньинь им соответствуют латинские буквы FAKE, что на английском выглядит как «фейк». Еще приятнее то, что, если произнести их по нормам китайской устной речи, то символы fākè (发课) звучат еще и очень похоже на английское слово «fuck». Как ни крути, название сразу дает понять, что принимать меня всерьез нельзя.

Своим появлением студия сделала Цаочанди центром пекинского современного искусства. В ноябре того года мы с Хансом ван Дейком и еще одним европейским другом, Фрэнком Эйттерхагеном, перенесли в Цаочанди наше арт-пространство «Архивы и хранилище китайского искусства» и проводили там по десять выставок в год, помогая многим молодым художникам начать карьеру.

Мы с Хансом заранее договорились курировать все выставки совместно. Потом я увидел, насколько он увлечен, и дал ему заниматься этим полноправно. Наши взгляды на искусство несколько расходились, так что я был рад возможности передать ему кураторские обязанности, прекрасно понимая, что, если бы этим занимался я, галерею закрыли бы уже через несколько дней.



Однажды мартовской ночью 2002 года у меня зазвонил телефон. Это был Ханс, и голос его звучал слабо. Рацион Ханса, казалось, состоял исключительно из сигарет, пива и кофе, и он часто молча сидел один во дворике, греясь на солнце. Но теперь он упал в собственном доме и не мог подняться. Уже через месяц он умер, что стало для всех неожиданностью. В лице Ханса я потерял замечательного партнера, человека, обладавшего решимостью и великолепным чувством юмора. На церемонии прощания я организовал показ более сотни поляроидных снимков, которые остались среди его вещей. Изображения на них были нежные и необычные, как и сам Ханс — такой же непостижимый и недолговечный.

Теперь я был настолько занят, что мать наконец могла больше не беспокоиться. В последующие несколько лет я выполнил почти шестьдесят архитектурных проектов, больших и маленьких, — от проекта, планирования и реставрации до ландшафтного дизайна; некоторые заказы приходили от частных лиц, а некоторые — от государственных учреждений. На тот момент мои отношения с властями пока еще не стали напряженными.

Среди заказов было несколько жилых комплексов неподалеку от моей студии, спроектированных в едином стиле, различающихся только материалом, — некоторые предполагалось возводить из серого кирпича, а другие — из красного. Время шло, и я не видел необходимости приезжать на стройплощадки, потому что все дома были настолько минималистичны, что в процессе строительства их нельзя было ни испортить, ни улучшить. В Китае мое прагматичное отношение к проектированию вызывало споры по поводу эстетики архитектуры, которую раньше по большей части игнорировали. Я исходил из предпосылки, что хотя архитектура и обращается к жизненным потребностям и понимать ее можно по-разному, так или иначе она связана с эстетическими и философскими вопросами. Время шло, и мне становилось все яснее, что политика мешает творчеству и хорошая архитектура невозможна без более свободного, более гражданственного мироощущения и демократического общества, ориентированного на науку.

Некоторое время я тратил все силы на решение практических задач, зачастую скучных; я занимался проектированием и строительством, неизбежными обсуждениями с застройщиками и исполнителями. Бесконечные проблемы, с которыми я сталкивался, были характерны для мира, в котором мы тогда жили, и к этим трудностям меня подготовили мой опыт и размышления в течение многих лет, в том числе в детстве, когда жил с отцом. Но архитектура — часть общественной жизни, где идея самовыражения немыслима. Когда смысл определяется властью, независимости мнений не существует, и все является продолжением властного дискурса.

После смерти моего отца состоялось несколько торжественных церемоний. В 2002 году муниципальное правительство Цзиньхуа пригласило меня спроектировать Парк культуры имени Ай Цина неподалеку от центра Цзиньхуа. Сначала я сомневался в том, что это подобающий способ почтить его память, но мать все же убедила меня согласиться. Она сказала, что, если я не возьмусь за проект, его исполнит кто-

нибудь другой и результат мне может не понравиться.

Посещение родных мест привело меня в уныние. В хаосе и вандализме времен «культурной революции» все старое исчезло без следа, и я не смог найти ничего похожего на пасторальные сцены из стихотворений отца. Я видел лишь скверно построенные дома и заброшенные стройки. Речки, где жили пресноводные мидии, были замусорены пластиковыми бутылками, а дороги забиты строительной техникой и мопедами, отчего ранние годы жизни отца стали казаться мне еще более не похожими на мои.

Когда я приехал в Фаньтяньцзян, где отец родился, то увидел там те самые два древних камфорных дерева. Секретарь парторганизации деревни провел меня по улицам и аллеям, объяснив, что усадьбу Цзянов со времен отца успели перестроить. Мы зашли в дом, где жила Даяньхэ, и я увидел, что ее младший сын теперь был худым, морщинистым стариком. Могила деда выглядела как холмик на одном из полей. Мне все казалось чужим, и я не чувствовал, что приехал в родные места.

Под Парк культуры имени Ай Цина выделили место на берегу реки Иу. Но для предотвращения наводнений реку направили в бетонное русло, так что не оставалось ни природного ландшафта, ни прогулочной зоны. Когда я подчеркнул важность доступной среды для успеха всего проекта, город согласился включить в проект и второй берег. Главная площадка тянулась целую милю вдоль южного берега. Мой проект включал в себя комплекс из тридцати шести колонн, образующих подобие лабиринта на ровной площади, а также спускающиеся к воде ступени, расположенные под углом и тоже сделанные из добываемого неподалеку камня. Таким сочетанием воды и камня я хотел напомнить строки одного из отцовских стихотворений:

> Волна, за ней другая
> без устали кидаются на риф.
> …
> Но камень — стоит как прежде,
> глядя на море с улыбкой…[38]

Однажды в октябре 2002 года мне позвонил Ули Сигг и сказал, что одно швейцарское архитектурное бюро пригласили поучаствовать в конкурсе проектов стадиона для Олимпиады в Пекине. Команда Herzog & de Meuron искала китайского партнера, и Сигг порекомендовал меня. Я мало что знал об этих архитекторах, но сразу согласился, так как был убежден, что нет ничего невозможного.

К наступлению Китайского нового, 2003, года в стране

бушевала эпидемия атипичной пневмонии, и настроения у людей были панические. В день, когда я вылетал на встречу с Жаком Херцогом и Пьером де Мёроном, в международном аэропорту Пекина почти никого не было, и самолет практически пустовал. В Базеле Херцогу посоветовали изолировать меня в стеклянном кубе, чтобы не подхватить вирус, носителем которого я мог быть.

Первый случай атипичной пневмонии зарегистрировали на юге Китая в конце 2002 года. Потом ею заразились медицинские работники, и эпидемия стала быстро распространяться по стране, как в фильме ужасов. Дальнейшие события напоминали любую другую катастрофу в Китае: государство запрещало публикацию точных сведений, а чиновники Министерства здравоохранения по телевизору заявляли, что эпидемия под контролем, и Всемирная организация здравоохранения исключила Пекин из списка зараженных зон. А затем 8 апреля 2003 года один военный врач рассказал иностранным СМИ о действительном масштабе эпидемии: только в его больнице было шестьдесят таких пациентов, и шестеро умерло. Большую часть 2003 года загадочная эпидемия мерилась силами с режимом секретности, практически парализовав Пекин и усугубив подозрительность и враждебность людей. Семнадцать лет спустя эпидемия COVID-19 в Ухане развивалась по аналогичному сценарию.

Иностранным архитектурным бюро требовалась помощь в понимании незнакомой китайской культуры и политики, как опытным альпинистам на сложных участках нужны надежные опорные точки. «Как ты представляешь себе мою роль?» — спросил я Сигга, пока он вез меня в базельский офис Herzog & de Meuron. Он сказал, что в бюро проделали некоторую подготовительную работу и теперь хотели услышать мои оценки. Это все упрощало, мне всегда легко сформулировать свое мнение и теперь я мог свободно его выражать.

В офисе работало более восьмидесяти архитекторов. Пока мы проходили большие и маленькие комнаты, повсюду нас окружали чертежи и модели. Мы вошли в переговорную, где уже были Херцог, де Мёрон и несколько их коллег, и вскоре подключились к обсуждению самых разных тем: от политических и культурных до вопросов функциональности и окружающей среды, а также конструктивных решений, внешнего вида и технических характеристик вроде механизма раздвижной крыши.

Ранние стадии разработки концепции напоминают часы, предшествующие рождению ребенка: все очень заботливы, но напряжены, все хотят помочь, но ждут подходящего момента. Впрочем, чем больше мы говорили, тем больше все склонялись к тому, что необходимо добиться единства структуры и внешнего

вида, придумав смелое и яркое решение. Вскоре мы принялись делать карандашные наброски или соединять сделанные с помощью бумаги и ножниц элементы чернового макета, и все совершенно забыли об атипичной пневмонии. Сигг просто сидел на своем месте, не говоря ни слова.

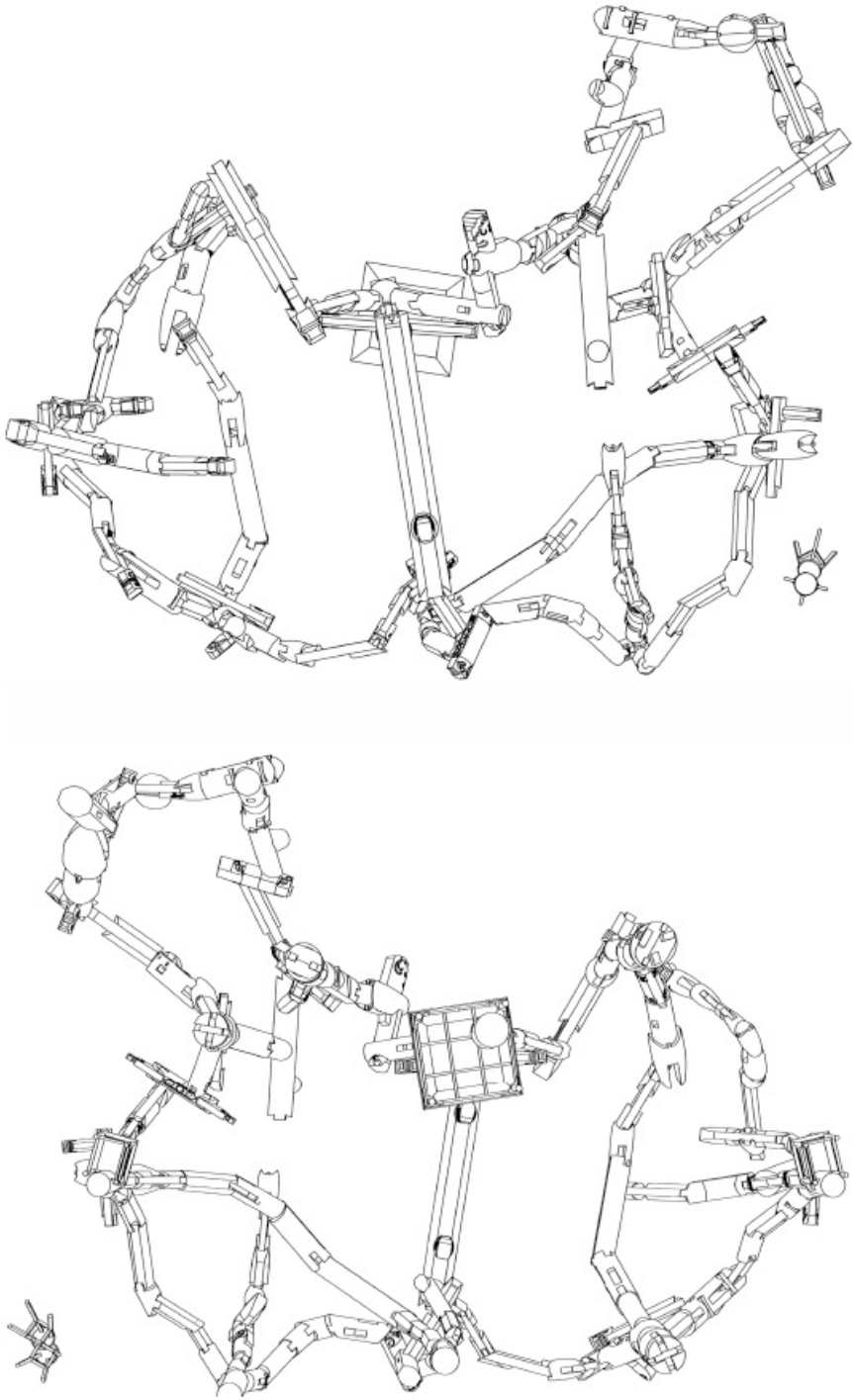
Мы придумали стадион высотой в 230 футов (70 м) и длиной 1080 футов (329 м), так что последняя существенно превышала ширину протекающего за окном Рейна. Подобно птичьему гнезду, стадион снаружи и его структура должны были функционировать как единое целое, и его открытый сетчатый каркас должен был создавать ощущение легкости и воздушности, несмотря на огромный вес и размер. После десяти часов горячих обсуждений концепция обрела ясность и целостность.

На встрече следующим утром Херцог обратился ко мне. «Знаете что, Вэйвэй? — сказал он. — С таким проектом мы обязательно победим». Он считал, что большинство проектов на конкурсе будут повторять друг друга, а наша идея выделялась и с точки зрения концепции, и с точки зрения формы. В тот день, когда мой самолет пробирался через густые облака на крейсерскую высоту, я ощутил душевный подъем, который не покидал меня всю дорогу до Пекина. Я гордился, что у нас получился целостный, смелый проект; здание, обладающее смысловым единством, и его гармония и открытость были сообразны политическим институтам, о появлении которых в Китае я мечтал. Пекин получил возможность показать себя миру, а Олимпийским играм суждено было открыть на всеобщее обозрение некогда загадочное и закрытое общество. Я надеялся, что стадион станет отражением универсальных ценностей и послужит началом перехода к открытости и пониманию. Через три месяца мы получили контракт.

В октябре 2003 года меня пригласили вести занятия на архитектурном факультете Университета Цинхуа. Я взял в аренду автобус и обучал своих шестнадцать студентов прямо в пути, так как не мог придумать лучшего способа исследовать быстро меняющуюся столицу Китая. Я установил видеокамеру на переднее сиденье, и за те шестнадцать дней, что мы ездили по Пекину, заснял каждую улицу и переулок на нашем маршруте, так что сто пятьдесят часов записи запечатлели, как Пекин выглядел перед Олимпиадой. Этот тысячелетний город уже был изрядно разрушен за первые пятьдесят лет КНР, и от исторических зданий, которые еще стояли в 1949 году, осталось меньше четверти. От более чем трех тысяч переулков, когда-то пересекавших жилые кварталы, сохранилось всего четыреста.

Зимой 2004 года мой помощник Чжао Чжао помог мне завершить съемку «Проспекта Чанъаньцзе» (Chang'an Boulevard) — документального фильма о самой важной оси Пекина, проходящей с востока на запад. Каждые пятьдесят ярдов (45 м) по всей длине проспекта — двадцать семь миль (43 км) — мы снимали одноминутное видео, а когда собрали их вместе, получился фильм, который длился десять часов тринадцать минут. После этого мы сделали еще два фильма на эту тему — «Пекин: второе кольцо» и «Пекин: третье кольцо», получив таким образом документальную трилогию, отслеживающую изменения городской среды, связанные с бурным ростом государственного капитализма.

Тем временем при строительстве «Птичьего гнезда» возникло множество проблем, и противостояние консервативных сил чуть не положило конец всему проекту. Несколько китайских академиков архитектуры написали письмо в ЦК. Они обличали дизайн стадиона в том, что это «колониальная архитектура», и заявляли, что Китай становится «испытательным полигоном для западных проектов», предупреждая, что строение предусматривает «чрезмерное количество стали» и «представляет угрозу». На некоторое время под напором критики возведение стадиона приостановилось. Год спустя, когда работы возобновились, в проекте уже не было раздвижной крыши, и идея «высокотехнологичной Олимпиады» уступила место скаредной Олимпиаде. Если бы не сроки постройки стадиона, который должен быть готов к началу Игр, проект, скорее всего, оказался бы на полке.



Фрагменты (Fragments), 2005 год

Практический опыт архитектора углубил мое понимание градоустройства, но при этом я острее осознал, что наше правительство не заслуживает доверия и некомпетентно в вопросах эстетики. Ай Дань часто советовал мне не слишком увлекаться своими проектами, и теперь, в свете истории с «Птичьим гнездом», я не желал больше тратить время на архитектуру.

Глава 14. Сказка

В Китае интернет появился впервые в 1994 году в форме технологии ISDN (Integrated Services Digital Network — цифровая сеть комплексного обслуживания), работавшей со скоростью 64 килобит в секунду. Десять лет спустя в Китае уже было одиннадцать миллионов пользователей Сети, что составляло более десяти процентов всех «жителей интернета» в мир_е. Я долгое время использовал интернет преимущественно для обмена краткими электронными письмами и не исследовал другие возможности. Но в конце 2005 года я написал первый пост для блога, медленно набрав на клавиатуре: «Для самовыражения нужна причина, но самовыражение и является причиной». Тогда ни я, ни китайские интернет-цензоры не могли предвидеть перевоплощения, которое со мной произойдет в результате этого поступка. Со скоростью пули я проник в поле зрения публики.

Это был жанр, который для моего отца был просто невообразим. Для публикации его работ требовалось время, и блюстители порядка могли в любой момент ограничить ему доступ к китайской аудитории. В самые первые годы этого века онлайн-литература не подвергалась таким ограничениям. Она была интуитивной, быстрой и щекотала нервы. Писать в интернете — совсем не то, что писать романы, как Ай Дань, ведь здесь не нужно создавать полностью воображаемый физический и духовный мир.

Ведение блога привлекало меня тем, что давало возможность говорить об общественных проблемах и неурядицах. Теперь каждое утро я первым делом включал компьютер. Количество посетителей и читательских комментариев в моем блоге росло так быстро, как если бы посеянные мной семена всходили и давали богатый урожай уже на следующий день. Ведение блога невероятно расширяло мои горизонты, потому что, когда я отвечал одному читателю, другой человек, которого я не знал и никогда бы не встретил, мог тоже прочитать и высказаться. Прямое, искреннее общение с другими перестало быть фантазией — и оно казалось таким же настоящим, как и изъявления любви. Я упивался бесконечными возможностями носить самые разные цифровые личины, а также разрозненными, непоследовательными, мимолетными эмоциями и взаимодействиями, которые дарил интернет. Каждый напечатанный мной знак был символом нового типа свободы. Допуская альтернативные высказывания, интернет ослаблял авторитарный режим, сметая препятствия, которые власть

пыталась воздвигнуть на пути человека.

Свобода, несомненно, вдохновляет самовыражение, и вскоре мои читатели понимали меня даже лучше, чем семья. В интернете социальное принуждение сводится к нулю, и индивид приобретает своего рода невесомость, более не подчиняясь властям. Общественное мнение может формироваться под влиянием общих устремлений и ожиданий, подчас кто-то может заметить признаки назревающей революции, в то время как понимание простыми людьми социальных реалий меняется в корне, преодолевая ограничения времени и пространства, распространяясь повсюду видимым и невидимым образом, так же естественно, как воздух, которым мы дышим.

Гражданское общество нетерпимо к авторитарному режиму, и, следовательно, в глазах наших правителей это нечто пугающее. Соответственно, китайские власти пытаются уничтожить личное пространство, подавить свободу слова и исказить нашу память. Уже в сентябре 2003 года Китай запустил проект «Золотой щит» — программу Министерства общественной безопасности по сбору информации, использующую для надзора за интернетом такие инструменты, как распознавание речи, автоматическая прослушка, удаленный контроль и распознавание лиц. Со временем программа стала также отслеживать, прерывать, менять настройки и цензурировать интернет-активность частных лиц, а также перехватывать телефонные звонки, передачу данных по блютусу и беспроводной связи. Стали также применяться программы-фильтры, позволяющие напрямую вторгаться на рабочие столы пользователей и в их файлы, а компании-разработчики должны были предоставлять доступ к переписке в соцсетях и к отсканированным документам.

Таким образом, свобода слова в интернете подвергалась множеству ограничений, но люди от этого стали еще яростнее сопротивляться надзору. Власти не могут присутствовать везде одновременно, как солнце не может иссушить каждую каплю воды. Я видел страх в глазах своих противников, а на горизонте мне грезился прекрасный мир свободы слова.

Трудно измерить влияние, которое на меня оказал интернет, — знаю только, что я был как медуза, а интернет стал моим океаном. Больше я не воспринимал жизнь как поток, тянущий меня в одном направлении, скорее как последовательность бесконечных мгновений и стечения обстоятельств, которые я мог по желанию воплощать в посты с фотографиями или видео, в выражение чувств или вздох разочарования, в написанные строки, в сигналы, посылаемые по оптоволокну. Каждая секунда была отдельным миром,

непредсказуемым и неповторимым, опровергающим традиционные смыслы и цели. Это скорее придавало мне сил, чем подрывало их, и при всей тирании, желающей лишить нас наследия и памяти, появился новый способ рассказывать наши истории.

Нога-пистолет (Leg Gun), 2014 год

Я не терял времени и исследовал этот новый инструмент — и вскоре стал проводить то восемь, то двенадцать, а иногда и

двадцать четыре часа в сутки за общением онлайн. В 2003 году в Гуанчжоу был задержан студент Сунь Чжиган, не имевший при себе удостоверения личности, позже он погиб в СИЗО от побоев. Система внесудебных задержаний существовала в Китае уже много лет, эта практика сопровождалась насилием и часто приводила к смертельным исходам, как в описанном случае. Смерть Суня вызвала такой шквал критики исправительных учреждений, что государство приняло меры по устранению так называемой системы задержания и водворения на место жительства.

Через три года после смерти Суня очередное происшествие вызвало новую волну обсуждения темы социальной справедливости в интернете. В мае 2006 года в Гуанчжоу был украден ноутбук Чжун Наньшаня, публично выступающего по вопросам медицины. Чжун был настолько возмущен, что стал приводить доводы в пользу восстановления системы арестов: «Когда мы создаем правовую систему, чьи интересы мы должны учитывать в первую очередь? Мы должны сделать так, чтобы система действовала в интересах хороших людей, а не плохих, — потворствовать врагу означает быть жестоким к народу».

Выступив с критикой этого ложного аргумента, я возобновил дискуссию по поводу системы содержания заключенных. Интеллектуалы вроде Чжуна защищали эту бесчеловечную систему, не в первый раз отвергая принципы и принимая сторону власти. Я спросил в своем блоге: «Если общество отрицает факты и скрывает ошибки, разве у него есть шанс стать лучше? На каком фундаменте мы сегодня строим политическую жизнь?» Эти слова прочитали и перепостили сотни тысяч раз за первые же часы, и я понял, что затронул болезненный вопрос. Тогда я еще не знал, что в 2020 году Чжун Наньшань окажется замешан в очередном скандале, когда его обвинят в сокрытии эпидемии COVID-19 в Ухане.

Меня волновало также то, какой ценой достается человеку экономический рост. В дельте реки Чжуцзян в провинции Гуандун на тот момент было сосредоточено больше всего промышленных предприятий в мире, где каждый год более сорока тысяч рабочих в результате несчастных случаев теряли пальцы; в целом в стране из-за производственных травм ежегодно погибало пятнадцать тысяч человек. Китай тридцать лет мечтал разбогатеть, но рост благосостояния дорого обошелся в плане физического и душевного здоровья людей. Для выполнения простого и монотонного ручного труда на фабрики Гуандуна нанимали огромное количество мигрантов, а когда темпы международной торговли сокращались и производство несло убытки, этих

работников выбрасывали на улицу, никак не компенсируя им внезапное увольнение.

«Кто за последние тридцать лет, — спрашивал я, — бешено разбогател? Откуда взялось это богатство? Когда у рабочих будут профсоюзы и социальное обеспечение для защиты их личных прав? Когда стране станет стыдно за всех этих калек? Когда правительство станет возмещать ущерб из-за безответственности руководителей? Когда общество перестанет превозносить роскошь и показное потребление и будет выступать за справедливость и правосудие?»

Мой блог стал виртуальным полем битвы, и обе стороны яростно выдвигали аргументы. Я сидел на своем табурете, а на экране передо мной светились жесткие, бескомпромиссные слова. Казалось, что мой блог пробудил людей от оцепенения и безразличия, и в этом всепоглощающем цифровом пространстве стирались границы между жизнью и самовыражением.

В то же время я извлекал максимальную пользу из другого своего любимого средства коммуникации — фотографии. За эти годы я сделал, должно быть, сотни тысяч фотографий, запечатлевая увиденное в двух измерениях. Затем благодаря цифровому программированию эти обрывки информации становились достоверными фрагментами, из которых складывался отдельный мир.

Все три года, предшествовавших пекинской Олимпиаде в 2008 году, я делал фото- и видеосъемки строительства стадиона «Птичье гнездо» и гигантского третьего терминала пекинского аэропорта Шоуду. Каждые несколько дней мой помощник Чжао Чжао садился в машину Ай Даня с прикрепленным на лобовое стекло журналистским удостоверением, позаимствованным у другого человека, и ездил по стройплощадкам, документируя процесс. Причина моего интереса была проста: если я не сделаю этих записей, их никто не сделает, и тогда люди увидят только итоговый результат, а не весь предшествующий ему труд. Простое визуальное свидетельство становится частью людской памяти, и она продолжается, несмотря на попытки подавить ее. Я вознамерился создать надежное подтверждение того, насколько тяжел труд рабочих-мигрантов, которые надрывались на строительстве этих знаковых сооружений.

Я фиксировал и развалины — непрерывные потрясения и разрушения, сопровождающие процесс урбанизации. Красота казалась бессильной перед лицом этой уродливой действительности. Сносить существующие здания стали в ранние 1950-е, но полная трансформация старого города набрала обороты только в 1990-х годах, когда бурный экономический рост

подстегнул урбанизацию. Поскольку основные доходы государство получало от сделок с недвижимостью, вскоре город стал повсеместно поглощать сельскохозяйственные угодья. Я начал воспринимать свои записи как личную ответственность не только художника, но и гражданина.

В преддверии пекинской Олимпиады знаменитые западные гости из художественной среды обычно хотели включить в свой маршрут посещение моей студии, и в какой-то момент стало казаться, что я для них — не меньшая достопримечательность, чем Великая Китайская стена или терракотовая армия[39]. Хотя я охотно принимал таких гостей, инициатором этих посиделок не был, так как слишком хорошо понимал, какая пропасть разделяет нас в смысле жизненного опыта и наших взглядов.

Никогда я не ощущал эту пропасть так явно, как в чудесный весенний день 23 мая 2006 года, когда на улице у моей студии остановились два автобуса. Международная команда консультантов, нанятых нью-йоркским Музеем современного искусства МоМА, состояла более чем из семидесяти коллекционеров, попечителей музея и попечителей фонда, которые приехали в Китай оценивать современное искусство, и я был остановкой на их маршруте. Элегантные гости оживленно болтали и разгуливали на лужайке. А их непрошеный визит с разных сторон снимало несколько скрытых камер, установленных в углу двора. Тот случай показал мне, что в культурном отношении Китай стал теперь частью мировой сцены и достаточно открыть объятия западным державам, как это станет поветрием.

Глава делегации стоял на солнце и говорил, что ясный день — особый знак, намекая на то, что искусство в Китае теперь попадает в поле зрения международного сообщества. Так совпало, что как раз в этот день шестьдесят четыре года назад сто других писателей и художников, в том числе и мой отец, собрались послушать заключительную речь Мао Цзэдуна на Яньаньском совещании по вопросам литературы и искусства, в которой тот подчеркивал, что главная задача литературы и искусства — служить крестьянам и солдатам. Тем самым он объявил ужесточение контроля над художественными произведениями на подконтрольной коммунистам территории. С тех пор литературу и искусство низвели до дешевого, прикладного инструмента пропаганды, и даже теперь перспективы были не слишком радужные. И вот теперь, в XXI веке, «иностранные веяния» снова беспардонно проникали в Китай, только уже не в форме марксизма, а как часть нового раунда культурного империализма

и капиталистического присвоения.

Коллекция МоМА, основанного в 1929 году, содержит более 100 000 произведений и является крупнейшим на Западе собранием современного искусства; в эпоху глобализации и информационных технологий связь с Пекином в преддверии Олимпиады упрощалась. И теперь руководство МоМА сочло, что настал момент обратить на Китай более пристальное внимание. Раньше туристов в Цаочанди практически не бывало; если кто-то входил или выходил из скромных деревенских домиков, то это были трудовые мигранты, переехавшие сюда в поисках работы в столице.

Однажды, находясь в Нью-Йорке, я написал: «Если кто-то придет в МоМа и не испытает приступ стыда, у него либо проблемы с художественным чутьем, либо он законченный прохвост. Все, что здесь можно увидеть, — это предрассудки, снобизм и гордыня». Тогда я был молод и полон самомнения, но и через двадцать лет, когда в Цаочанди явилась делегация из МоМА, самоупоение и чванство этого музея у меня по-прежнему вызывало отторжение. Да, искусство нуждается в признании, но не в форме коллекционирования дорогих произведений, которые отправляют пылиться в хранилище МоМА, — это все равно что выбросить их. Для меня искусство заключается в динамичных отношениях с действительностью, с нашим образом жизни и восприятием жизни, и их нельзя разложить по отдельным полочкам. Меня совершенно не интересует искусство, которое пытается отстраниться от реальности.

Круг вопросов, которые я обсуждал в интернете, неуклонно ширился, но я рассматривал свой блог как способ сделать общество более справедливым и человечным. Все чаще меня считали первым, к кому стоит обращаться за поддержкой в случае несправедливости или нарушения закона. Ранним утром 11 февраля 2007 года я получил срочное сообщение от волонтера Тяньцзинской ассоциации защиты мелких животных. Группе удалось перехватить в пункте взимания платы за дорогу грузовик, в котором везли от четырехсот до пятисот кошек. (Есть такое знаменитое блюдо кантонской кухни — жаркое из мяса кошки и змеи под названием «Схватка дракона с тигром»). Я поспешил на помощь этим юношам, увидев в них милосердие и благородство, которых так часто не хватает старшему поколению.

К моменту моего приезда кошкам уже нашли временный приют в здании склада на окраине Пекина. Снаружи стояли ряды железных клеток, в каждой из которых везли по двадцать животных, и когда я вошел в здание, то был шокирован увиденным: испуганные кошки теснились по углам, на стропилах

и везде, где могли приютиться. Некоторые из них получили травмы по время поимки и перевозки, и все они страдали от голода и обезвоживания.

В условиях китайских политических репрессий легко потерять способность к эмпатии и в итоге причинять другим боль. Вот почему я снял документальный фильм «Сань Хуа» (San Hua) об индустрии, связанной с употреблением и торговлей кошачьим мясом, и о программах защиты кошек от насилия. Я выложил этот фильм в интернет, надеясь вызвать открытую дискуссию, необходимую для действенной реакции на невежество и черствость.

Я договорился взять сорок бездомных кошек, надеясь загладить вину людей за причиненные им страдания. В Цаочанди десятки из них нашли свой дом. В каждой кошке было свое очарование: Сань Хуа с особой грацией прохаживалась по лужайке, а Лайлай растягивалась на моем рабочем столе, рядом с клавиатурой, и блаженно дремала, пока журналисты осыпали меня вопросами.

В августе 2006 года я приехал в Кассель, немецкий город, где проходила выставка «Документа» (Documenta) — важнейшее событие в мире современного искусства, которое проводится каждые пять лет. До начала двенадцатой по счету выставки оставалось десять месяцев, и меня пригласили принять в ней участие. Осмотрев павильон, я поехал на север Швейцарии, где мы с Сиггом отправились на прогулку. Горы там не очень высокие, но мы время от времени устраивали привал, чтобы отдохнуть или перекусить колбасой и бананами, которые Сигг захватил с собой. Я вертел в голове возможные концепции для выставки, но ничего не мог придумать и не знал, что делать. Я знал лишь одно — что не хочу полагаться на клише и упускать такую возможность.

Эскиз к «Шань хай цзину» (Study of Shanhaijing)

По обеим сторонам тропинки росли голубые цветочки, и, когда мы остановились отдышаться, мимо нас прошло несколько семей: дети сидели на плечах у отцов, а жены помогали идти пожилым — по их одежде и языку было понятно, что это не местные швейцарцы, а приезжие итальянцы.

Вид этих иностранных туристов глубоко тронул меня. В начале 1980-х годов у китайцев практически не было возможности ездить за границу. Но когда я был в Нью-Йорке, приезжавшие туда китайцы заходили ко мне в гости, и их манера одеваться и вести себя выдавала их. Среднестатистический китаец не приспособлен к дальним путешествиям: если он осмеливается удалиться от дома, то ощущает себя одиноким, словно долька чеснока, вынутая из головки. Когда китайцы оказываются за границей, больше всего они любят собираться вместе с теми, кого знают, — даже общение с неприятными людьми для них лучше, чем самостоятельность! Это чувство незащищенности, которое они испытывают в одиночестве, объясняется отсутствием базовых гарантий в китайском обществе: в Китае семейные узы и привязанности — это то, на что можно рассчитывать, когда нужна защита. Так что, покидая дом, вы чувствуете себя не в своей тарелке и всюду ищете поддержки.

Так ко мне пришла идея вывезти группу предрасположенных к тревоге китайцев в заграничную поездку. Чем больше я об этом думал, тем яснее становилась концепция. Я хотел привлечь к проекту смелых участников, которые смогут преодолеть неуверенность, внушенную им политической и культурной жизнью в Китае, и помочь им понять, что им необязательно испытывать дискомфорт, когда они оказываются вдали от дома. Поездка в Германию побудит их исследовать мир, который они там увидят, а внимательное изучение требует усилий, ведь нужно отделить себя от собственной культурной системы и государственного строя — и получится, как я надеялся, социальное действие в уменьшенном масштабе.

Этот проект должен был связать две, казалось бы, никак не связанные данности — «Документу» в Касселе и 1001 туриста из Китая. Тысяча — достаточно большое количество, чтобы создать ощущение толпы, в то время как один представляет отдельную личность. Я поделился идеей с Сиггом, ожидая, что он скажет. Он вежливо поддержал меня, и я понял, что, какой бы дурацкой ему ни казалась моя идея, он отнюдь не мечтает охладить мой пыл.

Наверное, неслучайно эта идея пришла мне в голову на высоте семи тысяч футов, где воздух более разреженный. Голова шла кругом, той ночью я был настолько взбудоражен, что не мог заснуть. Мне рисовалась грандиозная картина: проект станет физическим воплощением отношений между Китаем и остальным миром. Но какую именно форму примет эта затея, можно было узнать лишь в процессе исполнения.

Концепция получила одобрение команды кураторов, семейной пары — Роджера Бюргеля и Рут Ноак, а один мой друг

связал меня с двумя частными швейцарскими фондами, которые согласились предоставить финансирование. Самым подходящим названием для проекта казалось «Сказка» (Fairytale), поскольку Кассель известен как город, в котором долгое время жили братья Гримм.

Помимо денежных вопросов была задача и посложнее — получить немецкие визы для 1001 китайского гражданина. Чтобы подстраховаться, Сигг поехал со мной на встречу с послом Фолькером Станцелем в посольстве Германии в Пекине. Тот внимательно выслушал меня, пока я излагал свое видение проекта и объяснял, в чем проблема. К моему облегчению, посол пообещал полную поддержку: он лично проследит за тем, чтобы каждый обратившийся за визой получил ее. И все же я не переставал волноваться, учитывая, что при обычных обстоятельствах многих из потенциальных визитеров сочли бы финансово несостоятельными для получения визы и, если бы кто-то из них задержался в стране после положенного срока, это привело бы к дипломатическому скандалу. И все же, выходя из посольства, я чувствовал себя счастливчиком, и все мои мысли уже были о предстоящем пути.

Двадцать шестого февраля 2007 года я официально объявил о проекте «Сказка» в блоге, чтобы набрать участников. Мне нужно было донести до моих будущих попутчиков мысль, что они, по сути, будут инструментами в моей работе. Но важнее всего было убедить их, что это серьезное мероприятие, а не какое-то интернет-мошенничество. Я сомневался, смогу ли завоевать их доверие, так как мне было трудно объяснить цель мероприятия — ведь она прояснится лишь в процессе путешествия, поездки туда, где никто из нас не бывал. Вот что я в итоге опубликовал:

Сказка-2007:

Путешествие в Кассель

1001 китаец

«Сказка» — проект художника Ай Вэйвэя, который должен быть представлен на двенадцатой выставке «Документа» в Касселе. Ай Вэйвэй в сопровождении 1001 китайца приедет в город Кассель в центральной Германии; путешествие в Кассель 1001 китайца —

основной элемент проекта.

Даты мероприятия: с 12 июня по 14 июля 2007 года.

Организатор отвечает за организацию отъезда и приезда группы.

Процедура: организатор предоставит документы для подачи заявки до 1 марта 2007 года и до 1 апреля 2007 года рассмотрит заявки и выберет участников. После получения уведомления участники должны до 1 апреля прислать организатору свои паспорта и копии удостоверения личности. К 1 мая организатор начнет процесс оформления виз, и все участники в назначенное время встретятся в определенном месте для отъезда в Германию.

За три дня я получил более трех тысяч заявок, и вскоре, чтобы справиться с таким количеством, пришлось объявить, что новые больше не принимаются. Я скрупулезно составил анкету для добровольцев, которая состояла из 99 вопросов, в том числе таких: «Вы когда-нибудь посещали Германию?», «Что вы хотели бы рассказать Западу?», «Что такое сказка?», «Может ли искусство изменить мир?» и «Верите ли вы в эволюцию?» Я хотел выяснить, что за люди подали заявки, и при этом обязательно дать им понять, что настроен серьезно, поэтому вопросы касались их планов на будущее, мыслей по поводу собственных жизненных обстоятельств и отношения к родной культуре.

В 2007 году интернетом в Китае пользовались в основном только в больших городах, так что я попросил друзей, выходцев из сельской местности, рассказать своим тамошним знакомым, которые могли бы захотеть поучаствовать, но иначе не узнали бы о такой возможности. Это помогало разнообразить состав группы, чтобы в ней были не только разбирающиеся в современных технологиях горожане из Пекина и Шанхая, которые заваливали меня своими заявками. Один крестьянин с северо-запада Китая на все вопросы дал один и тот же ответ: «Я не знаю». И все же в конце анкеты он поставил подпись, подтверждающую интерес к участию в проекте.

Читая краткие дежурные ответы кандидатов, я чувствовал, как их страсть и энергия заполняют виртуальное пространство. При отправке приглашения я добавил комментарий: «Сам факт, что вы написали мне, уже означает: в вашей жизни произошло чудо, так как теперь вы смотрите на мир другими глазами и обрели новое мировоззрение». Для этих людей столкновение с незнакомым и неведомым миром должно было стать органичной

частью проекта. Приехавшие из всех провинций Китая, крупнейших городов и автономных регионов (кроме Тайваня и Тибета) кандидаты тронули меня своим рвением. Один крестьянин с северо-запада поведал, что почти все жители их маленькой деревеньки, в которой было двадцать с чем-то домов, захотели поехать в Германию, а единственный, кто решил не подавать заявку, просто не мог оставить своих свиней и быка на такое долгое время.

В еще более отдаленной деревне на юго-западе Китая журналистка и певица У Хунфэй поделилась новостью о проекте со своими родственницами — женщинами народности дун, которые ни разу в жизни не были за пределами гор Гуанси, где родились и где годовой доход крестьянина составлял лишь 100 долларов США. В их родном языке не существовало таких слов, как «художник» и «сказка», так что для них путешествие в Германию было идеей столь же невероятной, как полет на Луну. У Хунфэй сказала мне, что даже не знала, как описать женщинам то место, куда им предлагалось поехать, и все, что она могла сообщить, — это: «Германия такая же чудесная, как Тяньаньмэнь». О Тяньаньмэнь, по крайней мере, они слышали.

Чтобы сделать фото и подать заявление на получение паспорта, женщинам пришлось два раза выбираться в уездный город, и бюрократические процедуры внесли головокружительные сложности в их спокойную жизнь. Эти женщины благополучно жили уже шестой десяток лет, не имея собственных имен, — выходя замуж, они брали фамилии мужей, а по месту жительства у каждой значилось что-то вроде «мать такого-то». Теперь им нужно было предоставить точные личные данные, и для получения паспорта пришлось быстро придумать себе имена. Одна решила назваться Унай Баочжэн: У — фамилия мужа, Баочжэн — имя их старшего сына, а «най» на языке дун значит «мать».

Среди кандидатов были люди самых разных профессий, в том числе владельцы баров, поэты, художники, учителя, студенты, певцы, писатели, торговцы чаем, инспекторы по технике безопасности, безработные мигранты и крестьяне, только приехавшие из горных сел. Изучив все анкеты и дополнительную информацию, мы отобрали больше тысячи добровольцев в возрасте от двух до семидесяти лет.

«Сказка» — не такое произведение искусства, которое можно повесить на стену или выставить на постаменте. Став частью моей жизни и моего сознания, она была живым организмом, постоянно меняясь в процессе воплощения желаний отдельных людей в практику общественных идеалов; и, будучи социальным

движением в миниатюре, проект должен был оказать долгосрочное влияние на жизнь каждого участника. Для меня «Сказка» обрела способ и форму выражения в социологическом смысле: содержанием этой работы должно было стать, казалось бы, никак не связанное с современным искусством индивидуальное сознание представителей народных масс Китая. Когда меня спросили, что я хочу показать зрителю, я ответил, что не ставил такой задачи: моя цель — вообще ничего не показывать.

Пока мы готовились к подаче документов на визы, мой стол обрастал горой паспортов. Я собрал команду студентов и волонтеров, и мы разделили 1001 участника на пять групп, примерно по двести человек, чтобы для всех купить билеты и страховку. С некоторым интервалом в период с 10 июня по 11 июля 2007 года каждая группа отправлялась в Германию на самолетах Lufthansa или Air China из Пекина или Шанхая во Франкфурт или в Мюнхен, где их пересаживали на автобусы, которые везли группы в Кассель на неделю.

Я нашел пустующий склад на территории Университета Касселя. Там мы возвели несколько симпатичных временных павильонов для гостей, построили кухню и туалет. Чтобы оснастить помещения, мы в десяти сорокафутовых контейнерах[40] отправили туда воки, миски, лопатки, тарелки, мультиварки, пароварки и прочую кухонную утварь, а также походные кровати, простыни и одеяла. Оберегая участников от чрезмерного культурного шока, каждый день четыре наших повара готовили блюда китайской кухни на завтрак, обед и ужин, ведь стоит попасть в желудок китайца еде, которая ему не понравится, как тот начинает скучать по дому. При этом мы обязательно предлагали и характерные немецкие блюда, например сосиски или свиную рульку.

Огромный объем административной работы — паспорта, визы, страховки, билеты на самолет — чуть не свел меня с ума, и я едва не забыл, что занимаюсь проектом для художественной выставки. Моя роль в этом процессе напоминала работу менеджера или гида, имеющего дело с логистикой, связями с общественностью, СМИ, обеспечением безопасности и прочими административными задачами. В то же время я старался минимизировать свою роль в принятии решений по вопросам эстетики, что, как я надеялся, поможет более интенсивно развивать проект в разных направлениях и позволит «Сказке» избежать излишней искусственности и замшелых клише.

Еще одним элементом «Сказки» стала инсталляция из 1001 стула эпохи Цин — стационарный, но не менее значимый с точки зрения культуры и памяти эквивалент 1001 гостя. Стулья всем

нам знакомы не только как предметы мебели, но и как атрибуты традиционного стандартного обустройства семьи и общества. Стулья — часть воспоминаний китайских участников проекта — были не экспонатами, а служили, скорее, удобным местом отдыха для посетителей.

Некоторые явления, на которые обращал внимание проект «Сказка», позже отзовутся в таких процессах, как взрывной рост международного туризма, а потом ужасы миграционного кризиса в годы, последовавшие за «Документой-12». В немецкой газете вышла статья под заголовком «Китайцы уже здесь», где в том числе говорилось: «Для принимающей стороны эта группа из 1001 китайца может стать мощной метафорой взрывного роста населения, а еще символом утраты культуры и недолговечности материальных благ».

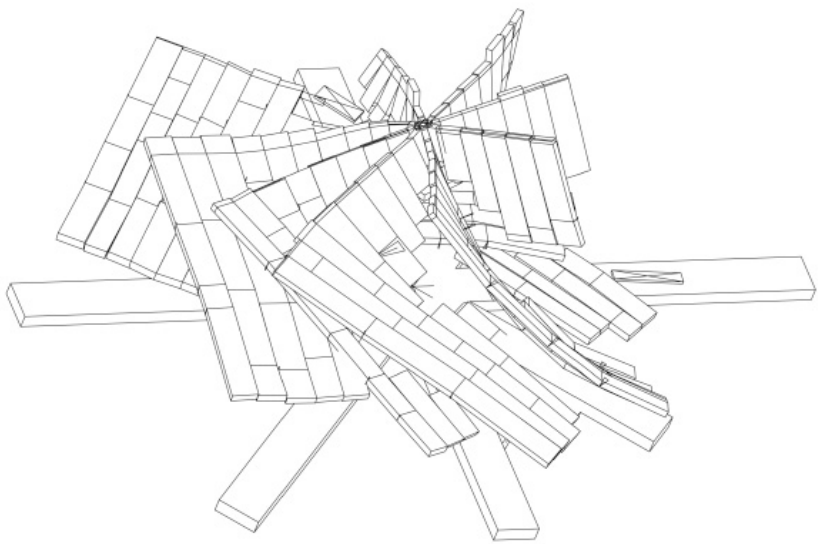
Глядя на то, как китайцы постепенно появляются из зоны таможенного контроля франкфуртского аэропорта, я был тронут до глубины души. Эти люди мало что знали о современном искусстве, и многие из них, возможно, так никогда и не поймут, в чем состояла моя затея, но интернет привел нас всех в новую реальность, и теперь, когда они вышли из самолета в чужой стране, им предстояло расширить свой опыт. Для меня взаимодействие с жизнями других людей было особенным переживанием: право исследовать мир человек получает при рождении, и эти путешественники впервые воспользовались этим правом.

Временный дом «Сказки» — или, как его описали немецкие СМИ, «полевой госпиталь», — располагался на двух этажах: один для женщин, один для мужчин, и каждый этаж делился белыми хлопковыми занавесями на десять комнат по десять кроватей. Все участники получили по набору из футболки с напечатанным логотипом F1001 и USB-браслета, дающего бесплатный доступ в павильон выставки. На информационной доске у входа в общежитие висели самые разные объявления: расписание на день, детали страховки, инструкция по использованию интернета и телефона и списки мероприятий, куда можно было вписать свое имя. Жители Касселя пожертвовали десятки велосипедов, которые гости могли использовать в течение своего визита, а USB-браслеты давали бесплатный проезд на трамваях и автобусах города, являясь по сути пропусками для «китайцев Вэйвэя».

Китай и Запад отличаются друг от друга в силу множества фундаментальных особенностей, которые проявляются на разных уровнях и в разном контексте, а иногда имеют противоположные векторы. Пока 1001 китаец исследовал Кассель, взаимные представления и заблуждения Востока и Запада относительно

друг друга распространялись по улицам и переулкам этого немецкого городка и сошлись, как я и надеялся, в сказку в этой чужой стране. До начала и в процессе мероприятия большая команда сняла более тысячи часов видео, скрупулезно запечатлев сцены из жизни участников «Сказки», в том числе повседневную жизнь в их родных местах, их заботы, мечты, трудности. Отредактировав этот материал, мы получили документальный фильм, рассказывающий о том, как появилась идея «Сказки» и как она воплощалась.

На зеленой лужайке перед дворцом XVIII века в парке Карлсауэ я установил другую работу — «Шаблон» (Template), сделанную более чем из тысячи деревянных дверей и оконных рам старинных зданий в Шаньси, которые собирались сносить. Я поместил эти фрагменты в современную среду, создав эклектичный, дерзкий, противоречивый контекст, будто это сооружение одновременно и из прошлого, и из будущего. Меня не волновали детали монтажа «Шаблона» — в одном интервью я даже сказал, что не возражал бы против удара молнии в этот экспонат. Я находил истинную радость в спонтанности, в эфемерном ощущении удовлетворения, которые дает виртуальная реальность, а подразумеваемые идеи и методы меня не удовлетворяли. Но в тот момент у меня уже не было желания соответствовать ожиданиям СМИ или МоМА относительного того, каким должно быть современное искусство.



Шаблон (Template), 2007 год

Затем 21 июня, всего через два дня после открытия двенадцатой «Документы», во время неожиданной грозы «Шаблон» опрокинулся. Новость поразила меня: это казалось дурным предзнаменованием. Но солнце вышло из-за туч, когда я осматривал рухнувшие обломки, и новый облик инсталляции меня восхитил: огромный объект, который мы с таким трудом установили, скрутился винтом, но не сплющился окончательно. Структура упрямо противостояла силам, которые стремились ее разрушить, и теперь в ней было еще больше жизни, чем раньше, когда она стояла прямо. В ее обломках сквозила мощь. Искусство никогда не заканчивается, будто говорила нам эта работа, искусство — всегда только начало.

«Сказка» вызвала множество дискуссий, и последствия ее оказались намного сложнее, чем я ожидал. Один обозреватель потом напишет: «„Сказка“ стала поворотным моментом для карьеры художника Ай Вэйвэя; теперь он все больше использует радикальные формы для исследования социальных вопросов». Я не любитель порядка: в восточном или западном обличье — он вызывает у меня подозрение. Я не люблю порядок за то, что он ограничивает человеческую природу и выбор. Когда вы отбрасываете навязанные смыслы, отношения между вами и окружением становятся напряженными, но именно тогда, когда вам не по себе, вы максимально начеку.

Часто я бываю в смятении, но именно это чувство ведет меня вперед. «Сказка» в смысле социальной вовлеченности стала знаком грядущих перемен, и начиная с этого момента в искусстве меня все больше стали занимать запутанные отношения между политикой и действительностью. Во мне родилось и зрело новое искусство, и его корни прорастали повсюду.

Как раз в этот плодотворный период я познакомился с Ван Фэнь, молодой женщиной, работавшей над документальным фильмом «Сказка», и у нас завязались отношения. Когда я ездил в Нью-Йорк в 1998 году, мы с Лу Цин поженились, и теперь, десять лет спустя, мы оба все еще жили в Цаочанди, но спали в разных комнатах. Однажды Лу Цин печально сказала мне, что в Цаочанди ее держат только наши кошки и собаки. Она редко выражала свои чувства так прямо, и эти слова довели меня до слез. То, что вам нравится в жизни, почти всегда более реально, чем то, что вы любите, и более доступно. Лу Цин по натуре была нежной и доброй, и ее терпимость позволяла мне всегда поступать так, как я считал нужным. За все эти годы совместной жизни она совсем не изменилась — изменился я.

Есть большой соблазн видеть в новых отношениях нечто

сказочное, но действительность никогда не бывает сказкой. Жизнь научила меня отпускать прежние эмоциональные связи, а предугадать, насколько прочными окажутся новые узы, невозможно.

Глава 15. «Гражданское расследование»

На высоком флагштоке развевался флаг Китая. Я стоял посреди руин, потрясенный и дрожащий, оглушенный запахом крови. Под ногами у меня лежали разбросанные предметы одежды, намокшие от дождя тетради, линейки, зеркальца и рюкзачки. Солдаты в белых костюмах химзащиты с черными пакетами для тел шли мимо не работающего на тот момент экскаватора. Две недели назад здесь погибло 740 детей, когда обрушилось здание их школы.

Двенадцатого мая 2008 года в юго-западной провинции Сычуань произошло восьмибалльное землетрясение, и его эпицентр пришелся на город Вэньчуань. Оно было столь мощным, что через несколько минут небольшие толчки ощущались даже в Пекине, на расстоянии 950 миль. Новость о катастрофе погрузила страну в траур.

Просто продолжать вести блог мне было недостаточно. Двадцать девятого мая вместе с помощником Чжао Чжао мы приехали в столицу провинции Сычуань, Чэнду, и незамедлительно отправились в Дуцзянъянь — городок около эпицентра, который серьезно пострадал. Там мы увидели обломки средней школы Цзюйюань, превратившейся в кучу кирпича, осколков бетона и торчащей арматуры. Только в этом здании погибло 284 ребенка. Мы остановили машину и вышли.

Среди каменных обломков мы встретили пару. Мужчина был водителем такси, а жена держала в руках розовый пенал, где лежали маленькие очки и молочный зуб дочери. Дочь была для них всем, сказала она. «Почему они построили такое хлипкое здание и кто возьмет за себя ответственность за плохое качество строительства?» — спрашивала она. Эти вопросы так никогда и не получат ответа. Всего погибло более семидесяти тысяч людей, и многие из них, как и ее дочь, были маленькими детьми и оказались погребенными под обломками рухнувших школ.

Впоследствии, когда я стал поминать детей в своем блоге, мать погибшей в Бэйчуане школьницы написала комментарий: «Я нашла имя своей дочери в вашем списке: „Ян Сяовань, 7 лет, первоклассница Цюйшаньской начальной школы“». Она добавила: «Все, чего я хочу, — это чтобы больше людей узнало о моей дочке Ян Сяовань. Она счастливо прожила в этом мире семь лет. Я надеюсь, что все будут помнить ее имя, как и имена всех погибших».

Не случись этого землетрясения, 2008 год все равно был бы необычным. Наряду с катастрофами — как природными, так и рукотворными, — внимание общества привлекала предстоящая Олимпиада, а неуклюжие попытки Пекина контролировать дискурс лишь накаляли страсти. В конце января и начале феврале серия необычайно сильных снегопадов на много дней парализовала транспортные магистрали. Затем в феврале начались акции протеста тибетского правительства в изгнании, а за ними в марте последовали демонстрации против китайской власти в Лхасе и других местах, что привело к жестким ответным мерам со стороны китайских властей. В своем блоге я не мог исправить непоправимое, но по крайней мере я мог напомнить моим читателям о том, что вызвало эти протесты. Вскоре у меня появилась возможность сделать больше.

Всего за шесть недель до открытия Олимпиады-2008 в полицейском участке на северной окраине Шанхая под названием Чжабэй произошло несколько ужасных убийств. По официальной версии, нападавший в маске ворвался в здание и успел пырнуть ножом охранника и десятерых полицейских, прежде чем его схватили; шестеро полицейских скончались от ранений. Ян Цзя совершил тяжкое преступление против сотрудников правоохранительных органов, и его дело с самого начала окутывал флер предчувствий и догадок, так что я решил сделать об этом событии документальный фильм.

В октябре 2007 года Ян Цзя, который жил в Пекине со своей матерью из простых рабочих, поехал в Шанхай на праздник в честь Дня образования КНР. Он взял в аренду велосипед, и его на улице остановила полиция, заподозрившая, что велосипед украден. Когда он стал спорить, его задержали для допроса. Его отпустили в два часа ночи, после чего Ян позвонил по номеру 110 (экстренный вызов полиции), а также долго говорил по телефону с матерью; он сказал, что его избили в полицейском участке.

После этого Ян Цзя подал жалобу на полицейских, и чем дальше, тем сложнее было выяснить, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. Первое, что Ян Цзя сказал при аресте: «Если мне придется всю жизнь терпеть такое обращение, лучше быть преступником. Дело ваше, но вы должны объяснить мне свои действия. Если не можете, то я дам вам свое объяснение».

Весь процесс шел с нарушениями. Предоставленный государством адвокат отказался вызывать основных свидетелей и не смог выяснить причины происшествия, лишившись тем самым возможности внести что-то новое в дело. В зале суда Ян Цзя попросил своего адвоката просто быть честным и говорить все как

есть. Снова и снова Ян Цзя, желая вызвать обсуждение событий, которые повлекли за собой его акт мести, добивался ответа на вопрос: «Меня избили в полиции или нет?» После того как Ян Цзя был приговорен к смертной казни, власти Шанхая все еще отказывались проводить психиатрическую экспертизу, исключая таким образом возможность признания подсудимого невменяемым, что обрекло его на казнь.

Когда административная власть ничем не ограничена, когда судопроизводство не подвергается сомнениям, когда информацию скрывают от публики, общество вынуждено существовать в условиях отсутствия правосудия и морали. Коррупция судебной системы — это публичное лицо морально ущербного политического тела, шрам, уродующий эпоху, в которой мы живем.

Апелляционный суд поддержал смертный приговор, а я после многочисленных постов об этом деле в своем блоге уже не знал, что еще сказать. Всего через месяц Ян Цзя был казнен. Его мать Ван Цзинмэй уведомили об этом. Ей все время отказывали в праве высказаться в его защиту. В день его ареста ее задержала полиция Пекина, а затем Ван поместили в психиатрическую больницу под вымышленным именем и заставили пройти «медицинское лечение».

В Китае казнят больше людей, чем где-либо (на нашу страну приходится свыше половины всех казней в мире), и в этом несправедливом обществе жертвами становятся не только приговоренные. На следующий день после казни я опубликовал в блоге видео горящей свечи, а потом загрузил свой документальный фильм. В нем высказывались связанные с этим делом сомнения, рассматривались мотивы нападения Ян Цзя на полицию и законность судебного процесса. Я дал фильму название «Один затворник» (One Recluse).

А в это время на нас смотрел весь мир. Восьмого августа 2008 года в Пекине начались XXIX Олимпийские игры. На следующие две недели мир стал меньше, впрочем, для власти и капитала оставалось огромное пространство, но далеко не так много для остальных и уж точно не для граждан, которых китайские СМИ считали «не слишком важными». Трудовых мигрантов выслали из Пекина, и многие магазины закрыли — повседневные удовольствия обычных людей временно прекратили в угоду капризам властей.

Дизайн «Птичьего гнезда» стремился передать идею, что свобода возможна: его внешний вид вкупе с выставленной наружу конструкцией воплощал важные черты демократии, прозрачности

и равенства. Защищая эти принципы, я решил отстраниться от Олимпиады, которая была на службе у националистической самодовольной пропаганды. Свобода — обязательное условие справедливости, а без свободы соревнования превращаются в очковтирательство.

Ван Фэнь уже была беременна, и после консультации с врачом 8 августа, в день открытия Олимпиады, мы расположились за столиком в кафе неподалеку от ее квартиры. Мне предстояло стать отцом — большое событие, и, как другие важные перемены в моей жизни, оно заявило о себе неожиданно и безапелляционно. В жизни нет ничего более внезапного, чем беременность, и ничто так не выбивает из колеи, как перспектива отцовства. Но в одном можно было не сомневаться: этот ребенок соединит нас с Ван Фэнь навсегда.

Когда началась церемония открытия и на висящем на стене экране стали взрываться фейерверки, на обороте справки, которую врач выдал Ван Фэнь, я набросал свои первые впечатления: «В этом мире, где у всего есть политическая подоплека, нам теперь говорят, что мы не должны ничего политизировать: это просто спортивное мероприятие, оторванное от истории, от идей, от ценностей, — оторванное даже от человеческой природы. Политика всегда напоминает нам, кто именно построил два разных мира и две совершенно разные мечты. Есть множество вещей, которые стоит упразднить, но давайте в первую очередь попрощаемся с единовластием, независимо от форм, которые оно принимает, и независимо от того, чем оправдывают его существование, потому что результат всегда один: отрицание равенства, извращение правосудия, отказ от счастья».

Через сто дней после землетрясения в Вэньчуане китайская команда значительно опередила американскую по количеству олимпийских золотых медалей, и нация предъявила миру фальшивую улыбку. Олимпиада должна была стать венцом тридцатилетнего периода роста и реформ — общенациональным выходом в свет с целью показать, насколько Китай изменился. Но для меня все это было неопровержимым свидетельством того, что ничего здесь по сути не изменилось. Вера и идеология уже не были предметом борьбы. Настоящим полем битвы была исключительно прибыль, и вели ее регионы, корпорации и нации, вдохновляясь глобалистской мечтой капиталистических держав. Китайский режим старался не афишировать идеологическую пропасть между собой и демократическими обществами и, открыто критикуя это явление, превратился в белую ворону,

политического оппонента и потенциальную угрозу.

Летом 2008 года в детском питании и некоторых других молочных продуктах, продаваемых в Китае, обнаружили меламин — вещество, которое может вызывать камни в почках и почечную недостаточность. Но власти намеренно скрывали отчеты об огромных количествах загрязненного меламином детского питания, попавших в продажу, и факты были обнародованы только после закрытия Олимпиады. К тому моменту от опасной молочной смеси успело пострадать тридцать миллионов младенцев.

В последний день 2008 года я поставил свою подпись на пакет печально известного сухого молока Sanlu, которое принесло столько вреда, и выставил его на онлайн-аукцион. Стартовая цена была всего 20 юаней, но итоговая составила 1600 юаней. На вырученные деньги я купил немного теплой зимней одежды для приехавших из сельской местности просителей, которым в Пекине приходилось спать под мостом, пока они ждали рассмотрения своих дел.

В тот год я внимательнее, чем когда-либо, следил за новостями: от апокалиптического снегопада в начале года, в котором безнадежно застряли многие работники, до невнятных сообщений о бунтах в Тибете, гротескной вакханалии пекинской Олимпиады и всех этих ядовитых коктейлей китайского общества, еще более пагубных, чем меламин в детском питании. Я видел, каким абсурдным и надрывающим сердце путем следовал Китай с 1978 года и какие горькие плоды это принесло.

К концу 2008 года власти стали усердно пытаться закрыть мой блог. Однажды я увидел, что в нем отключили комментарии, и понял, что рано или поздно блог прекратит существование. Я чувствовал бессилие. «Не питайте иллюзий обо мне» — было мое последнее публичное высказывание в 2008 году.

Год близился к концу, и я поручил членам своей команды собрать видеозаписи о спасательных операциях в Сычуани для документального фильма о землетрясении. Я не забыл, что обещал тем родителям в Бэйчуане провести полномасштабное расследование обрушения школ и отдать дань их погибшим детям, и намеревался лично заняться списком детских потерь. Мы опросили родителей более чем сотни вэньчуаньских детей и выслушали их рассказы о катастрофе, спасательных операциях и мерах по «поддержанию стабильности» — то есть попытках правительства заставить замолчать тех, кто призывал разобраться с проблемами школьных зданий. Проще говоря, государство так и не выполнило обязательства по расследованию качества строительных работ, а имена погибших детей не опубликовали.

В марте 2009 года из своей студии в Цаочанди я сделал более сотни телефонных звонков в школы и государственные учреждения в Сычуани. Я разговаривал с представителями провинциальных, муниципальных и уездных властей, ответственных за образование, связи с гражданским населением и вопросы общественной безопасности, а также с пострадавшими школами и просил их предоставить имена погибших детей. Странным образом все отвечали одинаково.

Сначала они говорили, что таких списков нет. Потом признавались, что списки существуют, но они не могут их предоставить: информация, одобренная к публикации, уже оглашена, а все остальное — государственная тайна. Такое объяснение, разумеется, было нелепым, и когда я на это указывал, человек на другом конце провода спрашивал, кто я такой, и явно считал меня каким-то враждебным элементом, которого спонсирует настроенная против Китая иностранная держава; некоторые даже напрямую спрашивали, не шпион ли я, или, может, я из ЦРУ? «Вы только сыплете соль на рану родителям, — раздражались они. — Если вы бы молчали, они бы уже об этом забыли». Но каждый день я получал сообщения от родителей, которые надеялись хотя бы на то, что их дети не будут забыты. Качество школьных построек было запретной темой: писавшие о землетрясении СМИ концентрировались исключительно на том, как успешно партия ведет народ к преодолению последствий катастрофы.

Тайфэн (Taifeng), 2015 год

Я объявил о запуске мероприятий по поиску имен детей, погибших в результате землетрясения, и назвал это «Гражданским расследованием» (Citizens' Investigation). Вот как я представил его своим читателям:

Гражданское расследование:

Правда. Ответственность. Права.

Триста дней назад я посетил районы Сычуани, которые наиболее сильно пострадали от землетрясения, и увидел бесконечные боль и ужас. Мы до сих пор не знаем всех имен детей, которых потеряли в этом землетрясении, и не понимаем, почему это произошло, как это произошло…

Они сказали нам, что не имеют никакого отношения к гибели этих детей: она была неизбежна, неминуема — это подтвердили эксперты. Они обходят молчанием коррупцию и избегают выражения «постройки из бобовой гущи» (метафора недобросовестной работы,

использования хлипких материалов — буквально отходов производства тофу), скрывают факты. Во имя «поддержания стабильности» они запугивают, задерживают и третируют родителей учеников, требующих правды; открыто попирают и Конституцию, и базовые права человека…

Отвергнем амнезию, отвергнем ложь. Мы запустили «Гражданское расследование», чтобы вспомнить мертвых и выразить сочувствие живым, взять на себя ответственность — ради будущей радости живых — за выяснение имени каждого ребенка и память о нем… Пожалуйста, помните: каждый день, пока мы не сдаемся, эти дети не исчезают, как дым. Это часть нашего смысла жизни, и мы не бросим это дело.

Я приглашаю желающих принять участие в «Гражданском расследовании» оставить свои контактные данные. Ваши действия — это ваш мир.

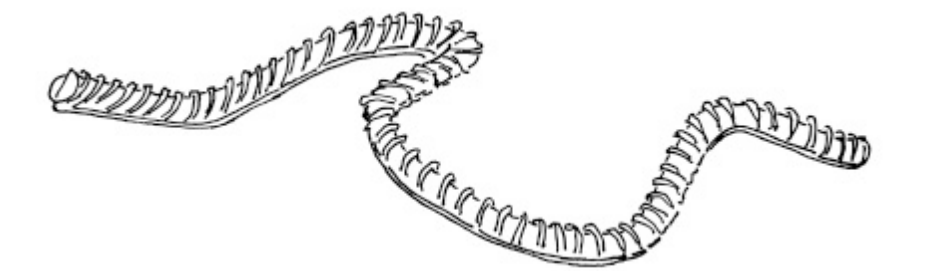
В проекте вызвалось участвовать около ста волонтеров. Мы разделили их на маленькие группы по два-три человека и отправили в районы, пострадавшие от землетрясения. В первой фазе расследования тридцать один доброволец провел четыре месяца в Сычуани, посетив сорок пять городов и восемьдесят семь школ в семнадцати уездах, где разрушения были серьезными. Во второй фазе одиннадцать волонтеров продолжили расследование, посетив тридцать один город и пятьдесят четыре школы за сорок дней. Они передавали мне имена в студию через СМС, звонки и электронную почту. Я не отходил от компьютера, упорядочивая данные и публикуя их онлайн.

На кладбищах не было имен на свежих могилах — только номера. Местные власти наложили строгий запрет на распространение информации и интервью, не позволяли родителям общаться с чужаками и, что важнее всего, запрещали публиковать имена. Всех родителей так или иначе притесняли; их задерживали, запугивали или избивали, заставляя подписать соглашение об отказе от дальнейших действий по поводу халатности, со словами, что если они не перестанут, то лишатся компенсации за потерю членов семьи и жилищных льгот. Так что зачастую они не сообщали даже исходные данные.

В свою очередь, полиция постоянно арестовывала, допрашивала и третировала наших волонтеров. Однажды двух молодых ребят задержали на западе провинции Сычуань. Полицейские открыли багажник их такси, снимая все на камеру,

и вытащили из-под коврика пистолет. Двое волонтеров впервые видели этот пистолет и не знали, принадлежал ли он водителю или же был подброшен полицией. Они оцепенели от ужаса, ведь в Китае владение оружием — серьезное преступление. Их заставили сесть на корточки и положить руки за голову, лицом к стене. «Кто этот Ай Вэйвэй?» — хотела знать полиция. Чего он добивается? Зачем они собирают имена? Какая организация за ними стоит?

Через шесть месяцев непрерывной работы команды, которая перенесла многочисленные аресты, конфискации списков, удаления видео- и аудиозаписей, мы завершили расследование. Мы собирали на обломках школ образцы цемента и арматуры, изучали проекты некоторых зданий и нашли доказательства чудовищных изъянов в строительных работах. «Гражданское расследование» объединило данные по семнадцати округам, городам, уездам, поселкам и деревням, затронутым землетрясением; определило и уточнило имена 5196 погибших школьников, их возраст, пол, школу и класс, а также данные родителей. Интервью с сотнями семей, потерявших детей, завершали наш документальный фильм под названием «Щеки маленькой девочки» (Little Girl's Cheeks)[41].



В результате этого расследования мы направили властям Китая и провинции Сычуань 183 жалобы, требуя публикации информации о мерах по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения, подтверждений нанесенного ущерба и обстоятельств гибели людей, оценки зданий, отчетов об использовании средств из фонда помощи и восстановительным работам. Мы отправили тысячи вопросов, но ни на один не получили прямого ответа. Во всей этой истории, помимо факта трагической гибели стольких детей, больше всего меня поразило людское равнодушие — как все отвернулись от произошедшего, забыли, замолчали, будто катастрофа не имела к ним никакого отношения.

Казалось, из художника я превратился в общественного

деятеля. Стать активистом не слишком сложно: как только начинаешь выражать беспокойство по поводу будущего страны, сразу оказываешься на тропинке, прямиком ведущей в тюрьму. Но в некотором смысле режим, которому я противостоял, был хрупок, и я понял, что для меня это повод продемонстрировать его порочность. Я смотрю на окружающую действительность как на «реди-мейд», вроде писсуара Дюшана. Реальность открывает широкие возможности для искусства, и это понимание придает мне уверенности.

Интернет дал мне возможность реализовать свою потребность в самовыражении в интересах общества. Я хотел показать людям, что даже если они думают, будто не интересуются политикой, то, увидев происходящее, они скажут: «Ну нет, так больше не может продолжаться!» Подходящие для влияния на общественное мнение моменты, однако, были куда короче, чем мне бы хотелось, — иногда они длились всего несколько секунд, ведь любая исходящая от меня информация жила ровно столько времени, сколько требовалось критику на ее удаление. Впрочем, если бы я не использовал подворачивающиеся возможности, в китайском интернете остались бы лишь банальности и лицемерие, оскорбительные для человеческого интеллекта.

Любое обсуждение прав человека неизбежно приобретает политический оттенок, так что я естественным образом превратился в политическую фигуру. В этом нет ничего плохого: в наши дни необходимо противостоять действительности. Если искусство не может поддерживать связь с жизнью, у него нет будущего.

Глава 16. Нарушение спокойствия

Год 2009-й выдался бурный, и мне повезло, что я пережил его. В Праздник фонарей 9 февраля над Пекином взошла полная луна, которая казалась особенно крупной и круглой. Чуть позже восьми вечера к северу от восточной части третьей кольцевой автодороги в здании, примыкавшем к новому головному офису Центрального телевидения Китая, начался пожар. Пламя разгоралось все ярче, озаряя небо; один свидетель сделал фото и опубликовал в своем блоге, за несколько часов его страницу посетило более 370 000 человек. На какое-то время это редкое зрелище горящего рупора диктатуры стало самым популярным изображением в китайском интернете. Глядя на то, как пламя поглощает это узнаваемое здание, я мечтал, чтобы оно обвалилось целиком заодно с пропагандистской машиной, которую олицетворяет.

В тот год наше «Гражданское расследование» шло своим чередом, а у меня возникли и новые возможности, и новые препятствия. Я стал увереннее воспринимать свою роль в нескольких пересекающихся сообществах: среди моих подписчиков в интернете, в мире искусства и у китайской публики, — пусть даже мои враги в госорганах Китая все увереннее ассоциировали меня с угрозой. Тот пожар в полнолуние был подходящей прелюдией к этому сочетанию случайности, опасности и драматизма.

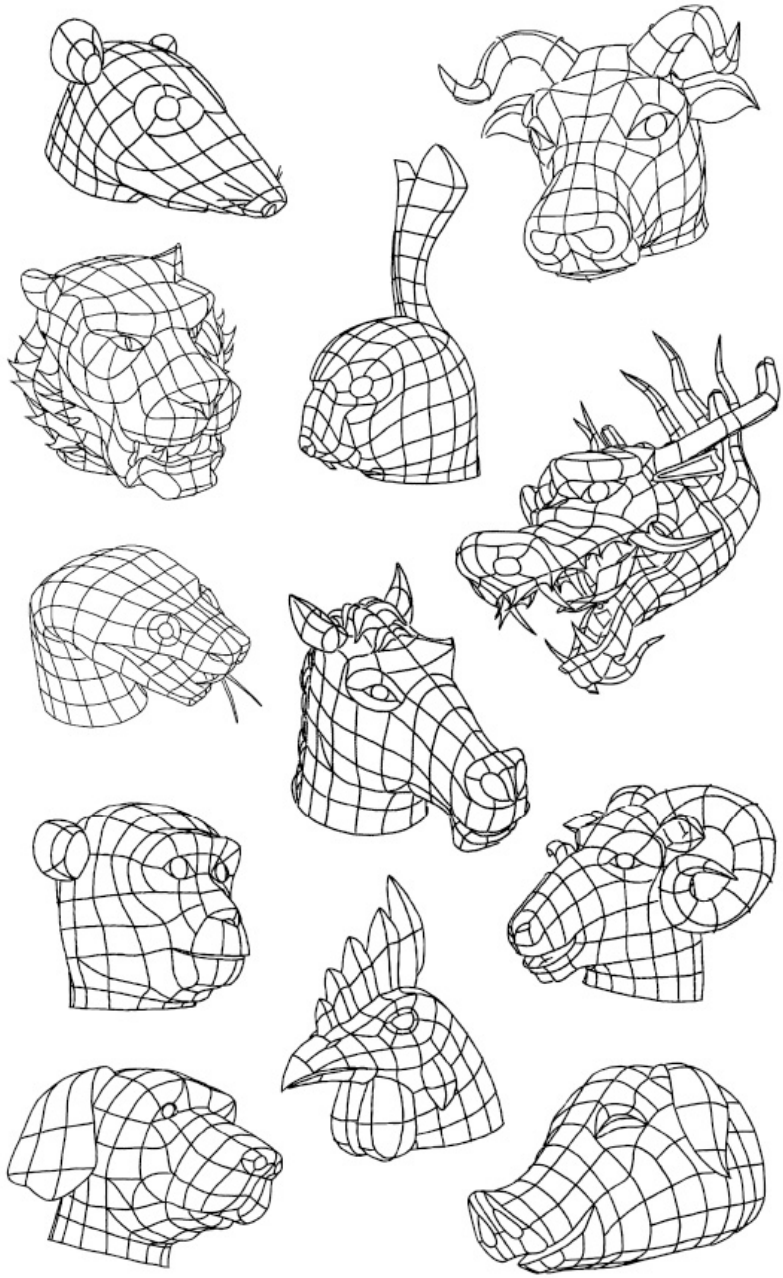
Две недели спустя, поздно ночью, в родильном отделении Пекинской больницы женского и детского здоровья Amcare по телевизору показывали 81-ю церемонию «Оскар», и Роберт де Ниро на экране вручал Шону Пенну золотую статуэтку в номинации «Лучший актер». «А у нас своя маленькая награда», — сказала мне Ван Фэнь. Роды прошли очень легко — всего за двенадцать минут. Акушерка перевернула ребенка вверх ногами и дважды шлепнула по ступням, после чего раздался здоровый плач. Спокойная и сдержанная Ван Фэнь лежала на кровати, уставшая, но расслабленная.

Я назвал нашего сына Ай Лао. Люди так называли моего отца, потому что Лао («старец») — это уважительное обращение к человеку преклонного возраста, а Лао и его дед родились с разницей почти в сто лет. Я никогда не стремился оставить потомство, и понятие оседлой семейной жизни было для меня непривычно, так что, когда я представил себе, как этот крошечный младенец будет медленно, но верно расти и станет взрослым, как его родители, в первую очередь меня охватила

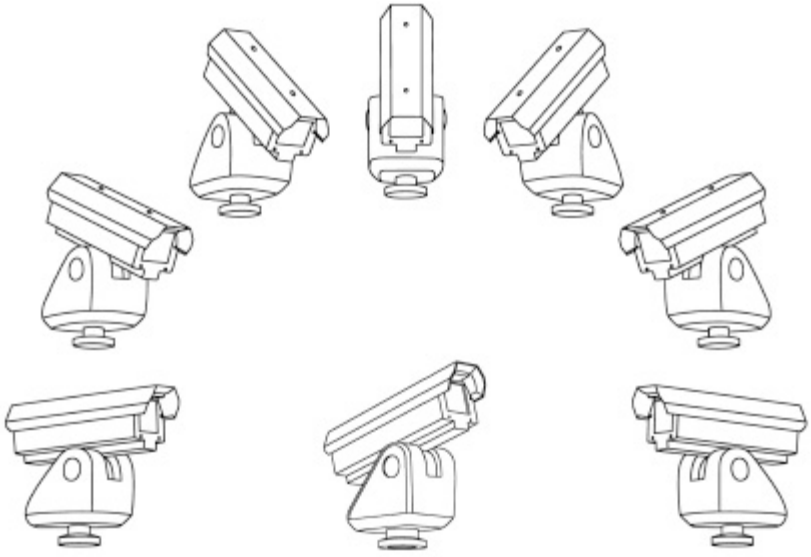
глубокая тревога.

В первые несколько недель жизни новорожденного отцы играют не слишком важную роль, а в тот самый месяц скандал вокруг двух бронзовых голов животных XVIII века, выставленных на аукцион, отвлек мое внимание от сына и его матери, вдохновив в итоге на создание нового произведения.

Эти бронзовые головы изначально входили в число двенадцати зодиакальных символов, созданных итальянцем-иезуитом Джузеппе Кастильоне для украшения фонтана в Юаньминъюане, Старом Летнем дворце на окраине Пекина. В 1860 году, когда англо-французские экспедиционные войска ворвались на территорию дворца и стали его грабить, эти головы исчезли, и некоторые из них впоследствии попали в руки западных коллекционеров. Теперь парижский аукционный дом «Кристис» выставил на торги головы кролика и крысы в числе произведений искусства из коллекции покойного Ива Сен-Лорана.



Эскиз к работе «Круг животных / Головы Зодиака»
(Study of Circle of Animals/Zodiac Heads)



В предшествовавшие пекинской Олимпиаде месяцы многих китайцев охватил патриотический восторг, который не утих до сих пор. Китайские власти резко осудили продажу двух голов с аукциона и стали угрожать «Кристис» ответными мерами, и в знак своего патриотизма один китайский покупатель призвал вернуть скульптуры на родину, объявив их «национальным достоянием». Этот инцидент раздули до абсурда; интересно, что изначально эти бронзовые головы были созданы на потеху маньчжурским правителям, которые завоевали Китай в XVII веке и относились к ханьцам как к покоренному народу. В своем блоге я задал вопрос: «Что за раб любит кнут, которым его однажды стегали?» В студенческие годы я проводил много времени в окрестностях Старого Летнего дворца и сейчас чувствовал лицемерие в негодовании по поводу присвоения его имущества британцами и французами. «Старый Летний дворец стоит в руинах не только из-за западных захватчиков, — отметил я. — До 1980-х годов крестьяне вывозили мрамор из дворца на тачках для строительства своих свинарников».

Я решил изготовить новый, полный набор зодиакальных голов, крупнее оригинальных. Семь сохранившихся голов служили моделями для моего проекта, но я внес ряд изменений: например, оригинальная голова тигра больше походила на медвежью (наверное, Кастильоне ни разу не видел настоящего тигра), а в работе над пятью животными, чьи головы были утеряны, я полностью полагался на собственное воображение. Как позже заметил один из критиков, мой проект может привести к

непростым дискуссиям о возвращении на родину, общем культурном наследии и современном понимании искусства.

Я хотел выставить эти бронзовые головы в общественном пространстве Нью-Йорка, чтобы их могли увидеть самые разные люди. Изготовление скульптур заняло много времени, но при поддержке моего друга Ларри Уорша мы вместе со скульптором Ли Чжаньяном наконец смогли завершить работу «Круг животных / Головы Зодиака» (Circle of Animals / Zodiac Heads). Двенадцать голов животных были выставлены полукругом перед гостиницей Plaza, на углу 59-й улицы и 5-й авеню. На церемонии открытия 2 мая 2011 года мэр Майкл Блумберг произнес под дождем трогательную речь, а несколько художников зачитали выдержки из моего блога и потребовали моего освобождения — ведь к тому моменту меня уже почти месяц держали взаперти в секретном месте в Пекине.

Когда в марте 2009 года началось «Гражданское расследование», вокруг моей студии по всему периметру выросли камеры наблюдения. В дневное время офицеры в штатском сменяли друг друга на посту, а ночью набивались в белый седан без опознавательных знаков. Я считал их не большей угрозой, чем летающих высоко над головой ястребов, и вскоре привык к постоянной слежке. Мне было нечего скрывать, так что я ничего не боялся, и мне совершенно не мешало, что все мои действия на виду, — открытость была мне на пользу. Но на этом они не остановились. Вскоре они стали вступать в прямое взаимодействие.

На улице Дунфан-дунлу в пекинском районе Чаоян стоял комплекс зданий, спроектированных в грубом функциональном стиле и похожих на деловой центр, с повышенным уровнем безопасности: это было посольство США. Когда Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, посетила Пекин в мае 2009 года, посольство пригласило на прием в ее честь некоторое количество гостей, в том числе меня.

Пелоси, судя по выступлению, казалась очень спокойной. Она пошутила, что в дизайне посольства успешно используются элементы традиционной китайской культуры. Всего через неделю была дата двадцатой годовщины подавления студенческих протестов 1989 года, но она не стала касаться прав человека или событий в Тибете и говорила только о защите окружающей среды и о климате. На фоне последствий обвала рынка и президентской инаугурации Обамы западные политики, которые приезжали в Китай в надежде на помощь в урегулировании финансового кризиса, явно избегали упоминания больных тем. Права человека

отошли на второй план в интересах глобализации и экономического роста, подтверждая, что деньги решают все — что на Западе, что на Востоке. Я понимал, что это не может хорошо кончиться: трудности, с которыми столкнулись США и Европа, не исчезнут от попыток подружиться с Китаем; напротив, настоящие проблемы только начинались.

Я ушел с приема рано, сожалея, что вообще там появился, и пробирался к выходу из посольства через многочисленные кордоны безопасности. Вернувшись в машину, я взял телефон и увидел пропущенные звонки от матери, так что перезвонил ей. Она шепотом сообщила, что несколько агентов государственной безопасности поджидают меня в ее доме в Дунсы Шисаньтяо. «Сейчас приеду», — сказал я.

Умом я понимал, что надо быть готовым к подобному, но не рассчитывал, что представители власти явятся в дом матери. То, что произошло дальше, напоминало сцену из скверно написанного абсурдистского романа. Во дворе у матери меня встретили трое незнакомцев: двое в полицейской униформе, один в штатском, с популярной в Пекине армейской стрижкой и сумкой, перекинутой по диагонали через плечо. Не объяснив ничего, он спросил, где я живу.

Я вежливо, но твердо попросил его показать удостоверение. Такого ответа он не ожидал и растерялся. «У меня его нет с собой», — признался он и стал перечислять оправдания. Мне не хотелось с ним пререкаться, и, когда он отказался уходить, я позвонил в полицию и сказал, что ко мне вторглись неизвестные. Полицейские обязаны носить с собой удостоверение и при необходимости предъявлять его, хотя мало кому из китайцев приходит в голову спросить.

Мать настороженно стояла рядом со мной, убеждая меня быть помягче. «Говори вежливо, — настаивала она, — не упрямься». Но я считал, что если уж они собрались атаковать меня дома, так путь следуют своим чертовым процедурам; я не намеревался безропотно сдаваться на глазах у собственной матери. Человек в штатском был вне себя от злости и взволнованно говорил по телефону с руководством.

Вскоре позвонили в дверь, и вошли еще двое полицейских — местных, которых я вызвал. Когда я попросил новоприбывших предъявить удостоверения, они тоже сказали, что не взяли их с собой, но я настаивал, так что им пришлось ехать обратно в участок за своими документами. Потом мы отправились в участок все вместе, и я подал письменную жалобу. К тому моменту стриженый просто лез на стену от отчаяния. Все явно пошло не по плану, хотя в итоге полицейские смогли прояснить детали моей

прописки — базовые данные, которые, как я потом понял, влияли бы на вопрос юрисдикции, если бы они в будущем возбудили против меня дело. Наступила ночь, и, выходя из участка, я сказал им на прощание: «Когда в следующий раз придете ко мне, не забудьте взять наручники».

Потом я описал эту историю в своем блоге.

«Ты давай поосторожнее! — советовали обеспокоенные читатели. — Ты что, правда готов к тому, чтобы тебя арестовали?»

«Я готов, — отвечал я. — Точнее, мне не нужно к этому готовиться. Я же просто частное лицо, и Ай Вэйвэй — это все, что я могу им предложить, и все, что они получат».

Моя интернет-активность в конце концов обратила на себя внимание, но отступать было поздно. Теперь ставки были гораздо выше, ведь я стал отцом, но тем больше у меня было причин бороться за светлое будущее, в котором китайские дети будут в безопасности.

«Откажитесь от цинизма, откажитесь от сотрудничества, откажитесь от их угроз, откажитесь „пить чай“», — поспешил написать я 28 мая. Я чувствовал, что это может быть моей последней возможностью высказаться прямо. Когда диссидента приглашали «пить чай», это означало предупреждение от тайной полиции — такой у них был способ устрашения и ослабления решимости человека. Но самоцензура — это самоуничижение, а трусость — путь к отчаянию.

Люди спрашивали меня: «Как вы осмеливаетесь такое говорить у себя в блоге?» А я отвечал: «Если я промолчу, то окажусь в еще большей опасности. Зато если буду высказываться, то возможно, что-то изменится». Лучше говорить, чем молчать: если бы говорили все, то общество уже давно было бы другим. Перемены случаются, когда каждый гражданин высказывает свое мнение; молчание одного подвергает опасности другого.

Вскоре мне позвонил один коммунист, чиновник из Союза писателей, и стал убеждать меня придержать свой язык в ближайшие дни — то есть перед двадцатой годовщиной кровавой расправы в Пекине 4 июня 1989 года. Я сказал, что не могу этого обещать. Едва положив трубку, я понял, что исчез из китайского киберпространства. Я не мог войти в собственный блог; исчезли три тысячи написанных мной постов и десять тысяч фотографий, загруженных за три года и семь месяцев; даже поисковый запрос «Ай Вэйвэй» не выдавал никаких результатов — мое имя стало табу.

Я привлекал внимание общества не репутацией художника, а присутствием в интернете. Начав как компьютерный профан,

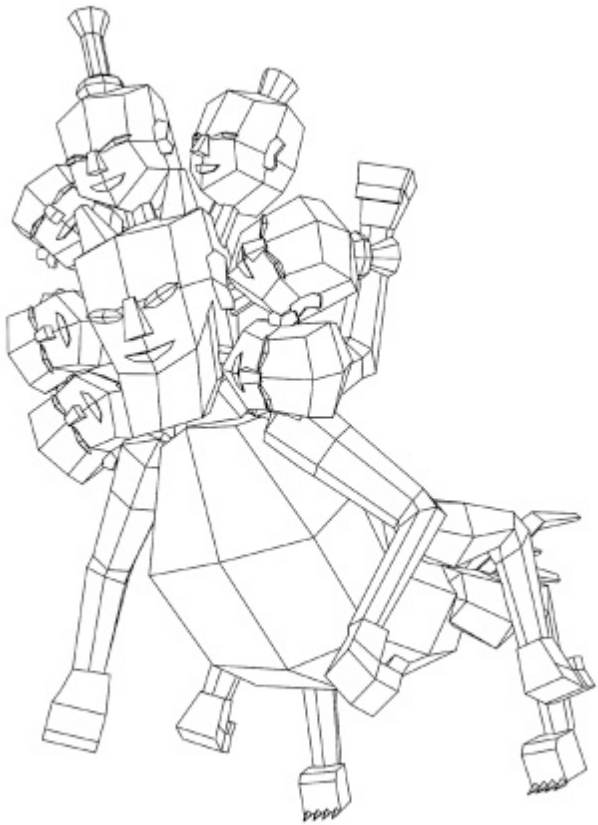
печатавший одним пальцем, я превратился в блогера-ветерана, публикующего по пять эссе в день, при этом в глазах окружающих я занимался сизифовым трудом, так как мои посты постоянно стирали. Когда блог исчез, я почувствовал, будто мое тело раздирают на куски; я понял, что это конец «Гражданского расследования». Причина, по которой правительство отказывалось давать голос альтернативному мнению и по которой желало удалить из поля зрения обладателя этого голоса, была проста: власть имущие понимали, что как только идеями можно будет обмениваться свободно, их дни будут сочтены.

Двадцать девятого мая, в день, когда закрыли мой блог, я открыл микроблог на китайской платформе под названием Fanfou, а также зарегистрировался в Twitter, чтобы писать для читателей за пределами Китая. Микроблог в Fanfou оказался отличным местом для неформальных комментариев: его сжатый формат облегчал вес серьезных тем, что позволило — до поры до времени — не привлекать внимания государства. Там можно было свободно писать посты, комментировать, общаться или болтать глупости, разумеется, если коротко. Когда я в шутку написал: «Поскольку дел, связанных с государственной безопасностью, сегодня не было, полиция не стала вызывать художника Ай Вэйвэя на допрос», в ответ сразу же посыпались забавные версии с моими словами, но переставленными в самых разных комбинациях, например: «Поскольку дело связано с безопасностью, Ай Вэйвэй сегодня вызвал на допрос государство», «Поскольку государство связано с безопасностью Ай Вэйвэя, дело забрала полиция», «Поскольку Ай Вэйвэй связан с защитой государственной безопасности, полиция вызвала на допрос службу безопасности».

Я сидел на табурете, и экран передо мной казался фантастическим осьминогом, бесчисленные щупальца которого соединялись с любым уголком интернета. Я печатал на клавиатуре двумя средними пальцами и представлял, как это действие может привести к концу загнившего, разлагающегося мира, и чувствовал себя в невесомости. Все посты в микроблоге были краткими; как будто стоишь не перед океаном, а перед журчащей речушкой, и ее бесконечный поток несет тебя вперед, непрерывно расширяя и обновляя пространство.

Между закрытием моего блога и появлением микроблога прошел один день — день, в течение которого мое отчаяние быстро сменилось радостным предвкушением. Со временем интернет-цензоры закрыли и мой микроблог, но фанаты принялись создавать для меня новые учетные записи, используя псевдонимы вроде «Вэйвэйвэй», «Вэйвэй Ай», «Вэй Айай» и «Ай

Вэйлай», и на некоторое время возникла невероятная путаница, которая сбила с толку цензуру, так как стало невозможно определить, стоял ли я за одним из них или за всеми сразу. Я становился все эмоциональнее и советовал своим читателям быть напористее — показать государству средний палец, пока его не оторвали. Сила была именно в таких спонтанных, мимолетных взаимодействиях. Но эти безрассудные времена длились недолго.



К 2009 году интернет стал в Китае невероятно популярен, и общественные протесты в любой части страны привлекали пристальное внимание в Сети. Правительство утверждало, что «стабильность важнее всего», и приняло соответствующие ответные меры. Их бюджет на «поддержание стабильности» стал превышать военный бюджет страны, и надзор над интернетом становился все строже. Закрыли не только мой микроблог — всего через месяц, если не меньше, закрыли и сам Fanfou. У меня остался только Twitter, но он был по другую сторону китайской «цифровой стены», и, чтобы «перепрыгнуть через стену», мне нужен был VPN. Когда я добирался до Twitter, то сидел там до

утра и почти не спал. Искусство для меня временно отошло на второй план, потому что я боролся за присутствие в интернете. Я должен был найти арену, доступную также и для аудитории.

Художественный музей Мори, расположившийся на самом верху башни Мори в районе Роппонги Хиллз, — одно из самых прекрасных арт-пространств Токио. Здесь в июле 2009 года провели мою самую большую на тот момент персональную выставку. Куратором выступила Мами Катаока, и выставка «На каком основании?» (According to What?) представила двадцать шесть моих работ в трех галереях под рубриками «Фундаментальные формы и массы» (Fundamental Forms and Masses), «Структура и мастерство» (Structure and Craft) и «Реформа и наследие» (Reform and Inheritance). В фойе я повесил гигантскую хрустальную люстру, меняющую очертания по мере того, как человек поднимался или спускался на эскалаторе, при входе размещалась сотня с лишним фотографий стадиона «Птичье гнездо» на разных этапах строительства — открытые ребра конструкции напоминали скелет динозавра.

Еще одной новой инсталляцией стала скульптура «Киппе» (Kippe), тесный союз двух весьма разных материалов. Первым элементом служили параллельные металлические брусья, найденные на заброшенной фабрике: на социалистической родине моего детства на каждой спортивной площадке для рабочих были установлены подобные брусья — возможно, это влияние достижений СССР в спортивной гимнастике. Второй элемент — сотни кусков железного дерева, очень тяжелой тропической древесины; они напоминали мне связки хвороста, которые я когда-то собирал в Синьцзяне. Эти бруски были найдены в разрушенном храме эпохи Цин на юге Китая, и я впервые их использовал несколькими годами ранее в работе «Карта Китая» (Map of China), которая на первый взгляд казалась единым, огромным куском дерева, но на самом деле была собрана из множества кусков железного дерева.

Рецензии китайских критиков были отрицательными, что отражало парадоксальность моего положения в родной стране. Как активист я достиг в Китае общенародного признания, но мое искусство постоянно ругали. С другой стороны, когда я высказывался о текущих событиях, люди тоже нередко отзывались пренебрежительно: «Он всего лишь художник — что он в этом понимает?» А теперь, в Токио, критики рассуждали иначе: «У него все про политику». Один пекинский куратор написал: «Работам Ай Вэйвэя не хватает оригинальности — просто крупный масштаб его инсталляций, дорогие материалы и популярность в Европе

работают на его репутацию в Японии». Другой добавил столь же снисходительно: «Поскольку работы Ай Вэйвэя просты и не отягощены глубиной мысли, они легко становятся популярными». Но эти оскорбления меня не расстраивали. Я никогда не рассчитывал, что буду нравиться всем, особенно когда дело касается двух соперничающих мировоззрений.

Выставка «На каком основании?» не привлекла особого внимания японской публики. В Азии того времени современному искусству обычно не придавали особого значения. Иногда мои произведения напоминают мне лосося, плывущего из океана обратно в родную реку: ему нужно пройти полный цикл, чтобы завершить свою миссию. Впоследствии, когда выставку повезли в США, Канаду и другие страны, она получила весьма теплый прием. Но к тому моменту я уже находился в одной из секретных китайских тюрем.

В три часа ночи 12 августа я проснулся от громкого, настойчивого стука. Я услышал, как в темноте кто-то кричал и как вышибли дверь, а через замочную скважину заметил свет фонарей в конце гостиничного коридора. Я инстинктивно включил диктофон, который лежал в сумке для компьютера, и в то же время набрал 110, чтобы вызвать полицию.

Я снова находился в Сычуани, на этот раз с целью выступить свидетелем по делу борца за права человека, которого горячо поддерживал. Тань Цзожэнь, писатель из Чэнду, независимо от моих проектов стал первым рядовым гражданином, который создал базу данных жертв землетрясения и расследовал качество строительства школ, где в 2008 году погибло так много детей. Тань был арестован в марте 2009 года, но только летом я узнал от его адвоката, Пу Чжицяна, что ему выдвинули обвинение в «подстрекательстве к подрыву государственной власти» — в Китае это считается тяжким преступлением.

Пу Чжицян надеялся, что я смогу выступить свидетелем защиты, и я согласился. Я считал, что результаты моего собственного расследования землетрясения в Вэньчуане могут стать бесспорным подтверждением невиновности Тань Цзожэня, так как собранные мной свидетельства неопровержимо доказывали неприемлемое качество строительных материалов, что и привело к гибели детей.

Вечером 11 августа я прибыл в Чэнду в компании своего друга, рок-музыканта Цзосяо Цзучжоу, а также десяти сотрудников студии, и заселился в гостиницу Anyi, что неподалеку от Народного суда промежуточной инстанции Чэнду. Местный писатель пришел поприветствовать нас и сразу повел в

ресторан у Народного парка, славящийся «копытцами по маминому рецепту» — местным деликатесом, свиными ножками в бульоне.

После ужина я отправился обратно в гостиницу. Уже было поздно, и улицы опустели, но я заметил, что перед гостиницей остановился белый седан: двое мужчин на передних сиденьях, окна опущены. Интуиция подсказала мне, что они что-то замышляют, так что я быстро подошел к ним и обратился через открытое окно: «Вы ведь меня поджидаете, да?» Они встревоженно переглянулись. Водитель завел машину и медленно отъехал, явно пребывая в замешательстве.

Меня разбудили удары и крики.

Вскоре несколько полицейских вышибли дверь и вломились ко мне. Отбиваясь, я порвал футболку и почувствовал жгучую боль от удара по голове. Я обернулся и увидел приземистого, коренастого полицейского с телескопической дубинкой в руке; выдвигающаяся часть никак не складывалась обратно после того, как сделала свое дело, и он пытался вставить ее на место. Вот какой диалог записал мой диктофон.

АЙ: Почему вы меня бьете?

ПОЛИЦИЯ: Кто вас бил? Кто это видел?

АЙ: Ах, вот как, оказывается, ведут себя полицейские?

ПОЛИЦИЯ: Какие у вас доказательства? Кто вас бил? Кто именно? И куда вас ударили? Где следы удара? Вы просто выдумываете на ходу.

АЙ: Вы тратите мое время.

ПОЛИЦИЯ: Кто вас бил? Я вас спрашиваю.

АЙ: Кто меня бил? Если вы меня не били, почему тогда у меня футболка порвалась?

ПОЛИЦИЯ: Вы ее сами порвали!

АЙ: О, то есть это я ее порвал. И сам себя побил, видимо.

ПОЛИЦИЯ: Вот именно!

Мое лицо пылало, я обнаружил, что не могу заставить себя закрыть рот; голова шла кругом, а в ушах звенело. По ходу дальнейших препирательств, пока десять миллионов жителей Чэнду спокойно спали у себя в кроватях, я постарался отправить новые посты в Twitter, чтобы подписчики по всему миру как можно скорее узнали эти новости.

Мой первый твит был в 4:35 утра: «Рано утром ко мне вломились десятки полицейских и в ответ на мое требование

предъявить удостоверения побили меня. Нескольких волонтеров увезли. Полиция говорит, что нас не отпустят до полудня».

Примерно через час полицейские согласились показать мои повреждения врачу. В сопровождении полиции мы с Цзосяо вошли в лифт, чтобы спуститься. На мне все еще была разорванная красная футболка, и я встал спиной к зеркалу в стальной раме, поднял свой телефон Nokia и сделал фотографию. В этой тесноте вспышка оказалась ослепительно яркой, и стоявший рядом полицейский ошеломленно молчал. Я улучил момент и выложил эту фотографию в интернет, получив от этого такое удовольствие, что оно перевесило страх, боль и стресс от произошедшего. Несмотря на то, что полиция меня зверски избила и лишила свободы передвижения, я торжествовал и фотографию подписал так: «Лучший кадр!» Вскоре фотография распространилась по всему интернету, и новости о нашем аресте в Чэнду публиковались в режиме реального времени.

После визита к врачу меня на несколько часов заперли в гостиничном номере, а нескольких членов команды повели на допрос. Полицейские отказывались объяснять, почему нас задержали, только повторяли с сильным сычуаньским акцентом: «Пожалуйста, отнеситесь с пониманием, мы просто делаем свою работу». Только в два часа дня нам разрешили выйти из гостиницы, но суд над Тань Цзожэнем к тому времени уже закончился. Тем вечером я улетел обратно в Пекин, а когда садился в самолет в Чэнду, то могло показаться, что мне и предъявить нечего, кроме большого синяка на голове.

Вернувшись в Пекин, я быстро выдал серию твитов. «Я вернулся, — написал я в 9:52 вечера. — Чэнду, конечно, не худшее место, но определенно самое безнадежное: снизу доверху лишенное всякой доброжелательности, малейшей капли смысла и намека на нравственность». В 11:22 я добавил: «Это не слишком мучительно — пустяки. Я столкнулся с тупостью, бесстыдством и злобой полиции, но в сравнении с системой это мелочь». «В отчаяние приводит то, — написал я в 11:54, — что они отказываются от любого обсуждения, поскольку у них свой взгляд на вещи: „От меня ничего не зависит“. И поэтому они способны на все».

На этом наше дело с Чэндунской службой государственной безопасности не закончилось. На следующее утро я отправился прямиком в клетку со львами в сопровождении своего адвоката Лю Сяоюаня. Я поставил перед собой две цели. Во-первых, я хотел подать жалобу на нападение и насильственное удержание в гостиничном номере; во-вторых, выяснить, почему одну из моих помощниц, Лю Яньпин, до сих пор не выпустили из-под стражи. К

нам присоединились Пу Чжицян и муж Лю Яньпин, а также мой оператор Чжао Чжао. Большая часть материала, отснятого Чжао Чжао в тот день, вскоре войдет в наш документальный фильм «Нарушение спокойствия» (Disturbing the Peace), в Китае он назывался «Лаома тихуа» — «Копытца по маминому рецепту».

В наши дни в Китае вы никогда не получили бы разрешение на съемку в полицейском участке. Но до того дня просто никому в голову не приходило записывать на видео свое общение с полицией, соответственно не существовало и правил на этот счет. В отсутствие определенных указаний сверху и не ожидая, что мы так быстро можем пустить в ход отснятые материалы, они не препятствовали съемке.

Изначально нам посоветовали обратиться к некоему Сюй Цзе, начальнику отдела по правовым вопросам в районном отделении управления общественной безопасности Цзиньню. Когда мы приехали в указанное здание, то не смогли найти и следа этого человека, и вместо него нас приняла женщина-комиссар по имени Сюй Хуэй, которая выслушала жалобы, но заявила, что ничего об этом не знает. Она явно хотела поскорее от нас избавиться, а мы столь же решительно были настроены остаться, заподозрив, что если уйдем, то обратно нас потом не пустят.

Сюй Хуэй выбилась из сил, безуспешно пытаясь нас переубедить, и наконец отправила к начальнику отдела Сюй Цзе. В «Нарушении спокойствия» он, сам того не зная, сыграл главную роль, продемонстрировав велеречивую уклончивость и безразличие к должностному преступлению людей, встроенных вглубь системы. Для начальника отдела Сюй Цзе наш протест не имел ни малейшего значения, и если он мог навешать на уши лапши, то делал это; если мог потянуть время, то тянул. Он не сказал ни слова правды, ни на один вопрос не ответил прямо и вместо этого вел себя так, будто дело не имеет к нему никакого отношения. Все представители власти были такими: независимо от ранга, они полагались на то, что система их не выдаст. Они знали, что продержатся дольше тебя — ведь у тебя закончатся ресурсы на борьбу. Они сами их и истощали. Когда мы спорили и приводили аргументы, исходя из представления, что они несут ответственность перед народом, мы демонстрировали только то, что не понимаем, как все устроено.

Если у человека нет права задавать вопросы, он не может быть свободен, и я отказывался смириться с мыслью, что государственной власти нельзя противостоять, бросать вызов или задавать вопросы. Я знал, что всегда проигрываю властям, но я родился бунтарем и могу жить только так — в оппозиции. В тот день я не отличался благоразумием и дипломатичностью, но мне

было любопытно, куда меня все это заведет. В конце концов мое вмешательство привело как минимум к одному хорошему результату: тем вечером Лю Яньпин выпустили, и мы вместе благополучно вернулись в Пекин.

В Чэнду мы снимали по возможности каждый свой шаг. Документальное кино делается так же естественно и инстинктивно, как в дождливую погоду открывается зонт, а в Чэнду мы поняли, что дождь вряд ли прекратится за время нашего пребывания — он все лил, — так что мы решили держать зонт открытым, то есть записывали на видео все происходящее.

Иногда мои друзья интересуются, как снять документальный фильм. Есть три основных правила, объясняю я: начать снимать, продолжать снимать и никогда не переставать снимать. Покуда камера работает, у вас есть запись, и нет такого отснятого материала, который нельзя должным образом смонтировать. Фиксировать происходящее важнее, чем пытаться убедить зрителей в определенной точке зрения, и это тем более справедливо, когда информация под запретом.

В данном случае люди отчаянно пытались понять, что произошло в Чэнду. Они лихорадочно обменивались обрывками новостей, которые я публиковал, и теперь хотели услышать историю целиком. Вернувшись в Пекин, я безотлагательно засел за монтаж отснятого материала, и уже через неделю мы опубликовали фильм «Нарушение спокойствия» в интернете, где он моментально стал сенсацией. Китайских зрителей поразили сцены, в которых мы отчитываем полицейских, вынуждая их беспомощно оправдываться, — они никогда не видели ничего подобного. На YouTube фильм посмотрели более 400 000 раз. Впоследствии мы выпустили 40 000 компакт-дисков с этим документальным фильмом, и наши друзья добавили субтитры на английском, французском, немецком и японском.

В Чэнду я впервые столкнулся с физическим насилием — до этого власти только шпионили за мной издалека. Они продолжали следить за мной в Пекине с помощью десятка камер, установленных по периметру студии, а за воротами всегда дежурила пара молодчиков. «Если вы не собираетесь сажать меня в тюрьму, — сказал я им, — то прекратите меня доставать слежкой». Но они просто выжидали. Когда я стал громче высказываться против государства, они лишь больше ожесточились, и то, что я пережил в Чэнду, изменило мое представление о ситуации. Я не хотел, чтобы моя бескомпромиссная позиция угрожала безопасности семьи, и, конечно, принимал во внимание исковерканную изгнанием жизнь отца. В то же время я был полон решимости проверить, насколько

далеко смогу зайти. Эти вопросы волновали и других активистов, моих единомышленников, и они заняли выжидательную позицию. Что касается Тань Цзожэня, его приговорили к пяти годам лишения свободы за подстрекательство к подрыву государственной власти.

Оказалось, мне все же не удалось сбежать из Чэнду без серьезных последствий. В сентябре, когда я полетел в Мюнхен устраивать большую персональную выставку в Доме искусства, головная боль, мучившая меня после избиения целый месяц, стала совершенно невыносимой. В вечер прилета в Мюнхен боль так усилилась, что я не мог даже разговаривать, не то что думать о делах. На следующий день директор Дома искусства Крис Деркон первым делом отправил меня в больницу. При первичном осмотре в Университетской клинике Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана врачи обнаружили внутричерепную гематому и сгусток крови на правой стороне твердой мозговой оболочки; правое полушарие было смещено. Меня немедленно положили в больницу для обследования.

Нейрохирург Йорг-Кристиан Тонн, который меня обследовал, в восемь вечера уже был дома, как вдруг вспомнил, что оставил на работе папку с документами, и вернулся за ней. Оказавшись в клинике, он заодно осмотрел меня еще раз и обнаружил, что мое состояние стремительно ухудшается — я впадал в кому. Он решил немедленно оперировать. Несколько часов спустя я отошел от наркоза и узнал, что с правой стороны черепа мне просверлили две дырочки и откачали двадцать миллиграммов жидкости из-под мозговой ткани — головная боль прошла.

В ночь перед операцией, когда голова болела сильнее всего, я пытался отвлечься от этих мучений и представлял, как выплываю из окна и растворяюсь в небе. Теперь я выздоравливал после того, как чуть не умер, и смог с облегчением вернуться к искусству (и работе над мюнхенской выставкой). События в Чэнду доказали, что вести дальнейшие переговоры с китайским правительством не имеет смысла. Много лет я был физически и эмоционально поглощен миром социальных сетей и политической борьбы, а теперь искусство предлагало мне тихую гавань, менее агрессивный язык, зону комфорта со свободой передвижения.

Название мюнхенской выставки — «Очень жаль» (So Sorry) — предложил Крис Деркон, сделав отсылку к неискренним извинениям, которые человек (или государство) использует для того, чтобы скрыть оплошность и замести ее под ковер. Выполняя обещание, данное мной в Сычуани матери Ян Сяовань, я покрыл фасад Дома искусства более чем девятью тысячами школьных рюкзаков, вместе они образовали цветные китайские иероглифы,

из которых получалось предложение: «Она счастливо прожила в этом мире семь лет». В мире случаются самые разные трагедии, но величайшая трагедия — когда люди пренебрегают жизнями других. Ян Сяовань будут помнить, ведь все трагически погибшие дети заслуживают того, чтобы их помнили.

Дом искусства в Мюнхене построили в 1930-х годах на южной кромке крупнейшего парка города, и некоторое время он служил памятником Третьему рейху, почитаемым как «дар фюреру от немецкого народа». Во время правления Адольфа Гитлера в этом музее каждый год проводили Большие германские художественные выставки, целью которых была демонстрация истинно немецкого искусства, одобряемого нацистами, в противовес «дегенеративному искусству», которое порицали и убирали из музеев страны. Нацисты, как и коммунисты, считали искусство инструментом идеологической борьбы.

За годы Дом искусства несколько обветшал, каменные полы главной галереи потрескались и покрылись пятнами. Я сфотографировал все до единой плитки пола и заказал шерстяной ковер, который не только полностью соответствовал размеру, но и в точности повторял цвет и рисунок каждой плитки, даже трещинки и неровности этого пола, воскрешая один за другим пласты истории, залегающие в основании современной Европы. Поверх этого мягкого ковра я поставил сотню крупных высушенных стволов деревьев, каждому из которых было более ста лет. Их привезли с гор на юге Китая.

Эта работа под названием «Выкорчеванные» (Rooted Upon) отражала мой возобновившийся интерес к формам и структурам мира природы, а также приобщение к любви китайцев к камням, бамбуку и корням деревьев — эта многовековая традиция связана с глубоким пониманием отношений человека с окружающим миром. И наконец, по всем четырем стенам галереи я развесил 1001 портрет участников «Сказки», что воплощало дух открытости и приключений, который привел этих гостей из Китая в Кассель.

В отличие от выставки «На каком основании?», прошедшей в том году в Токио ранее и получившей не так много внимания, «Очень жаль» открылась сразу после новостей о моей госпитализации и оказалась очень популярна, а отзывы были прямо-таки восторженными. Такое признание в Мюнхене, важнейшем для мира искусства городе в самом сердце Европы, усилило мою духовную связь с отцом, чья любовь к искусству была воспитана музеями и галереями Парижа.

В конце года я стал обдумывать возможности, предлагаемые

новым приглашением, на этот раз от «Тейт Модерн» в Лондоне. В рамках серии проектов в сотрудничестве с компанией Unilever музей попросил меня сделать художественное произведение для Турбинного зала — огромного пространства в 500 футов длиной и 75 шириной, с потолком высотой в 115 футов (152 × 23 × 35 м). Выставлять одиночную, изолированную работу — довольно сложная задача, примерно как пытаться передать весь свой жизненный опыт одним словом. Но вскоре одна идея завладела моим воображением.

За прошедшие годы я установил отношения с мастерами по фарфору из города Цзиндэчжэнь, что в провинции Цзянси. Эти мастера славятся многовековой историей формования, гравировки и росписи фарфора; во времена Мин и Цин Цзиндэчжэнь производил керамику на продажу, а также поставлял императорскому двору фарфор высочайшего качества. Меня давно завораживали традиционные китайские ремесла, которые занимались репрезентативным искусством[42] в миниатюре, и еще в 1970-х годах я экспериментировал с изготовлением керамики. Мы вместе с мастерами из Цзиндэчжэня исследовали способы создания крошечных реалистичных фарфоровых изделий, воспроизводящих окружающий мир.

Исторически искусство миниатюры в Китае имело чисто декоративную функцию и высоко ценилось в домашней, частной обстановке, но в заказе от «Тейт Модерн» я увидел возможность применить его в гигантском, концептуальном масштабе. Я хотел попробовать поработать с чем-то подразумевающим материальный объект, тесно связанный с культурой и историей, памятью и личностью; с предметом, мгновенно узнаваемым, но в то же время открытым к интерпретациям.

Я решил, что семена подсолнечника отлично подходят. Эти семечки всегда были частью моей жизни. На одной из моих ранних фотографий изображен профиль Марселя Дюшана, который я изготовил, согнув вешалку в форме человеческой головы. Эта вешалка лежит на столе моей нью-йоркской квартиры, и лицо Дюшана выделяется на фоне разбросанной лузги: будучи бедным художником, я грыз много семечек.

Когда я был ребенком, из вещей у нас почти ничего не было, кроме кровати, печки и стола. Но даже в самые тяжелые дни в кармане находилась горстка семечек. Они дарили душевный покой и слегка заглушали голод, так что люди постоянно щелкали их.

В эпоху Мао подсолнухи в Китае тоже имели особый статус, так как символизировали народ, который номинально правил страной, но, как постоянно напоминали нам пропагандистские

плакаты тех времен, безоговорочно обязан всем — даже самой жизнью — великому лидеру Мао Цзэдуну. Бесчисленные картинки с подписями вроде «Любимый Мао Цзэдун, мы всегда будем тебе верны!» или «Председатель Мао — самое красное солнце в наших сердцах» изображали в центре Мао с самодовольной улыбкой, с огромным красным солнцем, восходящим за головой и напоминающим нимб, а внизу поле подсолнухов, которые завороженно повернули к нему свои лица, купаясь в лучах его безграничной мудрости.

К марту 2010 года, когда я отправил описание проекта в «Тейт Модерн», идея оформилась в моем сознании: нужно заполнить огромное пространство Турбинного зала не одной большой, внушительной скульптурой, а ее противоположностью. Я задумал засыпать пол крошечными, невзрачными предметами: сотней миллионов семян подсолнечника. Которые еще предстояло изготовить.

Глава 17. Праздник речного краба

В Банке Китая в Пекине два агента государственной безопасности изучали мой счет на предмет признаков «экономических преступлений». Один из сотрудников банка оказался читателем моего блога и сообщил мне об этом, и я сразу опубликовал эту новость в интернете. Угроза подбиралась ко мне все ближе, но я продолжал идти вперед.

Однажды в феврале 2010 года, когда я покупал кое-какие материалы, мой помощник Сюй Е позвонил из Цаочанди и сказал, что в студию пришла группа художников и ищет встречи. Они жили в арт-квартале неподалеку от Цаочанди и, когда я вернулся, окружили меня. У одного голова была замотана бинтами, а лицо и волосы заляпаны кровью. Они рассказали, что прошлой ночью на их район налетела банда головорезов с ножами и дубинками и стала требовать немедленно покинуть дома; всех, кто отказывался, избивали. Местные власти в Китае, чей доход во многом зависел от продажи земли, часто принуждали людей выселяться под покровом ночи. У художников не оставалось другого выбора, они бежали, и теперь спецтехника рушила их поселение.

Я сказал, что, если они хотят защитить свои права, протестовать в замкнутом пространстве не получится. Когда тебя бьет мать, бессмысленно устраивать переполох в доме — нужно выбежать на улицу, где вас могут увидеть соседи.

«Давайте попробуем проспект Чанъаньцзе», — предложил я, что звучало амбициозно, ведь этот знаменитый проспект вел прямо к площади Тяньаньмэнь. Вообще я не ожидал, что полиция нам позволит даже приблизиться к нему, особенно с учетом того, что в преддверии двух важных правительственных мероприятий в Пекине город усиленно охранялся. Но мне нравилась идея вынести проблему насильно снесенных домов из интернета на улицу.

На дороге из Цаочанди в Цзяньгомэнь, что на востоке Пекина, совсем не было пробок. Выйдя из наших машин на восточной стороне проспекта Чанъаньцзе, мы развернули три больших транспаранта из белой ткани и черной краской написали на них протестные лозунги. Один из художников вез пострадавшего соратника в инвалидной коляске, а остальные пешком двигались на запад в сторону Тяньаньмэнь. По дороге я делал фотографии и публиковал новости в Twitter.

Чанъаньцзе, самый длинный и широкий проспект в Пекине, делит город на север и юг и идет строго прямо: где ни встань,

кажется, что он бесконечен. Именно по этой улице шла демонстрация за демократию во время событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, и именно здесь армия начала свое кровавое вторжение в центр города ранним утром 4 июня.

Мы все шли вперед, но водители и пешеходы не обращали внимания на наши выкрики, а полиции, как ни странно, вокруг было не видно. Только подойдя ближе к Тяньаньмэнь, мы начали привлекать внимание людей, и сразу же появились вооруженные полицейские в штатском. Они не давали нам пройти, но в целом вели себя спокойно и никого не арестовали. Когда я вернулся домой, иностранные СМИ взяли у меня интервью, в котором я объяснил цель демонстрации, не исключая при этом возможных репрессий со стороны властей в ответ на наши действия. Спустя год, когда меня допрашивали, я узнал, что участие в этом протесте стало одной из причин моего задержания.

В марте 2010 года мне дважды представился случай рассказать о своем сопротивлении государственной цензуре. В первый раз это было на международном литературном фестивале lit.COLOGNE, где я вступил с дискуссию с Гертой Мюллер — уроженкой Румынии, получившей Нобелевскую премию. Перед началом мероприятия она спросила меня за кулисами, нервничаю ли я, и добавила, что сама всегда на взводе перед выступлением. Но Герта оказалась великолепным оратором, и ее миниатюрность лишь подчеркивала остроту ее наблюдений. Когда Румыния была коммунистическим государством, органы государственной безопасности третировали Герту, пытаясь завербовать. Но она отказалась шпионить за людьми. Она сказала полиции, что если когда-либо на это согласится, то перестанет быть собой. Вместо этого Герта всю жизнь боролась с тоталитаризмом, говорила и писала от имени людей, которых погубил режим. Она отказывалась забывать прошлое и поступаться принципами.

Герта задала мне вопрос: не переоцениваю ли я способность интернета способствовать переменам? Сама она сомневалась в том, что его влияние так велико: она признавала, что вдохновить молодых легко и у них может появиться ощущение, будто они способны существенно изменить общество, но диктаторы заносчивы, и они арестуют и убьют, кого захотят. Вероятно, она права, согласился я: простое порицание тоталитаризма не приведет к трансформации общества в целом, настоящие перемены требуют благоприятных условий. Тем не менее я все же считал сопротивление важным. «Если я найду одну свечку в кромешной темноте, — сказал я, — то обязательно зажгу ее. У меня нет другого выбора». Как бы власти ни пытались заткнуть

мне рот, я всегда буду стремиться к тому, чтобы мой голос был услышан.

Через несколько дней я проводил в нью-йоркском Центре средств массовой информации Пейли видеоконференцию с Джеком Дорси, основателем Twitter, и Ричардом Мак-Манусом, создателем блога о технологиях ReadWriteWeb. Мне было интересно, почему не существует версии Twitter на китайском, и Дорси ответил, что этому препятствует техническая проблема, решение которой требует времени. Он только недавно узнал, что Twitter заблокирован в Китае. Я говорил о социальных сетях и цифровом активизме в Китае, о написании твитов на китайском, об уходе Google с китайского рынка и о том, что в интернете запрещены сами слова «Ай Вэйвэй». Я объяснил, что интернет в Китае подвергается строгой цензуре, а YouTube, Facebook[43] и Twitter недоступны обычным пользователям. Существуют подражательные клоны Facebook[44] и Twitter, но они служат инструментами государственной пропаганды, и их содержимое строго контролируется.

Я отметил преимущества использования в твитах китайских иероглифов в сравнении с латиницей, так как на одном и том же пространстве можно разместить в три раза больше информации. Когда я распространял в Twitter какую-либо новость, в Китае ее читала огромная аудитория, так как множество технически подкованных пользователей умели обходить запреты. Когда в 2009 году закрыли Fanfou, его пользователи перешли в Twitter. Потом заблокировали Twitter, но цензоры не смогли его истребить до конца, и многие журналисты, юристы и активисты продолжали его использовать. Однако в начале 2011 года китайская пользовательская база Twitter понесла серьезнейшие потери, когда несколько десятков активных пользователей арестовали, поместили под домашний арест или «пригласили на чай». Многие из них так и не вернулись в Twitter.

Месяцами я писал твиты то об одном, то о другом скандальном происшествии и при этом умудрялся оставаться онлайн, несмотря на прямую критику китайских властей. Когда пришло время вопросов слушателей, меня спросили, помогло ли мне прославиться то, что я сын известного поэта. В ответ я пошутил: «Если бы Twitter появился раньше, то сейчас моя слава уже превзошла бы отцовскую». Это могло прозвучать чересчур самонадеянно, но сказанное отражало правду о том, какое внимание привлекали мои твиты.

В то же время я выразил надежду, что однажды необходимость писать в Twitter пропадет. Интернет-активность начинала мне приедаться. В частности, писать твиты стало

слишком просто, а я, овладев каким-либо навыком, чувствую пресыщение и не хочу делать это снова и снова. Соответственно настал момент, когда я на некоторое время действительно перестал появляться в Twitter.

Документальные фильмы были где-то посередине между моим исступленным ведением блога в Twitter и медленным развитием арт-проектов в реальном мире. Сейчас я уже сбился со счета, сколько документальных фильмов мы сделали; едва закончив работу, мы выкладывали их в интернет. В Китае, где свобода самовыражения никогда не была нормой, не так-то просто сделать свою работу доступной для других. Но я нашел способ.

Почти все наши фильмы касались острых политических тем, и из каналов дистрибуции нам были доступны только загрузка в интернет или рассылка DVD. О публичных показах не могло быть и речи. В конце 2009 года я начал раздавать копии своих фильмов на физических носителях: двадцать тысяч копий «Сказки» на дисках, двадцать пять тысяч копий «Нарушения спокойствия», пять тысяч копий «Щек маленькой девочки», двадцать тысяч копий «Одного затворника» и тысячи других. Каждый диск был красиво оформлен, почти как стильный подарок. В 2010 году и начале 2011 года мы сняли «Цветы прекрасны и луна полна» (Hua Hao Yue Yuan) о двух молодых активистах, преследуемых властями, «Очень жаль» (сиквел «Нарушения общественного порядка»), «Ордос 100» (Ordos 100) о том, как сто архитекторов со всего мира участвовали в проекте постройки нового города во Внутренней Монголии, «Пустыню Мала» (The Mala Desert) о противостоянии свободомыслящего пользователя и проправительственного интернет-тролля и «Мирный Юэцин» (Ping'an Yueqing) о подозрении в убийстве деревенского старосты.

Мы с Ван Фэнь не жили вместе, но виделись каждый день и водили Ай Лао, которому уже было больше года, в лучшее место для игр — местный парк. Так как воздух в Пекине был очень плохой и мальчик часто простужался и лежал с температурой, мы постоянно ходили с ним к врачу. В свободное от ухода за ребенком время Ван Фэнь занималась монтажом документальных фильмов, в чем она была специалистом, хотя политика не так занимала ее, как меня. Со времени проведения «Гражданского расследования» деревня Цаочанди, взбудораженная нашей командой, стала центром свободы и сопротивления. К слову сказать, я никогда не мог с уверенностью назвать число членов нашей команды, как не знал и того, сколько кошек бродит по нашей территории.

В апреле 2010 года, в преддверии второй годовщины

трагического землетрясения в Сычуани, я с помощью добровольцев организовал поминальное мероприятие под лозунгом «Уважай жизнь, откажись забывать». Я попросил пользователей интернета зачитывать вслух имена из нашего списка тысяч погибших школьников и прислать нам аудиофайл. Откликнулось 3444 человека, многие зачитывали по несколько имен. После сведения звука более чем двух тысяч таких записей я выложил «Поминовение» (Remembrance) в интернет в качестве посвящения и протеста.

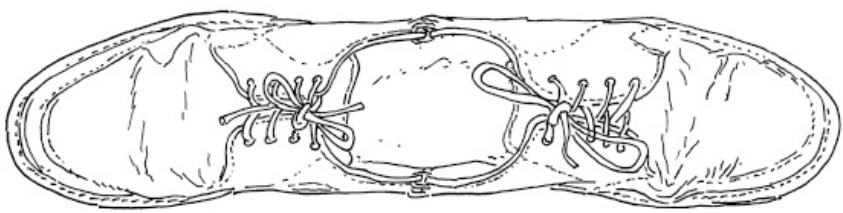
После многих месяцев кропотливого труда тысячи шестисот пар рук сто миллионов семян подсолнечника были готовы к отправке в Лондон для инсталляции в «Тейт Модерн». Изготовление одного керамического семечка по сложности ничем не уступает работе над любым другим гончарным изделием с производственным процессом, состоящим из двадцати шагов. Несомненно, проект такого грандиозного масштаба в наши дни осуществим только в Китае, где есть возможность нанять одновременно тысячу шестьсот искусных мастеров ручного труда. Благодаря их усердию и терпению количество семечек постепенно приблизилось к необходимому.

Семена подсолнечника (Sunflower Seeds), 2010 год

Для этих рабочих изготовление изделий своими руками — привычное дело. Они доставали из печи для обжига порцию семечек, забирали домой и раскрашивали, как только удавалось улучить секунду — пока ребенок играл или родители готовили еду. Под крышами домов в Цзиндэчжэне росли кучи семечек.

Этот процесс напомнил мне о том, что случилось в Нью-Йорке в 1980-х годах, когда я соорудил один сюрреалистический объект. Я взял пару ботинок, разрезал каждый на две части, задники выбросил, а носы сшил вместе. Мне показалось, что свежий слой обувного крема придаст работе законченный вид, так что отправился на улицу к местному сапожнику и протянул свой уникальный башмак пожилому поляку за прилавком. Изучив мое творение, он помрачнел. Он обернулся и позвал жену, которая работала в задней комнате. Они принялись вместе разглядывать мой ботинок, который нельзя носить. «У нас нет черного крема», — сказал он. «Ничего страшного, — ответил я. — Коричневый тоже подойдет». Теперь он выглядел еще более непреклонным. «Полировальная машинка сломалась».

Тут я понял, что они обижены. Нельзя относиться легкомысленно к делу всей их жизни, им не понравился мой странный ботинок. Когда ты мастер своего дела, это крепко связывает тебя с обществом, чего мне самому в то время мучительно недоставало. Я помнил об этом, когда работал над проектом с подсолнухами.



Ботинок одного человека (One Man Shoe), 1987 год

Каждое семечко было отдельным созданием, но между двумя семечками не было принципиальной разницы, а когда их собиралось некоторое количество, они становились чем-то новым. Любое из них можно было видеть по отдельности, но в то же время — нельзя, поскольку каждое тонуло в огромном потоке бесчисленных похожих семечек. Если что-то и выражает мое представление о Китае, которое понятно каждому китайцу, то это именно семечко подсолнечника.

Семена подсолнечника, подобно океану, затопили Турбинный зал галереи «Тейт Модерн». В день открытия выставки Ай Лао, которому исполнилось полтора года, подошел ко мне нетвердой еще походкой и сказал одно слово: «Чпок!» На его ладошке лежало разломанное семечко. Это была его первая поездка за границу, и я предвкушал, как повезу его с собой в дальние

страны, так далеко, как я и сам еще не ездил.

Я надеялся, что здесь, в Лондоне, люди будут ходить по этим семенам и чувствовать трение и сцепление, и им будет казаться, будто они идут по воде. И конечно, в первые несколько дней выставки лондонцы с восторгом хрустели, прокладывая свой путь по ковру из семян.

К сожалению, выяснилось, что пыль, поднимавшаяся от ног посетителей, содержала слишком много кремния и ее вдыхание могло быть вредно, так что доступ к полу пришлось закрыть. Сначала эта новость шокировала меня не меньше, чем случившееся несколько лет назад, когда во время грозы опрокинулся экспонат в Касселе. Но я никогда не считаю свои произведениями законченными — они постоянно меняются в зависимости от условий, диктуемых окружающей средой. И хотя решение закрыть доступ к семенам многое меняло, основные элементы инсталляции остались нетронутыми. Я даже почувствовал, что запрет ходить по семечкам даже усилил концепцию. И за те несколько дней, пока посетители могли спокойно гулять по инсталляции, они вынесли чуть ли не миллион семян в карманах, так что, если бы доступ оставался открытым на протяжении всей выставки, к ее окончанию уже мало что осталось бы.

Глядя на это огромное количество семян подсолнечника, посетители галереи задумывались: «Откуда они появились? Почему их так много? Кто их сделал?» Выставка получила благосклонные отзывы, даже в тех кругах, где в прошлом я не рассчитывал на особые похвалы. Китайский критик Фу Сяодун описал ее как «значимое событие в мире искусства, которое нельзя пропустить». Он сказал: «Для Ай Вэйвэя сто миллионов изготовленных вручную семечек — наиболее терпеливый и бескомпромиссный из возможных способов продемонстрировать независимость любой личности. Как неповторимо каждое семечко, так и каждая жизнь ценна сама по себе: никто не достоин сгинуть в клубах багровой пыли мирской суеты».

Музей установил в галерее видеотрансляцию: так посетители могли задавать мне вопросы, а я после возвращения в Пекин мог отвечать им онлайн. Кто-то говорил мне, что воспринял семечки подсолнечника как «семена свободы», и спрашивал, можно ли взять одно с собой; кто-то поделился своей фантазией, как однажды семечко в его руке начнет светиться в темноте, и это будет момент, когда наступит свобода. В последующие два года мы отправили по почте более сорока тысяч семечек тем, кто меня поддерживал.

Инсталляция «Семена подсолнечника» ознаменовала конец

периода, когда меня можно было обвинить в том, что у меня нет «нормальной работы». Теперь я стал проводить в интернете намного меньше времени, поднял паруса и наметил курс к неведомым землям, зная, что могу столкнуться с любыми видами непогоды.

Моя мировая известность росла, а в Китае все сильнее закручивали гайки. В 2009 году на Рождество пекинский суд приговорил писателя и активиста Лю Сяобо к одиннадцати годам тюрьмы за «подстрекательство к подрыву государственной власти». Когда Лю в октябре 2010 года присудили Нобелевскую премию мира, китайское правительство рьяно протестовало, заявляя, что нелепо давать премию мира преступнику. Органы общественной безопасности пытались помешать семье и друзьям Лю поехать на церемонию вручения премии в Осло и с этой целью составили список из ста китайских граждан, которым запрещено покидать страну.

Второго декабря я собирался вылетать из Пекина в Сеул, чтобы оттуда отправиться на биеннале в Кванджу, которую курировал. Я прошел паспортный контроль и уже был у выхода на посадку, когда ко мне подошла женщина-полицейский. «Вы господин Ай?» — спросила она. Она сообщила, что, когда я проходил границу, произошел компьютерный сбой и ей нужно посмотреть мой паспорт.

Мне оставалось только рассмеяться. «Вы что, не выпустите меня из страны?»

Она показала мне бумагу, где от руки было написано: «Поскольку ваш выезд может угрожать национальной безопасности, Управление общественной безопасности Пекина запрещает вам покидать страну». Она не дала бумагу мне в руки и не сказала, сколько продлится запрет. Все, что я мог сделать, — это высказать свое недовольство в интернете. «Когда государство ограничивает перемещения гражданина, — написал я, — оно превращается в тюрьму… Никогда не любите человека или страну, которые лишают вас свободы передвижения».

На тот момент я как раз завершил строительство новой студии около деревни Малу в сельском районе Цзядин, к северо-западу от Шанхая; это было здание из красного кирпича в конце тихой улицы, а дальше шли виноградники. Спроектировать эту студию мне предложил местный чиновник в дополнение к остальным запланированным постройкам, часть из которых уже была в работе: студия моего друга художника Дин И; музей, спроектированный Тадао Андо; галерея современного искусства индонезийского коллекционера. Ожидалось, что уже в скором

времени на месте виноградников будет колония художников.

Студия была построена как традиционный дом с внутренним двором, с трех сторон вода, а с четвертой, где вход, дорога. По периметру внешней стены шла полоса серой плитки, которой был выложен и внутренний двор. Жилое помещение располагалось с южной стороны, галерея — с восточной, студия — с западной, а гостевая комната — с северной, и каждая часть была автономна, с выходом во двор.

Строительство заняло целых два года, и взялся я за него главным образом в надежде на то, что это пространство даст мне возможность вложить всю свою энергию в творчество. У меня не было определенных планов и намерений по поводу использования студии — для меня важна была простая, но требующая скрупулезности задача спроектировать и построить здание, сконструировать студию, которая радовала бы и глаз, и душу.

В октябре 2010 года мы уже собирались туда переезжать, как вдруг мой помощник Люй Хэнчжун получил уведомление о предстоящем сносе здания на том основании, что строительные работы и назначение земельного участка нарушали местные законы. Я не в первый раз столкнулся с произволом китайских властей, но меня все же ошеломило, что такой город, как Шанхай, способен дать обратный ход, особенно если учесть, что в нем как раз шла прославленная Всемирная выставка. Чиновник, который предложил мне сделать студию, признался, что остановить снос не в его силах. В силу «политических причин», сказал он, «высокопоставленное руководство» не может позволить мне приехать в Шанхай. Его руки были связаны. «Старина Ай, — сказал он мне, — ты же знаешь, какая ты для них политическая заноза».

Но так называемой занозой я был лишь потому, что переживал за бесправных китайцев.

Моим подписчикам в Twitter не терпелось посмотреть на новую студию, которой предстояло вот-вот исчезнуть; за несколько дней более тысячи людей спросили, можно ли приехать в гости. Был сезон мохнаторукого краба — шанхайского деликатеса, и на рынке продавали этих крабов, так что я предложил провести Праздник речного краба, чтобы отметить прощание со студией. По-китайски «речной краб» (*хэ се*) звучит так же, как «гармония» (*хэсе*), заявленная политической целью нынешнего правительства. Так что этим мероприятием я демонстрировал политический протест против нарушения прав человека, на котором построена государственная политика «гармонизации».

Сидя дома в Цаочанди, я опубликовал в Twitter приглашение, и тут же ко мне заявились двое полицейских в штатском: власти давали мне понять, что не хотят, чтобы я ехал в Шанхай на этот ужин.

«Но гости уже приглашены, — возразил я. — Как же хозяин может не явиться?»

«Просто скажите им, что вы под домашним арестом», — ответили полицейские. «Я не собираюсь этого делать, — заявил я, — если только вы меня и правда не посадите под домашний арест».

Речные крабы / Хэ Се (He Xie), 2010 год

На следующее утро, когда я уже собирался ехать в аэропорт, к студии в Цаочанди приехала дюжина полицейских; они объявили, что теперь я действительно под домашним арестом. «Пожалуйста, не пытайтесь попасть в Шанхай, — сказал один из них. — Вам запрещено выходить из этого дома до полуночи седьмого числа. Благодарим за содействие».

Выбор слов был явно неудачный. «Я вам не содействую — вы меня принуждаете».

В течение нескольких дней агенты государственной безопасности разыскали тридцать два человека, которые собирались приехать на Праздник речного краба. Один шанхаец написал в Twitter: «Только что ко мне пришла пожилая женщина из местного комитета и сказала, чтобы я не ездил в воскресенье на Праздник речного краба. Не понимаю, как она могла меня выследить? Я всего лишь написал в Twitter: „Я в Шанхае“».

Один студент рассказал, как его «пригласили на чай»: «Когда

я отправил СМС, чтобы записаться на праздник, это привлекло их внимание, и агенты госбезопасности пришли ко мне в колледж; меня вызвали в кабинет преподавателя политологии. Он велел мне не упоминать Нобелевскую премию мира Лю Сяобо. „Учись усердно, чтобы потом получить хорошую работу, — не занимайся другими делами“. Он особенно настойчиво пытался выяснить, откуда я узнал эти новости и был ли я на связи с другими людьми. Под конец он потребовал, чтобы я написал отчет о моих действиях, и приказал в течение нескольких дней не выходить с территории колледжа».

Пока я был узником в собственном доме, восемьсот людей все же смогли приехать на Праздник речного краба, который провели мои помощники. Там они съели почти триста крабов, играли на гитаре, пели и болтали — и все время выкладывали фотографии и видео в интернет, чтобы отметить эти маленькие акты неповиновения.

Через два месяца, ранним утром 11 января 2011 года, Люй Хэнчжуну позвонил житель деревни Малу и сказал, что к моей новой студии подъехала строительная техника и экскаватор уже пробил в северо-западной стене большую дыру. Чиновник, который руководил процессом, подтвердил, что они планируют снести все здание в течение дня.

Поскольку срок ограничения моих передвижений истек, я полетел в Шанхай и тем же вечером прибыл в Малу. В лучах заходящего солнца четыре экскаватора еще размахивали своими огромными кранами, а от моей студии остался лишь кусочек стены в северо-восточном углу. Несколько рабочих отдирали арматуру от обломков цемента, а другие грузили обломки кирпичей и цемента в кузова для утилизации. Все четко и слаженно. Они хотели как можно скорее расчистить развалины, чтобы от здания не осталось и следа. На фотографиях, которые мы сделали через неделю, совершенно пустой участок земли. Выглядит так, будто его недавно вспахали, но больше никаких следов человеческой деятельности. По запорошенной снегом земле тянулась цепочка утиных следов.

Как описать мое чувство потери? Если думать об искусстве как о законченном произведении, то именно в тот момент я увидел планомерное разрушение моей работы. Но я думаю об искусстве как о начале: когда мы двигаемся вперед, невзирая на последствия, наша жизнь обретает смысл. Снос студии подытожил все мои проблемы: даже если я вкладываю все силы в проект, он может никогда не осуществиться.

В те дни в Пекине находился Дэвид Кэмерон, британский премьер-министр, это побудило меня написать небольшой текст в

The Guardian с призывом к Кэмерону продолжать давление на Китай в связи с правами человека и просьбой не отказываться от основополагающих ценностей ради краткосрочной выгоды. Ни одна страна в мире не может процветать, если нет плюрализма мнений; а Китай, убеждал я, до сих пор не считается цивилизованной страной. Заключая деловые контракты с Китаем, западные государства всегда избегают вопросов свободы слова и гражданских прав — это один из самых вопиющих моральных провалов нашего времени. Запад несет ответственность за защиту прав человека, иначе его поведение ничем не отличается от неоколониалистской эксплуатации развивающихся стран.

На другом конце света, на севере Туниса, в городе Сиди-Бузид 17 декабря 2010 года двадцатишестилетний уличный торговец поджег себя в знак протеста против нарушения его прав полицией. Это привело к демонстрациям с требованиями отставки президента Зина аль-Абидина Бен Али, а потом и к массовым беспорядкам. Так называемая «жасминовая революция» — первый случай, когда в арабском мире смена режима произошла в результате народного сопротивления. События в Тунисе повлекли за собой цепную реакцию, впоследствии получившую известность как «арабская весна»: на улицы многих городов Северной Африки и Ближнего Востока вышли толпы, протестующие против диктатуры и коррупции и требующие демократии и реформ.

В народе этот стихийный и масштабный переворот окрестили по-своему: «Твиттер-революция», так как социальные сети и цифровые технологии позволили быстро распространять информацию и ослабили способность государств контролировать ситуацию. «Восстание» и «революция» стали модными словечками.

В четыре часа пополудни 17 февраля 2011 года китайский пользователь Twitter с ником @mimitreeo («мими» на китайском означает «секрет») опубликовал объявление о грядущей «китайской жасминовой революции». После этого по Сети разнеслись вести о местах проведения революционных митингов одновременно в нескольких крупнейших городах Китая в два часа дня 20 февраля. Организаторы называли себя «зачинщиками „китайской жасминовой революции“» и скрывали свои настоящие имена.

Стоило новостям начать распространяться, как иероглифы «жасмин» заблокировали в китайском интернете, даже иероглиф «цветок» стал опасным словом. На китайских веб-сайтах невозможно было ввести предложение, которое содержит слова

«завтра» или «сегодня». Цветочным магазинам запретили продавать жасмин, а одного молодого жителя Пекина арестовали за букет белых цветов на центральной торговой улице Ванфуцзин.

На 20 февраля приходился выходной день, и полицейских в форме и в штатском на улице Ванфуцзин было намного больше, чем людей, пришедших в назначенное время на митинг. Протестующих было совсем немного; большинство — студенты. Когда начались аресты, там объявился посол США Джон Хантсман — младший в солнечных очках и с крупным американским звездно-полосатым флагом на левом рукаве куртки. На вопрос, как он там оказался, Хантсман с улыбкой ответил: «Я просто пришел посмотреть».

Я пристально следил за событиями «арабской весны» в Тунисе, Египте и Иране. Но противостояние властям не ограничилось обсуждениями в интернете, а волнения на улицах и площадях все же привели к кровопролитию и арестам. Расчет на интернет-активизм оказался ловушкой, из которой не было выхода. Подобно цунами, он снес сухие стволы и некоторое время воспринимался как неодолимая сила, но, когда волна отступила, камни и утесы остались столь же несокрушимыми, что и раньше. Воодушевляющая онлайн-революция привела к расколу общества с долгосрочными последствиями — с обидами, спорами и отчаянием, и повсюду росло недовольство.

Во дворике по адресу Цаочанди, 258 все было спокойно. На дальнем конце серой кирпичной дорожки стоял мой серый кирпичный дом, с прямыми линиями и углами, гладкими поверхностями и белой дверью, чуть приоткрытой, чтобы кошки могли гулять туда-сюда, а сороки прыгали по веткам ив. Снаружи, на противоположной стороне улицы, стоял белый седан — казалось, в нем нет ничего особенного, вот только он стоял там постоянно, днем и ночью, и кто-то всегда сидел на переднем сиденье, делая заметки в блокноте.

Однажды я подошел к машине и заметил, что молодой парень в штатском заснул на водительском сиденье. Окно было приоткрыто, так что я сунул туда руку и забрал коричневый блокнот, лежавший у него на коленях. Когда парень проснулся и стал протирать глаза, осоловело щурясь на меня в теплых солнечных лучах, блокнот был у меня в надежном месте.

Неровные каракули на его страницах описывали точные даты и время моих уходов и возвращений, а также номерной знак каждого автомобиля, который приезжал ко мне в студию. Я думал об отце и начинал понимать, какие страдания ему пришлось вынести, поскольку при коммунизме быть под постоянным

наблюдением — обычное дело. Независимому человеку при такой беспрестанной слежке вся жизнь покажется тюремным заключением. Со временем эта навязчивость стала вызывать у меня невыразимое утомление, как будто во мне поселилось инородное тело и контролирует мои суждения о себе и о людях вокруг. Я не знал, когда следующая за мной по пятам тень решит продемонстрировать силу и оставит ли она меня когда-либо в покое. Я чувствовал, будто карабкаюсь по отвесной скале и должен крепко держаться каждую секунду, чтобы не сорваться с высоты у всех на виду.

В январе снесли мою шанхайскую студию, а в феврале более ста человек было задержано по политическим причинам, и среди них ученые, адвокаты и студенты университетов. Правительство было встревожено тем, что так много людей жаждало перемен. Чтобы ослабить давление, я решил открыть студию в Берлине. Но я не планировал уезжать из Китая навсегда — я считал, что это инородный политический режим должен покинуть страну, а не я.

Глава 18. Восемьдесят один день

Среди кошек, живущих у нас в Цаочанди, была одна длинношерстная, ее звали Тяньтянь, а другая, короткошерстная, носила имя Дайдай. Однажды Тяньтянь научилась открывать дверь: подкрадывалась к ней, прыгала на ручку и крепко держалась, пока дверь не откроется. Дайдай видела это и пользовалась возможностью выскользнуть за ней следом.

Примерно тогда же человек десять полицейских трижды приходили в студию проверять у людей прописку, в том числе однажды они заявились ночью под предлогом проверки пожарной безопасности. Деревенский чиновник, который когда-то призывал меня «быть смелее», с глазу на глаз сказал моему другу: «Предупреди Ай Вэйвэя — он серьезно влип. Скажи ему, чтобы перестал делать все эти штуки, которые нравятся иностранцам, но задевают чувства китайцев». Вскоре после этого рядом с Чжао Чжао остановилась машина. Водитель открыл окно и сказал ему, что в деревне для слежки за мной разместилось восемнадцать человек.

Конечно, я понимал угрозу, поскольку сосуществовал с ней каждый день. Моя защита своих прав, мое умонастроение, мое самоощущение, мое мировоззрение — все это формировалось под влиянием этой угрозы. Неважно, сколько человек за мной следит — восемнадцать или восемнадцать сотен, — это меня не остановит, я буду и дальше делать то, что должен.

Утром 3 апреля 2011 года в доме было тихо, как обычно. Сяо Пан, мой водитель, отнес мою черную дорожную сумку в багажник. Мы собирались ехать в аэропорт, до которого было двадцать минут езды. У меня был билет на рейс в Тайбэй с остановкой в Гонконге. Осенью должно было состояться открытие моей персональной выставки в Музее изобразительных искусств Тайбэя.

Я положил в сумку шесть футболок, шесть пар нижнего белья, шесть пар носков, ноутбук и камеру. С тех пор, как родился Ай Лао, мы с Ван Фэнь проводили дни вместе, а вечерами я возвращался в Цаочанди. Там мы жили с Лу Цин — вполне мирно, но у каждого была своя жизнь, не связанная с другим. Обычно Лу Цин готовила мне десятидневный запас лекарств от высокого давления и диабета, но в этот раз почему-то положила в пластиковый пакет лекарств на два месяца, а также записку с напоминанием, как их принимать. Хотя мы больше не были близки, она, как обычно, проводила меня до ворот.

На заднем сиденье машины находилась моя новая

помощница, Дженнифер Ын — молодая канадка, с которой я несколько месяцев назад познакомился в Twitter. Это была наша первая совместная поездка за границу. Около восьми часов утра мы прошли регистрацию и собирались проходить таможенный контроль, держа в руках паспорта и посадочные талоны. Зал вылетов был почти пуст; мы встали в разные очереди и стали ждать. Дженнифер оказалась первой. Пограничник взял телефон и стал куда-то звонить, глядя в ее паспорт, потом появился полицейский и отвел ее в сторону. Что-то было неладно.

Подошла моя очередь. Пограничник открыл паспорт и поднял голову, принявшись пристально меня рассматривать. Я уже знал, что будет дальше. Другие полицейские, рассредоточенные по всему залу, направились в мою сторону, а инспектор жестом пригласил меня в комнату слева. «Зачем вы это делаете?» — спросил я. А он ответил, что меня признали угрозой государственной безопасности. Дженнифер пропала из вида.

Несколько агентов государственной безопасности втиснулись вместе со мной в комнатку. «Давайте найдем место для беседы», — сказал мне старший и попросил передать ему мой мобильный телефон. В ответ я вытащил батарейку из своей Nokia. Мы поехали на лифте на первый этаж и прошли к белому фургону, припаркованному на другой стороне дороги. Я узнал человека, который пару дней назад приходил ко мне в студию под предлогом переписи населения. «Прости меня за это, старина Ай», — сказал он, открывая дверь.

Я сел на заднее сиденье между двумя людьми в штатском. Старший обернулся с переднего сиденья и вытащил черный мешок с надписью «Подозреваемый», велев мне надеть его на голову. Он был сшит из такой толстой ткани, что не пропускал воздух. Когда я пожаловался, он забрал мешок обратно и попытался ключом проделать в нем несколько отверстий. У него не получилось продырявить плотную ткань, так что он протянул его обратно со словами: «Придется привыкнуть». После этого, с мешком на голове, я уже ничего не видел.

Полное название ведомства, занимающегося государственной безопасностью, — Министерство общественной безопасности КНР, и его деятельность держат в тайне. Поскольку «государственная безопасность» (*гобао*, 国保) по-китайски звучит так же, как «национальное достояние» (国宝), в интернете ее агентов часто называют «пандами». Их главные мишени — политические диссиденты, негосударственные организации и правозащитники.

Пока мы ехали, сидящие по бокам от меня агенты крепко

сжимали мои предплечья. Куда мы ехали? И что там произойдет? Я не знал. Мне оставалось только расслабиться и спокойно дышать. Но вскоре я почувствовал удушье, а по лицу потек пот. Я думал, что подобное рано или поздно может произойти, но, когда это случилось на самом деле, все казалось нереальным. Вспоминались сцены похищения людей в кино, и я будто наблюдал со стороны, как везут кого-то другого.

Панда для панды (Panda to Panda), 2015 год

Мне показалось, что машина едет на север, и я начал гадать, не в Циньчэнскую ли тюрьму мы направляемся, — она на северной окраине Пекина и известна тем, что там обычно держат политзаключенных. Всего три дня назад я был неподалеку от нее, собирая землянику вместе с Ван Фэнь и Ай Лао, и показал им издалека здание тюрьмы, которое маячило за тополями. «Хорошо, что они знают, где это», — подумал я.

Я пытался запоминать все повороты по ходу движения, но от этого меня стало клонить в сон. Прошло больше часа, и вот машина замедлилась, а потом, пройдя несколько блокпостов, остановилась. Агенты молча вытащили меня из машины, и мы вошли в помещение, где меня повели вверх по винтовой лестнице. Она была слишком узкой, чтобы идти плечом к плечу, так что один шел впереди, и мы поднимались по ступеням боком. На полпути они передумали, и мы вернулись на первый этаж. Я почувствовал под ногами ковер, когда мы входили в комнату, где меня усадили на деревянное кресло с круглой спинкой.

Около сорока минут прошло в молчании, а потом мне сказали встать и сняли мешок. Передо мной стоял высокий,

мускулистый тип вроде тех, кого обычно ожидаешь увидеть в кино в такой сцене. Я чувствовал, что он наслаждается моментом. Другой мужчина, пониже ростом, обшарил меня и забрал ремень, телефон и бумажник, а потом приковал мою правую руку наручниками к подлокотнику. Наручники были тяжелыми и холодными, как лед.

Молодой человек в тренировочном костюме Nike — внешне он немного напоминал спортсмена — сидел на стуле в трех футах от меня и, не моргая, наблюдал за мной, положив ладони на бедра. Узкие глаза с тяжелыми веками на его молодом лице смотрели на меня безучастно. Этот пустой взгляд, как у каменного истукана, мне часто встречался в последующие дни.

Опустив глаза, я заметил, что краска на подлокотниках сильно потерлась от наручников. Справа я увидел на полу отметины, указывающие на то, что когда-то там стояли две двуспальные кровати, а на стене висела картина; слева были чулан и туалет. За окном сквозь щелки в жалюзи я сумел углядеть электрическую изгородь и камеры наблюдения на склоне.

После ужина вошли двое мужчин, на вид лет сорока. Тот, что постарше, одетый в ладно скроенный бежевый пиджак, довольно вежливо поприветствовал меня. Он сказал, что они вместе с коллегой, который будет конспектировать наш разговор, занимаются допросами в отделе уголовных расследований пекинского отделения Управления общественной безопасности. Он небрежно бросил на стол папку и сел.

«Я так понимаю, вы знаменитость, — сказал он. — Извините, что я вас раньше не знал. Перед приходом сюда я специально почитал о вас в интернете».

Я внимательно слушал, пытаясь понять, что происходит: я жил здесь, в Пекине, и арестовать меня они могли в любой момент, так зачем было ждать, пока я отправлюсь в аэропорт? Видимо, приказ дали так неожиданно, что у него не было времени подготовиться.

Он сказал, что принятые ими меры называются «домашним наблюдением», что в уголовном праве является одной из четырех разновидностей принудительных мер, в число которых также входит допрос, задержание и арест.

Я хотел позвонить семье и адвокату, но он сказал, что это невозможно. Это меня не удивило, поскольку то, что снаружи считалось нормой, здесь превращалось в абсурд. Полностью название этой формы принуждения звучало как «домашнее наблюдение в специально отведенном месте». Это позволяло властям до шести месяцев держать меня в помещении, которое не считалось тюрьмой и не подлежало никаким формальным

ограничениям. Это была более жесткая мера, чем арест, потому что здесь мне отказывали в праве на адвоката и не пускали посетителей.

Другими словами, меня похитило государство, которое, увезя меня из дома и полностью изолировав, глумилось над своими же законами. Я чувствовал себя шахтером, которого завалило в забое: люди наверху не знают, остался ли под завалом кто-то живой, а человек внизу не знает, пытаются ли его спасти или уже нет. Но я утешался тем, что восемьдесят лет назад оказался в заключении мой отец: мысль, что меня обвинили примерно в таких же преступлениях, что и его, меня подбадривала.

Досудебный следователь курил одну сигарету за другой, и облачка выдуваемого в мою сторону дыма, казалось, увеличивали пропасть между нами.

«Вы хотите, чтобы я задохнулся?» — сказал я. «У вас есть право не курить, — ответил он. — А у меня, — добавил он медленно и со значением, — в свою очередь, есть право курить. На работе мне приходится курить».

Нельзя сказать, что он был в восторге от происходящего, я видел это. Он спросил мое имя, возраст и адрес. В этой маленькой комнатке его голос звучал громко, будто он декламировал текст на сцене.

«Уверен, вы не привезли бы меня сюда, — сказал я, — не выяснив мое имя».

Это его задело. Он должен подтвердить мою личность, пояснил он. «Бывало, что приводили не того человека», — он старался звучать убедительно. Затем он приступил к расспросам о семье.

Вместо того, чтобы отвечать, я сам спросил его: «А как вас зовут?»

Он помедлил. Мне не нужно это знать, заверил он меня, потому что он просто представитель государственной власти. Но все же упомянул, что является тезкой одного известного китайского инженера из прошлого, который полторы тысячи лет назад спроектировал арочный каменный мост, обладая безупречным пониманием пропорций и механики. Он продолжил, чтобы сообщить с ноткой гордости: единственная разница между их именами в том, что в его случае пишется на четыре штриха больше. По этим подсказкам я догадался, что его зовут Ли Чунь. Следователь Ли, как я вскоре узнал, любил демонстрировать свои исторические познания, и его осведомленность в вопросах культуры давала мне смутное ощущение, что у нас есть что-то общее.

Когда он спросил, кто я по профессии, я ответил: «Художник».

«Художник? — переспросил он. — А почему вы так уверены, что можете называть себя художником? Это потому, что каждый может считать себя художником в том или ином смысле? — И насмешливо добавил: — В лучшем случае вы можете называть себя работником искусства».

Я не стал возражать, хотя в наше время никто не называет себя работником искусства, — уже, наверное, десятилетия прошли с тех пор, как в Китае употребляли это обозначение.

Мы препирались еще несколько часов — я пытался выяснить, за что конкретно меня задержали, а он переходил от улики к улике, будто взвешивал каждую по очереди. Меня подозревали в экономических преступлениях и мошенничестве с произведениями искусства. Он говорил: «Затраты на изготовление ваших произведений ничтожны, а цены астрономические. Вы постоянно ругаете Коммунистическую партию. Вы уклоняетесь от уплаты налогов и мошенничаете».

В какой-то момент допроса в комнату вошел высокий мужчина, который представился начальником отделения и удовлетворенно посмотрел на меня, как охотник, наконец схвативший добычу. «Прикрываясь вашими делами, вы занимаетесь другими вещами», — заявил он и добавил, что их разведчики за границей заслуживают полного доверия.

Уходя, он сказал, что ночью мне разрешат поспать, и позже охранники притащили матрас и положили его в угол комнаты. Наручники сняли, и я наконец смог прилечь, а охранники развлекали себя с помощью телефонов. Я пытался не думать о семье, особенно об Ай Лао, которому как раз исполнилось два года и с ним становилось все интереснее общаться, потому что его большая голова была полна идей. В ночь моего отъезда Ай Лао вышел в коридор и потянулся к кнопке лифта, чтобы помочь нажать ее. Покуда я смогу заставлять себя не думать о таких вещах, я знал, что не сдамся.

Допрос следователя Ли продолжался еще несколько дней, и мне приходилось быть настороже. Перед началом очередного разговора я иногда задумывался, отказаться ли мне от сотрудничества и просто молчать или продолжать вести себя так, как привык, то есть говорить все, что думаю, ничего не тая, даже если это сделает диалог бессмысленным. Я выбрал второе из любопытства, к чему же это приведет.

На следующий день следователь Ли предположил, что меня могут осудить за подстрекательство к свержению государственной власти. Он сказал, что за это в Пекине уже осудили троих: Лю Сяобо, Ху Цзя и Гао Чжишэна. Лю Сяобо на тот момент уже отсидел два года из одиннадцати. (В 2017 году Лю

заболеет в тюрьме раком печени и умрет в возрасте шестидесяти одного года.) Ху Цзя, который давно был общественным активистом, осудили на три с половиной года тюрьмы, а Гао Чжишэна, адвоката по правам человека, на три. Все трое были классическими представителями политзаключенных, и теперь Ли говорил, что я стану четвертым.

Вот какое развитие событий он мне прочил: здесь я проведу шесть месяцев, а если мне предъявят обвинение, то переведут в следственный изолятор на время рассмотрения моего дела. Если прокурор запросит дополнительную информацию, то меня отправят обратно на дознание. Так можно делать трижды, до девяноста дней каждый раз. Весь процесс может занять около года, а потом начнется судебное делопроизводство: арест, приговор, тюрьма.

На четвертый день, 7 апреля, я настоял, чтобы следователь Ли показал мне уведомление о домашнем наблюдении, выданное районным управлением общественной безопасности Чаояна. В качестве «специально отведенного места» значился адрес: улица Водохранилища (Шуйкулу), 44.

«Это где?» — спросил я. «А сколько в Пекине водохранилищ?» — небрежно бросил он. Он нечаянно дал мне подсказку, и теперь я точно знал, где нахожусь. Я понял, что это водохранилище Миюнь, уютно разместившееся в живописном месте в горах к северо-востоку от Пекина.

Каждый день допрос начинался в десять утра и шел по заданной схеме: следователь спрашивал, я отвечал, секретарь записывал. Через неделю следователь заявил, что это дело для него как заноза в боку или кость в горле. Он сказал, что надеется быстро закрыть его и найти для меня способ избежать тюрьмы. Мне не очень верилось, вряд ли все было так просто.

Во время допроса ему приходится быть суровым, пояснил он. Но какой бы безжалостной ни была процедура, если я не знаю чего-то, я должен сказать, что не знаю, если не помню чего-то, должен сказать, что не помню, а если я не хочу говорить о чем-то, то могу промолчать. Наверное, он видел, что я начинаю терять терпение, так что счел нужным обсудить со мной все это. А я задумался: разве он может быть на моей стороне?

«Ай Вэйвэй, вы понимаете серьезность своего положения? — спросил он с деланым беспокойством. — Вы помните Сианьский инцидент?» Возможность поговорить об истории его явно вдохновляла. Он имел в виду эпизод, когда в 1936 году два генерала потребовали от Чан Кайши объединиться с коммунистами и выступить против японцев. Потом Сун Мэйлин, его жена, договорилась с советскими коммунистами, и Чан

Кайши подписал предложенное генералами соглашение из шести пунктов, тем самым вернув себе свободу.

«Ай Вэйвэй, вы понимаете? — спросил он. — Вы попали в такое же положение, в какое попал тогда Чан. Вы ругаете Коммунистическую партию и уже за это можете получить тюремный срок. Вам нужно признать вину, чтобы смягчить наказание; если не признаете, у вас нет шансов. Если проиграете, у вас нет никакого пространства для маневра — вы потеряете все. Чан Кайши в 1936 году вовсе не хотел подписывать то соглашение — каково ему было вступать в союз с коммунистами после того, как он пытался истребить их? Но он был жестким политиком — он сжал зубы и подписал соглашение из шести пунктов, иначе он был обречен».

«Вы находитесь точно в таком же положении, — повторял он. — Если не признаете вину, это игра с огнем».

Он противоречил своим прежним высказываниям, и я не понимал, зачем он это все говорит. Следователь должен разбираться с фактами, а не делать выводы. Но он, казалось, задался целью завалить меня самыми разными обвинениями, чтобы под их давлением я признал себя виновным. Я продолжал отвечать на все его вопросы. Если он действительно хотел понять меня и мои мысли, я был готов рассказывать.

Его жена беременна, а он слишком занят для того, чтобы пойти домой и увидеть, как она там, жаловался он. По его словам, больше всего на свете он хотел быть со своей семьей. То, что он проводил мало времени с женой и никогда не выходил в интернет, я счел весьма удручающим. Ему могли звонить по работе двадцать четыре часа в сутки, а счет за телефон он оплачивал сам.

Каждый день меня будили окриком, и каждый день следователь Ли продолжал меня допрашивать. Мы оба делали свою работу.

Однажды Ли решил обвинить меня в двоеженстве.

Я описал ситуацию настолько ясно, насколько был способен: мы с Лу Цин поженились в Нью-Йорке, никому не сказав — ни друзьям, ни родственникам, потому что это было наше личное дело и мы не нуждались ни в разрешениях, ни в благословениях. В тот день мы с Лу Цин гуляли по улицам в районе Всемирного торгового центра на юге Манхэттена, и она сказала, что хочет подняться на одну из башен-близнецов. Я целых десять лет прожил рядом с ними, но мне ни разу не приходило в голову на них подняться. Мы смотрели с обзорной площадки Северной башни на центр Манхэттена, на изрезанный высотками горизонт, который так ярко иллюстрировал безумие столицы и мизерность

отдельного человека.

Именно там Лу Цин заговорила о браке: если мы не собираемся пожениться, она предпочтет остаться в Америке, а не возвращаться в Пекин. На тот момент мы были вместе уже больше года, и чистосердечная Лу Цин заслуживала всяческой любви. Я не мог найти причину оставаться холостяком, поэтому согласился на ее предложение. Мы зарегистрировали брак в мэрии, и наш старый друг был свидетелем. Вечером мы отправились в Атлантик-Сити и провели ночь за игрой в блек-джек в гостинице Trump Taj Mahal. В Пекине наш брак с Лу Цин никогда не был зарегистрирован, сказал я следователю, поэтому и развод не рассматривался.

С Ван Фэнь мы не жили вместе, но не скрывали своих отношений, и я отметил, что в свидетельстве о рождении Ай Лао я записан как отец, а Ван Фэнь — как мать.

— Как бы то ни было, это брак, — заявил следователь, — а двоеженство является преступлением. В Китае следует уважать китайские законы.

— Если это нарушение закона, — ответил я, — то таких нарушителей бесчисленное множество.

— Это так, — парировал он, — но другие люди не ругают правительство и не устраивают такую шумиху, как вы. Вы, сильные мира сего, все время мутите воду, вы только о себе и думаете. А за вами следуют все эти подписчики.

Он даже не стал скрывать, насколько избирательно они применяют правовые санкции.

— Допустим, я действительно нарушил закон, — сказал я, — тогда, конечно, я должен признать это. Но вы должны хотя бы дать мне встретиться с адвокатом и ознакомить меня с законом.

И опять следователь игнорировал мои аргументы. По его мнению, не было смысла рассуждать о законе, так как закон — его дело, а не мое. Впрочем, он всего лишь винтик государственной машины. Он спросил, что я собираюсь говорить в свою защиту в суде.

На мгновение я задумался. «Я стою здесь, чтобы защитить человеческое достоинство, и буду продолжать идти по этому пути с достоинством».

Он ухмыльнулся от высокопарности моих слов. «А сказать вам лучше вот что: „Я признаю свою вину и готов понести наказание“».

Теперь он сменил тактику, обратившись к моему якобы умышленному уходу от налогов и подрыву экономического порядка. Но будь дело в налогах, они могли просто провести аудит наших счетов. Даже если бы мою вину удалось доказать,

возражал я, от меня просто потребовали бы погасить задолженность и выплатить штраф, без уголовной ответственности.

Позже я узнал, что мое задержание связано вовсе не с финансовыми вопросами. После моего похищения полиция обыскала студию и конфисковала компьютеры и накопители, даже не тронув бухгалтерию.

Второе обвинение — в том, что я нарушал экономический порядок, — было таким же сомнительным, речь шла о платежах иностранным архитекторам, приезжавшим в Китай делать проектные работы. Следователь сказал, что эти платежи приравнивались к нелегальным операциям с иностранной валютой и тем самым подрывали экономический строй. Если верить ему, меня задержали в аэропорту именно за валютные операции. Это казалось притянутым за уши.

Поскольку я не желал признавать свою вину в налоговых и валютных преступлениях, следователь перешел к моим творческим проектам. Откуда я брал деньги? Действительно ли «антикитайские элементы» приобретали мои работы, чтобы финансировать мою деятельность и поддерживать мои планы?

«Если антикитайские элементы и существуют, — сказал я, — уверен, что у них нет денег, особенно на произведения искусства».

Столкнувшись с подозреваемым, которому нечего скрывать и который готов обсуждать любую тему, он испытывал досаду. Наверное, он предпочел бы иметь дело с вором, аферистом или убийцей, и тогда все было бы проще, но, похоже, я мыслил совсем не как жулик.

В конце концов он сдулся, как проколотый воздушный шарик. Он перестал вести себя агрессивно и заносчиво, и между нами установилась определенная дистанция, которая не менялась, как расстояние между рельсами на поворотах. Но прежде он все же решил еще раз поговорить о моих арт-проектах.

— Чего вы пытались добиться, когда повезли столько людей в Германию? — спросил он, имея в виду «Сказку».

— Моя цель была отвезти их туда, а потом обратно, — ответил я.

Но его не устроил этот кажущийся бессмысленным ответ. Если я не мог все толком объяснить, значит, это наверняка часть какого-то гнусного плана, который я всеми силами скрывал. Чтобы развеять его опасения, я пустился в подробности о том, что такое искусство и почему я делал то, что делал, как я помогал людям получить визы, купить билеты на самолет, как решал их ежедневные проблемы в Касселе. Я втолковывал ему, что мое

искусство невозможно объяснить только словами, поскольку работы всегда находятся в процессе, — и, точно так же как дознание, они необязательно приводят к внезапному озарению. Любое искусство, говорил я, в некотором роде тайный заговор. Я довольно долго продолжал в том же духе, пока он жестом не попросил меня замолчать.

«Как странно! — заметил следователь. — Почему так получается: на тему искусства вы рассуждаете долго и пространно и увлекаетесь настолько, что не можете остановиться? Когда же мы говорим о другом, то вы либо не можете ничего толком сообщить о себе, либо не помните, либо забыли. Неужели нет ничего достойного воспоминаний, кроме искусства и того, что с ним связано?»

Он осторожно задал еще один вопрос. «Кое-кто в интернете говорит, что каждое семечко подсолнечника олицетворяет ребенка, погибшего в сычуаньском землетрясении. Это правда?»

В некотором смысле да, ведь работа «Семена подсолнечника» была вдохновлена этой трагедией. Но вынужденные объяснения деталей произведения искусства мне были в тягость, так что я, недолго думая, бросил: «Это абсурд». Потом оказалось, что слово «абсурд» попало в протокол допроса, а вот следующую часть ответа опустили: «В землетрясении погибло 5335 школьников, а семечек было 102,5 миллиона». (Мне об этом известно, потому что в конце каждого допроса секретарь давал мне протокол, чтобы я поставил подпись и отпечаток пальца на последней странице.)

Арт-критика Ли стала более целенаправленной, когда он обвинил меня в «распространении порнографии». Это обвинение казалось курьезным, и я не был уверен, пытался ли он таким образом отвлечь мое внимание или это отражало его личный интерес. Летом 2010 года ко мне в Цаочанди приехала работница секс-индустрии, которая отстаивала права больных СПИДом. В тот день в студии случайно оказалось еще три гостьи, и, когда я предложил всем вместе сфотографироваться голыми, они беспечно скинули одежду. Мы выложили фото в интернет, и оно вызвало настоящий ажиотаж.

Я ответил следователю, что на этой фотографии не было ничего непристойного: мы друг друга не знали, никто никого не трогал, и там не было сексуального подтекста. Но он был весьма взбудоражен: «Что же вы тогда не сфотографируетесь голым со своей матерью и не выложите это фото в интернет?» И действительно, если бы моя мать увидела этот снимок, она бы сочла его безвкусицей. Но именно такова была цель: изобразить нечто вульгарное и вызывающее, сродни моим фотографиям со

средним пальцем или с Лу Цин, задравшей юбку. И все участвовали добровольно. Но ему казалось, что меня следует посадить на пять лет, даже если это не имело никакого отношения к порнографии.

На следующий день следователь сказал, что накануне посмотрел в интернете мой документальный фильм «Один затворник», и это уже слишком. «Ян Цзя был сумасшедшим, настоящим психом! — вопил он, повторив это несколько раз для полной ясности. — Те шестеро полицейских ни в чем не повинны, а он их так жестоко убил, и теперь их семьи страдают». Он говорил так страстно и громко, что казалось, будто он обращается не ко мне, а ко всему зданию. В чем-то я с ним соглашался, но не во всем: Ян Цзя, может, и был сумасшедшим, но узнать об этом невозможно, ведь правовая система отказалась проводить психиатрическую экспертизу; именно она препятствовала открытому разбирательству.

«Вы критикуете правительство, — сказал он, — и ваши нападки плохо влияют на имидж страны. Взгляните на этот стол. Это хороший стол, с ровной столешницей и четырьмя крепкими ножками. Но вы ухватились за какую-то мелочь и никак не успокоитесь, настаивая, что со столом проблема. Это сеет смуту в обществе, и люди думают, что действительно что-то не так».

Дешевый канцелярский стол, о котором шла речь, с одной стороны, был опутан паутиной и покрыт слоем пыли. Я указал ему на это, и он потянулся рассмотреть. «О, и правда грязный. Нужно протереть», — признал он.

Допрос напоминал машину, которая съехала с дороги и с безумной скоростью несется по заброшенным полям и диким холмам, удаляясь от намеченного маршрута, а потом кое-как выбирается обратно на дорогу. После всех поворотов и зигзагов мы обратились к протестам в защиту демократии, известным как «китайская жасминовая революция», и в конечном счете именно это их заботило больше всего. От этого зависело, смогут ли они повесить на меня обвинение в подстрекательстве к свержению государственной власти. В месяцы, предшествовавшие моему аресту, под стражей оказалось множество людей, опубликовавших в интернете политические эссе или обсуждавших «жасминовую революцию» в интервью.

На самом деле в тот период я проводил в интернете куда меньше времени, чем раньше, поскольку каждый день водил сына гулять в парк. Ай Лао научился говорить и уже играл со словами. Когда он сказал: «Мама, папа, вы оба считаетесь (*суань* 算) моими друзьями», то заявил, что использовал слово «*суань*» (蒜), которое означает «чеснок». Он еще не привык прямо говорить о своих

чувствах к нам и решил таким образом пошутить. А еще сказал, что Том ему нравится больше, чем Джерри, ведь Том всегда проигрывает, и его жалко.

Следователь сообщил, что некий свидетель дал показания о моем участии в организации «жасминовой революции». «В данном случае, — ответил я, — можете ему верить». И добавил, что мои твиты доступны и в них отражены все мои действия.

Как-то раз следователь ни с того ни с сего вдруг сказал: «Ваша мать очень за вас сейчас переживает. Люди, которым вы дороги и которые желают вам помочь, стремятся направить вас на путь истинный. Это антикитайские элементы в Германии, США, Франции и Швейцарии надеются, что мы вас расстреляем». Он впервые упомянул какие-то события во внешнем мире. Его голос звучал мягко и неагрессивно, и я подумал, может, он пытается меня успокоить.

После этого он, казалось, никак не мог найти новых тем для обсуждения, а расследование так и не сдвинулось с места. Казалось, он знает, что со мной уже ничего не выйдет. «Давайте просто поболтаем», — говорил он и делал знак секретарю, чтобы тот перестал записывать, и у этих разговоров уже не было определенной темы. Они будто чего-то ждали.

Однажды вечером следователь пришел ко мне один и принес пару бананов с уже почерневшей кожурой, сказав, что это все, чем они располагают. Он немного разоткровенничался и признался, что очень любит уголовное право. Однажды его преподаватель задал в аудитории вопрос: «Если кто-нибудь выстрелом собьет луну с неба, это считается преступлением?» «Конечно, это преступление, — ответили все, — ведь луна для всех». «Нет, это не преступление, — сказал педагог, — потому что в уголовном праве нигде не говорится, что нельзя стрелять в луну». Действия, которые закон не определяет как неправомерные, не являются уголовным преступлением, даже если кто-то считает их таковыми. Он получал жалкую зарплату в две тысячи юаней в месяц (около 300 долларов) и полагал, что ему не на кого обижаться, как, впрочем, не испытывал потребности причинять кому-либо неприятности или спасать от них кого-то.

Уходя тем вечером, он сказал: «С этим вашим делом постараюсь, чтобы вас не обвинили, потому что если предъявлено обвинение, то приговор практически обеспечен, и вас тогда отправят в тюрьму. Но нам нужно дождаться правильного момента. Вы ведь знаете, что наша партия заботится о своем имидже и иногда впадает в крайности, так что тяжело предугадать, как все повернется. Идет некий процесс, и может пройти время, прежде чем мы увидим полную картину.

Подброшенные предметы не сразу падают на землю». Он изобразил рукой длинную дугу вниз.

«Вы здесь можете провести много времени, — добавил он, — или вас могут отсюда перевести. Но независимо от того, где вы окажетесь и сколько это продлится, вам нужно запастись терпением, вам нужно держаться». Никогда не забуду эти слова.

«В этой комнате есть камеры?» — спросил я. «Разумеется», — ответил он.

Даже в самых мрачных обстоятельствах у людей остается выбор быть человечными, а общество формируется действиями бесчисленного множества людей. У каждого есть свое представление о добре и зле, которое нельзя полностью заменить авторитарными принципами.

Он приоткрыл дверь и закурил. Мы болтали о разных способах приготовления чжацзянмянь: о том, каким должно быть соотношение сои и сладкой мучной пасты в соусе и что надо добавлять — яичницу-болтунью или кусочки свинины. Лапша для пекинцев — дело серьезное. Учитывая слова Ли, теперь я был уверен, что меня перевезут в другое место.

На тринадцатый день заключения Ли не явился. Вместо него в комнату вошли несколько молодых мужчин в черных костюмах и белых рубашках. Они окружили меня и велели встать, а затем, надев наручники на запястья и мешок на голову, повели на улицу. Мы сели в машину, и никто не проронил ни слова, так что мне казалось, будто я в ней единственный пассажир.

Когда мы приехали на место и с моей головы сняли мешок, я увидел перед собой двух парней в униформе, стоявших неподвижно, словно статуи, и на груди у них были нашивки со словами «Вооруженная милиция Пекина». Народная вооруженная милиция Китая занимается обеспечением политической безопасности и общественной стабильности. Шестнадцать лет назад я сделал серию фотографий солдата, который нес караул на площади Тяньаньмэнь, а теперь двое вооруженных полицейских застыли точно в таких же позах.

Мне велели раздеться догола и пройти личный досмотр. В комнату вошел командир — в армии так называют любого в звании выше командира взвода — и стал наблюдать. При его появлении солдаты встали по стойке смирно и прокричали: «Товарищ командир!»

Он объяснил мне местные порядки: сидеть можно только в определенном положении, не вытягивать и не скрещивать ноги и держать обе руки на бедрах, глядя прямо перед собой. Мне не полагалось смотреть на охранников или с кем-либо говорить. В

случае какой-либо проблемы мне надлежало поднять руку, открывать рот можно было только с разрешения охранника. Каждое мое движение требовало согласования с охраной, а любой приказ предполагал беспрекословное подчинение. И наконец он добавил: «Если вы облегчите нашу жизнь, мы облегчим вашу». Как и у многих солдат, у него был явный акцент — в его случае хэнаньский, то есть он приехал из бедной провинции без выхода к морю, где военная служба является чуть ли не единственным способом заработать на жизнь.

Меня поселили в камеру на втором этаже с окнами на север. Окна были намертво заделаны, а вентилятор изрядно грохотал. В моем распоряжении был маленький туалет, одинарная кровать и стол, за которым проводили допрос, а также два покрытых светло-коричневыми чехлами кресла, стоявших бок о бок по одну сторону от стола. И все. Стул, на котором я сидел, был обтянут черной упаковочной пленкой, а стены покрыты широкими полосами белой упаковочной пленки, прикрепленной прозрачным скотчем; через зазоры едва виднелись темно-зеленые обои. Здесь все было покрыто белой упаковочной пленкой, даже туалет, раковина и краны.

Номер моей камеры был 1035, и надзиратели знали меня по этому номеру, а не по имени. Размер моего жилища составлял около 280 квадратных футов (26 кв. м), пол был выложен коричневой плиткой с узором под дерево, каждая плитка размером два на два фута (около 61 × 61 см), шесть плиток в ширину и двенадцать в длину. Ходить можно было только на шести центральных квадратиках: пройдя семь шагов, я разворачивался и шел в обратную сторону. В день мне полагалось ходить пять часов, что, по словам охранников, составляло половину времени обязательной ходьбы для других заключенных. Каждое утро я должен был застилать кровать, аккуратно выравнивая кромку одеяла.

На следующий день после моего переезда, к моему удивлению, снова пришел следователь Ли. Войдя, он осмотрелся и сказал: «Какое интересное место! Хорошо, что охрана составляет вам компанию, пока вы ходите. Они здесь для вашей защиты, и если вы ходите слишком быстро или слишком медленно, они должны повторять за вами. Благодаря правилам все четко и понятно».

Здесь я с ним должен согласиться. Практически все, кроме дыхания, тут было запрещено, а поведение живых людей не очень-то отличалось от мертвых.

Ли вошел вместе с еще одним следователем, мужчиной по фамилии Сюй, которого он представил как руководителя

направления; тот сказал, что теперь будет сам вести допрос. Выходя, Ли ненароком сунул мне в руку свой бумажный стаканчик — вместо прощания.

Следователь Сюй вел допрос в совершенно иной манере. Осторожный, бдительный Сюй говорил мало. Каждый день он, аккуратно одетый, появлялся точно вовремя, а когда время истекало, вставал и сразу же выходил. Лет пятидесяти пяти, крепкий, энергичный — таких людей в Китае считали «политически благонадежными». Каждое его движение говорило о том, что он трудится на благо бесперебойной работы государственной машины.

Первой темой этой серии допросов стал сделанный мной снимок. Сюй держал в руках распечатанную на листе А4 черно-белую фотографию моего среднего пальца на фоне Тяньаньмэнь.

— Объясните мне, — спросил он, — что это значит?

— Эта работа называется «Изучение перспективы», — ответил я, — я сам себя сфотографировал у ворот Тяньаньмэнь в 1994 году, и эта фотография — одна из серии с таким же композиционным дизайном.

— Что за бред! — воскликнул он. — По-вашему, это искусство? Это явная атака на государство.

Я заметил, что делал точно такие же фотографии перед Белым домом и Эйфелевой башней.

— Ну, это меня не касается, — продолжил он. — Я из китайской милиции — с Белым домом пусть разбираются американцы.

Он настаивал.

— Так что значит средний палец?

— В Америке это означает «иди к черту», — ответил я.

— А что насчет Тяньаньмэнь?

— Это городские ворота.

Он разозлился.

— Более 90 процентов населения планеты знают, что Тяньаньмэнь — это символ Китайской Народной Республики! Каждый китаец знает слова песни «Я люблю пекинскую площадь Тяньаньмэнь»!

Это была правда. В детстве я выучил текст «Я люблю пекинскую площадь Тяньаньмэнь», гимн Мао Цзэдуну эпохи «культурной революции». Может, эта тошнотворная песенка и стала истинной причиной, по которой я показал Тяньаньмэнь средний палец.

— Эта первая строчка, «Солнце встает прямо над Тяньаньмэнь», совершенно ненаучная, — сказал я, а потом добавил: — Тяньаньмэнь — всего лишь символ феодальной власти.

— О какой это власти вы толкуете? Почему бы вам не сказать прямо? Вы ведь говорите о Коммунистической партии Китая? Чего вы так боитесь?

Отрицать всеми правдами и неправдами, что для этих обвинений есть основания, я не собирался, точно так же я не боялся ответственности за свои поступки. А возражал я против примитивной политической трактовки моей работы. Согласись я с таким прочтением, незачем было вообще заниматься искусством. Но он спросил, что я подразумеваю под «властью» Тяньаньмэнь, поэтому я ответил:

— Эта власть заключается в безграничном контроле над дискурсом, и это преимущество она использует для ограничения личных свобод.

— Что за чушь! — отреагировал он.

Все эти препирательства разозлили нас обоих. Он все время поднимал голос, и я спросил, зачем он кричит. А он сказал, что это просто его манера говорить. Впоследствии я пожалел, что задал этот вопрос, так как когда он понизил голос и стал говорить тихо, это показалось мне еще более обескураживающим. Перемена тона отражала избирательное использование вежливости, характерное для самоуверенности, свойственной

системе.

— На деле вы довольно бесхребетный, — добавил он. — У вас недостает храбрости признать собственные цели.

Он провоцировал меня и не собирался останавливаться. Он взял в руки распечатки десятка заметок, которые я публиковал в блоге, и попросил прочитать одну из них вслух. Я стал зачитывать ее, и он перебил:

— Кого вы имели в виду под «правительством»?

— Я написал эту заметку на стандартном китайском, — ответил я. — Так что под словом «правительство» подразумевал «правительство». Я отметаю ваши намеки на то, что я писал не то, что имел в виду. Честно говоря, я не могу точно знать, кто это «правительство», так как очевидно, что это не конкретный человек и не материальный объект.

— Испугались? Не решаетесь сказать, ведь так? Чего боитесь?

Я ответил прямо.

— Я не боюсь. Допустим, я скажу, что имею здесь в виду Коммунистическую партию Китая, вы хотите, чтобы я переписал всю статью и заново опубликовал ее с более точными формулировками?

Он зачитал строчку из другой моей публикации: «Покуда в мире есть бестолковые правители, будут и люди, бросающие камни, — если только люди не лишатся рук или не закончатся камни». Он хотел знать, что я подразумевал и здесь тоже — что за «бестолковые правители»?

И опять я гнул свою линию:

— А вы бы предпочли, чтобы я сказал «постоянный комитет Политбюро»?

— Все эти ваши разговоры — это ли не подстрекательство? Вы не просто дурной, вы сумасшедший. — Его охватило такое негодование, что он замешкался, не в силах подобрать слово, так что просто сказал: — Я думаю, вы совершенно безумны.

Он явно не притворялся — ему нужно было убедить себя в собственной правоте. Он подался вперед и снова стал кричать и грубить. Он хотел, чтобы я искренне поверил, что мои действия можно признать подстрекательством к подрыву государственной власти. Он хотел, чтобы я сознался в преступлении. «Я думаю, вы сумасшедший, — повторял он. — Как там говорится?»

Я предположил, что он имеет в виду что-нибудь вроде цитаты Лонгфелло: «Кого боги хотят погубить, того они сначала лишают разума».

— Вот-вот, — ответил он. — Точно.

Хотя взгляды у нас были разные, книги мы с ним читали одни и те же.

Еще одно доказательство «подстрекательства к свержению власти» они углядели в моих словах, произнесенных в Китайском университете Гонконга. В тот раз в аудитории было более сотни студентов, и я не выступал с речью, а просто по своему обыкновению отвечал на вопросы. «Спрашивайте о чем угодно», — предложил я. Гонконгские студенты следили за развитием событий в Китае пристальнее, чем я думал, и по их вопросам я понял, насколько они обеспокоены перспективой присоединения Гонконга к Китаю. В ответ я среди прочего сказал студентам, что ни одно тоталитарное правительство в истории не ушло добровольно. «Бессмысленно надеяться, что оно реформирует себя само, — объяснил я, — и ждать его естественной смерти тоже не стоит».

«Так что это за неестественная смерть, на которую вы надеетесь?» — поинтересовался Сюй.

На такой вопрос, конечно, было сложно ответить однозначно: как я сказал ему, неестественная смерть бывает разной, и если правительство избрано народом, то оно умрет так, как того пожелает народ.

В ходе допроса он не упоминал ни сычуаньское землетрясение, ни «Гражданское расследование», ни Праздник речного краба в студии в Малу, ни демонстрацию на проспекте Чанъаньцзе. Казалось, он специально избегает вопросов, связанных с настоящей причиной моего ареста. Власти старались не упоминать события, которые плохо сказывались на их имидже и могли вызвать мою «несносную наглость».

«За каждое сказанное вами слово, — заявил следователь Сюй, — придется расплатиться. Если бы вы все это говорили во времена „культурной революции“, вас бы уже сто раз расстреляли». Он резко встал, сказав: «На сегодня хватит», и сразу вышел. Этим закончился мой второй день на новом месте.

Та ночь показалась мне бесконечной; я думал об отце и осознал, как многого о нем раньше не понимал. Замечание Сюя о «культурной революции» вовсе не было преувеличением, и я, конечно, был рад относительной терпимости нынешней эпохи. Отец пережил куда более тяжелые времена, когда многие люди жизнями платили за свои слова. Я никогда не просил отца поделиться мыслями, никогда не задумывался, каким казался ему мир, когда он смотрел на него единственным здоровым глазом. Я глубоко сожалел о непреодолимой пропасти между нами. Именно в тот момент мне пришла в голову идея написать эту книгу, так как я не хотел, чтобы Ай Лао испытывал подобные сожаления.

При всем моем одиночестве я никогда не был один. Ранним

утром через вентиляционное отверстие проскальзывал луч света и освещал стену, двигаясь по ней, как стрелка часов, до точки, по которой я понимал, что уже 6:30. Двое охранников, стоявших у кровати, делали шаг вперед, сверялись с часами и велели мне вставать. По ночам один из них дежурил у кровати, а второй механически ходил взад-вперед, чтобы не заснуть.

Двадцать минут в промежутке между 6:30 и 6:50 предназначались для умывания и отправления естественных надобностей. Едва оказавшись в вертикальном положении, я докладывал старшему и спрашивал, можно ли мне умыться. Я втискивался в ванную вместе с охранниками (один впереди, другой позади) и просил позволения пописать; получив разрешение смыть, я спрашивал, могу ли теперь почистить зубы. Для этой процедуры приходилось стоять перед раковиной под углом в 45 градусов, поскольку зубная щетка была привязана к крану шнурком и дотянуться до нее можно было, только изрядно нагнувшись. По обеим сторонам от меня охранники тоже наклонялись, не отводя от меня взгляда, пока я двигал щеткой во рту.

Время от 6:50 до 7:40 выделялось на упражнения, которые состояли из хождения взад-вперед в разрешенных пределах шести плиток. Охранники сопровождали меня по обеим сторонам, шагая и поворачивая в унисон со мной, сохраняя эту конфигурацию и по необходимости регулируя дистанцию, чтобы я не сбился с пути, — как бы это ни было маловероятно. Вместе мы составляли самый маленький в мире строевой расчет и со временем достигли идеальной безмолвной координации, улавливая малейшие изменения ритма.

Перед завтраком приходил врач и проверял пульс, давление и уровень сахара в крови. Затем клал мне на ладонь несколько таблеток, но не тех, что я привез с собой, — две, регулирующие давление, одну — сахар в крови, а еще три, по его словам, были витаминами. Я страдал от бессонницы и шума в ушах, так что он добавлял еще две белые таблетки, которые, как он говорил, успокаивают нервы.

Завтрак был в 7:40. От ужина предыдущим вечером его отделяло тринадцать часов, и к тому времени от голода я уже чуть не падал в обморок. Еду всегда приносили на пять минут раньше, и у меня было ровно восемь минут на ее поглощение. Каждый шаг этого процесса следовал распорядку, начиная с моей просьбы подвинуть стул к столу. Из приборов мне выдавали только пластиковую ложку.

Завтрак состоял из очищенного яйца, сваренного вкрутую, молока, одной паровой булочки и небольших порций гарнира

вроде стручковой фасоли со свиным фаршем или овощей в перечном масле. Некоторое время мне подавали капусту с водорослями, но после нескольких приступов диареи ее убрали из меню. Иначе я бы расходовал слишком много туалетной бумаги, а ее количество было ограничено, поскольку бумагу выдавали из запасов охраны. Каждый раз, когда я испражнялся, охранник внимательно смотрел, как я вытираю зад.

Кое-что в завтраке выглядело подозрительно: каждый день в яйце недоставало небольшого сегмента, размером примерно с горошину, и в паровой булочке тоже. Я не мог понять, в чем дело, пока однажды охранник не сообщил по секрету, что они хранят эти кусочки в качестве образцов — на случай лабораторной экспертизы, если вдруг со мной что-то случится.

Три с половиной часа, от 8:10 до 11:40, формально предназначались для «размышлений», но на деле большую часть этого времени занимал допрос, обычно начинавшийся в 9:10 утра.

Для обеда выделялось время с 11:40 до 12:10. Мне подавали четыре блюда и суп: обычно тушеную свинину с водорослями, сельдерей с луковицами лилии, мелко нарезанную свинину в остром соусе, тофу с зеленью и яичный суп. За восемь минут я успевал все съесть, и оставалось еще пять на то, чтобы помыть контейнеры и передать охраннику, который забирал их с собой в конце смены (после того, как их у двери осматривал другой охранник). Иногда врач приходил в обеденный перерыв, а если нет, то оставшееся время мне велели просто сидеть на стуле.

Смена охраны всегда происходила точно в назначенный час. Дверь открывалась только снаружи, и, пока входили одни, другие выходили, завершая весь цикл за две минуты. Однажды у охранника прихватило живот, и ему срочно понадобилось в туалет. Ему не разрешалось пользоваться моим, все, что он мог, — это схватиться одной рукой за больной живот и лихорадочно махать другой в камеру внутреннего наблюдения. Секунды шли, но все его попытки привлечь хоть какое-то внимание скрытых наблюдателей были тщетны. Он уже сложился пополам, и у меня не оставалось выбора, кроме как «приказать» ему использовать мой туалет. Он рванул туда, а когда вышел, весь запас моей туалетной бумаги закончился.

Потом, от 12:10 до 13:00, в течение пятидесяти минут я должен был ходить.

Тихий час — с 13:00 до 14:30.

С 14:30 до 17:40 — очередной допрос.

Ужин был с 17:40 до 18:10. Перед едой являлся врач и выдавал мне лекарства. Сначала он давал их охраннику для проверки дозировки, а уходил, только убедившись, что я положил

таблетки в рот. Охранник заставлял меня показывать язык, чтобы удостовериться, что я проглотил таблетки, и тогда мне наконец разрешали приступить к еде.

После ужина я отрабатывал последние пятьдесят минут моей ежедневной нормы по ходьбе.

Время между 19:10 и 21:00 предназначалось для записи «материалов самонаблюдения».

В 21:30 следовал душ, и в 21:45 полагалось лечь в кровать. Я тратил пять минут на стирку нижнего белья, футболки и носков, одну минуту на чистку зубов и еще девять на душ, и два охранника стояли так близко, что на их форму и обувь попадала вода. После этого я просил разрешения вытереться, а также развесить одежду для сушки. Охранники внимательно смотрели на часы, пока я готовился ко сну. В постели я должен был оказаться ровно в 21:45, и, если случалось вымыться слишком быстро, приходилось стоять голым рядом с кроватью и ждать. После 21:45 на камерах видеонаблюдения в моей комнате не должно было оставаться ни малейших признаков движения.

Но расслабиться, лежа в постели, не получалось. На самом деле утомление мешало сну, о котором я так мечтал. Ночами напролет я оставался в напряжении, а пронзительные звуки, исходящие из вентиляционной системы, лишь усиливали тревогу. Бессонные ночи сменяли друг друга, я лежал на спине в своей кровати с вытянутыми по швам руками, а белый свет флуоресцентной лампочки бил в лицо. События прошедшего дня ускользали из памяти, и, чтобы заполнить время, мне оставалось только предаваться воспоминаниям, возвращаясь мыслями к людям и событиям и провожая их взглядом, как воздушного змея на длинном шнуре, который улетает все дальше и наконец совсем пропадает из вида. Думая о прошлом, я словно доставал один за другим разные предметы из мешка, пока не опустеет, — встряхнешь его, и ничего нет, кроме чувства потери. Лежа неподвижно, я принимался думать об Ай Лао и вскоре чувствовал, как по щекам текут слезы.

Всю ночь у моей кровати дежурили двое охранников и не сводили с меня глаз. Они могли показаться деревянными статуями, застывшими в тени, но вскоре я понял, что ночная смена позволяла им расслабиться, и их обмен репликами немного смягчал мое чувство изоляции. Удивительным образом они наловчились разговаривать, не шевеля губами, при этом шум электрического вентилятора перекрывал их тихие голоса, и спрятанный в стене микрофон не мог уловить их. Начинались ночные излияния по поводу родителей и жен, оставшихся в родных провинциях, эпизодов из детства и волнений о будущем.

Слушая их, я лежал как труп, который медленно погружается в море, опускаясь сквозь цветущие водоросли и темные воды в черную глубину, куда не проникает свет.

Постепенно охранники стали для меня совершенно обычными людьми. Они всегда удивлялись, что мне не спится, тем более что я продолжал бодрствовать, когда они сменялись. В полночь они ели. Для этих парней из глубинки ночной пир из жареного риса с яйцом был самым приятным моментом дня, и они смачно поглощали еду. Но их пищеварительная система начинала протестовать, и они беспрерывно рыгали. В комнате потом до утра воняло чесноком.

У солдат постоянно хрустели суставы — звук, будто репу разломили пополам. Казалось, они не могли сделать ни одного движения беззвучно — сжать кулаки, взмахнуть рукой, сесть на корточки, согнуть или повернуть торс или шею. Бывало, стоят они по стойке смирно, а потом вдруг повернут головы — и шеи издают громкий хруст. Гибкостью они напоминали мне цирковых акробатов, так как из позиции стоя им удавалось прогнуться назад и коснуться руками пяток. Или, сидя на корточках, они быстро крутились влево-вправо, повторяя эту последовательность странных движений несколько раз. Был ли это способ напомнить о собственном существовании или попытка выпустить пар, понятия не имею.

Я начал им сочувствовать. В некотором смысле, как и я, они были взаперти и в неволе, их настоящее было оторвано от прошлого, а будущее не вызывало энтузиазма. Рано или поздно заключенные куда-то уезжали, а этим людям только и оставалось, что стоять на посту — ничего другого они не умели, — пока в один прекрасный день чей-нибудь донос не вынудит уволиться и вернуться туда, откуда они приехали.

Каждый из этих солдат понимал странность своего положения. Они родились в бедности и обменяли свою молодость на военную форму. Они не могли влиять на собственную судьбу, как рыбки в аквариуме, которых хозяин может выбросить, когда ему вздумается.

Мы начали разговаривать уже не только о том, что мне нужно сходить в туалет или отшагать свою норму. В своем одиночестве охранникам не терпелось излить душу, невзирая на последствия. Они рассказывали мне о родителях, о своих городах, о юности, о том, что привело их на военную службу и что они делают, когда не стерегут меня. Достаточно было закрыть глаза, чтобы вообразить их родные провинции и семьи, заглянуть в их прошлое и представить будущее.

Большая Нога — как я его про себя называл — родился

вопреки политике «одна семья — один ребенок». Его матери случилось забеременеть вторым ребенком без ведома деревенских чиновников отдела планирования семьи, и, прежде чем ее заставили сделать аборт, ей удалось совершить побег, ускользнув из туалета и перемахнув через ограду. Она пряталась в доме своих родственников, там и родила; когда это вскрылось, семью оштрафовали на огромную сумму, а их дом снесли. Теперь он был отличным солдатом. Его тело было мощным, как гиря, и сделать пятьсот отжиманий для него было раз плюнуть. Правда, мешал большой размер ноги, потому что он постоянно ушибал пальцы о каркас кровати, когда ходил рядом со мной. Он привык жить на военной базе и носить форму и теперь мог наедаться досыта, а раньше всегда голодал. Ему не хотелось уходить в отставку и возвращаться в свою бедную деревню в Хэнани.

Однажды, когда Большая Нога был на посту, согласно распорядку, медсестра пришла взять анализ крови. Не успела она встряхнуть пробирку с моей свежей кровью, как он повалился в обморок. Она быстро пришла ему на помощь и, надавив ямку между губами и носом, привела в чувство. Бросив на ходу: «Многие наши солдаты падают в обморок при виде крови», она вышла из комнаты. До сих пор пытаюсь понять, можно ли это считать разглашением военной тайны. Следующие несколько дней Большой Ноге завидовали все сослуживцы, поскольку популярная версия события гласила: ему удалось побывать у медсестры в объятиях и прижаться головой к ее груди.

В комнате было установлено две камеры наблюдения, еще одна в ванной, и запись отсматривали в двух контрольных помещениях тюрьмы — одним управляла военная милиция, а другим — агенты государственной безопасности. Молодые охранники проводили много времени в компании человека, который вряд ли их сдаст, что усиливало их любопытство и готовность рисковать.

Это империя зла, говорили они мне, враждебная в своей иерархии, насквозь коррумпированная и прогнившая. Их ротный командир вел себя по-барски: он на ходу сбрасывал с себя обмундирование и кидал предметы одежды куда попало. А солдаты должны были подбирать их, отстирывать до идеального состояния и аккуратно складывать на его кровать. Хуже всего был его оглушительный ночной храп.

Солдатам было по двадцать с небольшим, и они приехали из провинций, поставляющих военных в больших количествах, таких как Шаньдун, Хэнань, Аньхуэй и Фуцзянь; население этих четырех провинций превышало число всех жителей Соединенных Штатов. В первые два года службы их месячное жалованье составляло 360

юаней (около 50 долларов), а учения и караульная служба занимали столько времени, что на сон оставалось всего четыре-пять часов. «Смотри, пока ты лежишь, мы стоим, — сказал мне как-то один из них. — Ты ешь, а мы все стоим, и, когда ты принимаешь душ, мы все еще стоим. Когда ты ходишь, мы тоже ходим, но, когда ты садишься, мы продолжаем стоять. Кого мы так обидели, что вынуждены выносить все это?»

После прибытия на базу их оттуда практически не выпускали, и ни один из них не знал точной дислокации. За время моего заключения единственный выходной у них был в Международный день труда, 1 мая, и то им дали лишь полдня: отвезли куда-то на пару часов на одну смотровую площадку. Там, на холме, они увидели девушку, из-под одежды которой виднелась тонкая полоска кружев — эта картина еще долго волновала их воображение. Иногда они робко допытывались, бывал ли я в отношениях с женщиной другой расы, а если я делился парой неожиданных деталей, они были на седьмом небе от счастья. Они стали предварять свои расспросы уважительным обращением «Дядя Ловелас», и, пока я восполнял многочисленные пробелы в их половом воспитании, время летело незаметно.

Недели проходили одна за другой, и они стали рассказывать мне о других высокопоставленных подозреваемых, которых им доводилось охранять: один бизнесмен предлагал им немыслимую сумму за блок сигарет, который им удастся пронести для него. А начальник компании по страхованию жизни в течение дня десятки раз раскладывал и складывал свое покрывало, пока край не становился таким ровным, будто его отрезали ножом. Каждый день он ложился на пол и оттирал каждую трещинку, даже запускал руку в унитаз, чтобы отмыть его до блеска.

Я потерял счет времени, ведь все дни с их четким расписанием установленных действий были одинаковы. Мы с охранниками стали ходить взад-вперед еще более синхронно, и при виде моего унылого лица они пытались меня развеселить: «Может, споешь? Пение отвлекает от грустных мыслей. Или расскажешь шутку? Ты немало пожил, наверняка знаешь парочку».

Но ничего смешного не приходило в голову. Я знал, что мать наверняка переживает за меня и гадает, увидит ли Ай Лао своего отца. Забота охранников чуть облегчала мою жизнь. Но я по-прежнему страдал бессонницей, думая по ночам о тех, кого оставил на воле. Я упрямо продолжал гнуть свою линию в ежедневных пререканиях со следователем и перешучивался с рядовыми солдатами, чтобы убить время. Но ночью, когда я лежал без сна, меня одолевали сомнения — чем это все кончится,

что привело меня сюда?

Второго мая охранник, которого я назвал Рыгачом, пришел на утреннюю смену с видом безутешной печали. Он скорбно сказал, что его кумира больше нет. Мне стало любопытно, кто же мог быть кумиром этого сироты, сутки напролет предававшегося своей единственной страсти — видеоиграм? Ответ ошарашил бы кого угодно. Застрелили Осаму бен Ладена, сказал он с выражением тоски на лице, до него добрался американский спецназ. Мы вместе шагали взад-вперед, выполняя ежедневные упражнения, и я не знал, что и думать. Эта новость о его неожиданной насильственной смерти усугубила мои дурные предчувствия.

Моя память, отрезанная от прошлого, иссыхала и рассыпалась, зато сны стали яркими и насыщенными. Однажды мне приснилось, что я бреду по какой-то холмистой местности и вдруг оказываюсь в древнем поселении, где жили представители тайного общества. В озере плавали трупы, у тел были оторваны то головы, то конечности, а зеваки стояли и смотрели. Я снимал происходящее на камеру, но чем дольше шла съемка, тем опаснее это становилось для меня. Вскоре я понял: что бы я ни сделал, мне не дадут отсюда уйти, потому что я слишком много знаю. Больше всего меня встревожило спокойствие наблюдателей — только я понимал, что здесь заговор, о котором должен узнать весь мир. Я проснулся с чувством глубокой тревоги, потому что за пару дней до ареста мне снился почти такой же сон.

В середине мая, на сорок третий день моего секретного заключения, следователь Сюй сообщил, что меня хочет навестить Лу Цин. Это был редкий случай, когда он подтвердил, что внешний мир все-таки существует.

Я спокойно сказал, что не хочу ее видеть. Он ожидал совсем другой реакции, но я не хотел участвовать в унизительном фарсе. Я знал, что не смогу говорить о своем заключении то, что думаю, а мои проблемы были исключительно моим делом. Я не нуждался в сочувствии — я нуждался в справедливости. Но справедливости не предвиделось, а предложение семейной встречи в качестве суррогата справедливости выглядело циничным маневром. Принимать участие в этом спектакле я не желал.

С самого первого дня, когда меня лишили прав, я не тешил себя иллюзиями по поводу процесса: перед лицом государственного обвинения я сказал себе готовиться к худшему. Следователи сами говорили, что я полгода ни с кем не смогу увидеться, а теперь, на сорок третий день, когда власти оказались под давлением, им нужно было доказать, что я еще жив. В конце концов следователь Сюй категорически настаивал на встрече с Лу

Цин, выдвигая то одни, то другие аргументы: мол, в моем случае сделали невероятное исключение, и это часть стандартной процедуры, и я не могу отказаться.

Он сказал, что я должен донести до Лу Цин четыре мысли. Во-первых, что меня подозревают в экономических преступлениях; но при этом нельзя говорить о следствии или линиях допроса и строго запрещено касаться политических тем. Во-вторых, что со мной хорошо обращались и не пытали. В-третьих, что я добровольно сотрудничал со следствием и верю, что государство придет к разумному выводу. В-четвертых, что членам семьи следует избегать иностранных журналистов и игнорировать все слухи и провокации.

На следующий день охрана велела мне принять душ и надеть белую рубашку. Мне опять надели на голову мешок и повезли в город. Меня привели в переговорную в большом здании; на спинке стула я увидел надпись «Управление общественной безопасности округа Чаоян». Из этого я понял, что мы неподалеку от дома моей матери.

В центре переговорной стояли два сдвинутых стола, покрытых алой бархатной скатертью. Охрана усадила меня справа, а следователь Сюй с помощником сели по другую сторону, как судьи; на стене за их спинами была установлена камера. Они опять предупредили о правилах и велели повторить вслух, что я буду говорить.

Вошла Лу Цин, по-летнему одетая в красные кюлоты с цветочным рисунком. Исходящий от нее дух свободы поразил меня, явственно продемонстрировав все, что я потерял. Она внимательно рассматривала меня, но ничего не говорила; возможно, просто не могла поверить своим глазам; ощущение было такое, будто мы разделены стеклом.

Продиктованная мне форма поведения предполагала отсутствие меня *настоящего* — сложная задача, но я должен был попытаться. Я говорил медленно, с запинками, не выдавая эмоций. Я проговаривал заготовленные фразы, а она напряженно слушала, надеясь рассмотреть меня подлинного под этой маской. Но она не могла даже вообразить, откуда меня привезли и через что мне пришлось пройти. Проще было подумать, что меня держат неподалеку — иначе с чего бы нам было встречаться здесь? Все, что я сказал в этом коротком разговоре, было враньем. Ее использовали как рупор режима, чтобы нарисовать ложную картину для остального мира.

Лу Цин в свою очередь сказала, что видела Ван Фэнь и Ай Лао. У них все в порядке, и мне не стоит беспокоиться. Вне всяких сомнений, ее инструктировали агенты госбезопасности, как и

меня. К тому моменту, когда мы закончили твердить заготовленные заранее слова, наши пятнадцать минут истекли. Лу Цин встала и быстро обняла меня. Через час я уже был в следственном изоляторе, но после встречи мне стало спокойнее. По крайней мере, люди во внешнем мире теперь знали, что я жив.

Ночью 3 июня гремел гром и сверкали молнии. Я погрузился в забытье, думая о том, как двадцать два года назад армия подавила протест на площади Тяньаньмэнь. Каждый раз, когда портилась погода, мне мучительно не хватало моих близких. Без них я чувствовал себя пустой оболочкой, наподобие сброшенных цикадами панцирей, которые после первых весенних дождей можно наблюдать на деревьях во дворе студии в Цаочанди.

Время моего заключения преодолело рубеж в пятьдесят дней, и следователь Сюй мрачнел у меня на глазах — ему больше нечего было сказать. Он потребовал, чтобы я взглянул на собственную ситуацию критически, спросив, сколько лет тюрьмы, по моему мнению, я должен получить с учетом своих преступлений. Я ответил, что понятия не имею. Я не считал, что нарушил закон, и еще хуже представлял себе, как определяется срок заключения.

Следователь Сюй говорил без обиняков: я могу получить как минимум десять лет. «Не надо тешить себя надеждами, — повторял он. — Однажды вы выйдете отсюда, но Ай Лао к тому моменту вырастет, а ваша мать, скорее всего, уже умрет». Его слова повергли меня в тоску. Мне казалось отвратительным, что он так говорит о моей семье, чтобы сломать меня. По его словам, я был «врагом народа» и не имел права продолжать скрывать это. По его логике, я должен был раскаяться в своих прегрешениях, только тогда он сможет прийти мне на выручку и помочь смягчить наказание.

Теперь, будучи врагом народа, я был на равных со своим отцом. Спустя восемьдесят лет на той же самой земле наш сходный состав преступлений привел нас навстречу друг к другу.

«Вы ошибаетесь, — сказал Сюй, — вы и он принадлежите совершенно разным эпохам».

У него больше не осталось актуальных вопросов — только очередные предупреждения. «Никто отсюда не выходит, не покорившись. Убийца не может не понимать, что признание вины не спасет его от смертного приговора, но все равно в итоге сознается». «Почему?» — спросил я. «Все, что требуется, — это терпение и непреклонность с нашей стороны», — ответил он, глядя куда-то вдаль.

На следующий день Сюй попросил меня довериться ему:

якобы, если я этого не сделаю, то упущу последний шанс. Высказавшись, он замолчал и будто сдулся, как проколотый воздушный шарик.

Он понимает, что я не злодей, сказал он, — просто возмутитель спокойствия. К моему удивлению, на этом заключительном этапе он, казалось, вдруг стал лучше меня понимать: все, что я делал, — по сути, форма дадаизма, заявил он, мое амплуа — культурная провокация. Дюшан, добавил он, тоже был деструктивным парнем.

В конце концов, сказал он, с учетом всего, что он знает обо мне, даже если я отсижу десять лет в тюрьме, то выйду из нее таким же, как и раньше. «Я прав?» — спросил он. «Да, — ответил я, — даже если вы пригрозите вытащить меня и сразу же расстрелять, мое мнение не изменится».

Глава 19. Живи же как следует, в полную силу

Несколько дней прошло без допросов, и охранники сказали, что это означает одно из двух: либо я отправлюсь домой, либо мне придется надеть желтую куртку — обязательную форму в СИЗО.

Двадцать второго июня 2011 года следователь Сюй вошел в комнату, но не стал садиться. «Собирайте вещи, — сказал он, — вы едете домой». Он протянул мне черный пакет, и после того, как я сложил туда одежду и остальные предметы, велел проверить и подписать список вещей, которые мне разрешили купить во время заключения и теперь забрать с собой: зубная щетка, паста, мыло, стиральный порошок, тазик, шесть вешалок и пластиковые шлепанцы. Стоимость этих вещей вычли из суммы в моем кошельке. Мой паспорт они собирались временно оставить у себя.

Мне в последний раз закрыли глаза мешком и отвели в машину — это сделал мой постоянный охранник, сказавший однажды: «Все, что они здесь говорят, — вранье. Ни одного слова правды». По его словам, уже к вечеру первого дня в армии он пожалел, что вступил в нее.

Когда мы приехали и с моей головы сняли мешок, я увидел большую переговорную. Один охранник стоял рядом со мной по стойке смирно, тупо глядя перед собой с мрачным и усталым лицом. Трофей, который он охранял на протяжении восьмидесяти одного дня, собирался ускользнуть.

Мне разрешили сходить в туалет в самом конце коридора, где в тусклом свете я посмотрел на себя в зеркало над раковиной — впервые за много недель. Я увидел неопрятного, заросшего, бородастого старика, который одной рукой придерживал спадающие штаны.

Чуть позже восьми вечера я услышал в коридоре шаги. Вошел следователь Сюй, а за ним моя мать и Лу Цин. Мать заметно осунулась, ее лицо выдавало внутреннее напряжение. Она села рядом со мной, а Сюй стал зачитывать решение Управления общественной безопасности по городу Пекину, в котором говорилось, что меня освобождают под залог; мать, выступившая моим поручителем, подписала бумаги. Причина моего освобождения была столь же загадочна, как и причина заключения.

Я не ожидал увидеть здесь мать. Она крепко взяла меня за

руку, будто нашла заблудившегося ребенка и старалась не потерять его снова. Ее руки были мягкими и теплыми, но я чувствовал под кожей кости и вены.

Мы вместе сидели на заднем сиденье машины, пока та спокойно ехала по знакомым улицам, а вокруг были пешеходы и велосипедисты и моросил дождь. За рулем сидел тот же самый коп в штатском, который восемьдесят один день назад вез меня из аэропорта. Мать сокрушалась, что я вступил в конфликт с «продажным, порочным» режимом. Вчерашний день уже был в прошлом, я открыл окно, и мое лицо обдувал влажный ветер. Я с нетерпением ждал встречи с Ван Фэнь и Ай Лао.

Согласно условиям моего освобождения под залог, я не мог выезжать из Пекина, заходить в интернет или общаться с журналистами. Каждую неделю я был обязан приходить на собеседование в полицию. После всех этих разговоров о том, что меня отправят прямиком в тюрьму, у меня было ощущение, будто я шарик, который выпрыгнул из вращающегося колеса рулетки.

Вернувшись в студию, я смог выслушать рассказы Дженнифер Ын, которой удалось улететь в Гонконг после того, как меня задержали в пекинском аэропорту, и моего водителя Сяо Пана, которого в тот день отвезли на допрос в полицейский участок Наньгао. В самом Цаочанди в тот день, когда меня схватили, был полный переполох, в деревню нагрянули орды полицейских, которые в рупор приказали сотрудникам студии выйти на улицу. Полицейские приставили лестницы по периметру стены, готовясь брать здание штурмом в случае малейшего сопротивления, а проникнув внутрь, открывали незапертые двери ломом и проходили по всем комнатам. Человек десять увезли из студии в полицейский участок и допрашивали до трех утра.

Моя помощница Лю Яньпин рассказала, что ее допрашивал высокий, грузный коп в штатском. Он не успел даже присесть, как начал грозить ей пальцем и сердито кричать: «Вы чертовы идиоты, что вы такое натворили, составляли список детских имен? Вы хоть копейку внесли в фонд помощи жертвам землетрясения? Вы хоть каплю крови сдали? Когда дома обвалились, вы хоть кого-то оттуда спасли? Какого, спрашивается, черта публиковать число погибших? Думаете, без вас проблем недостаточно? Вы, сволочи, только усложняете жизнь правительству».

Лю Яньпин попросила его следить за выражениями и напомнила, что каждое слово его тирады незамедлительно попадет в интернет.

«Если выложишь это в интернет, — ответил полицейский, — то не жалуйся потом на мой ответ. В полицейском участке я тебя

бить не стану, но ничто не помешает мне сделать это снаружи. Ты ничтожество, ты точно готова попробовать на вкус мои кулаки? Только вот мараться о тебя неохота».

Полицейские пытались убедить моих помощников шпионить. Они сказали Сюй Е, что гарантируют ему дополнительный доход за пребывание в студии, ему всего-навсего нужно будет «иногда с ними встречаться».

На следующий день после моего ареста в Пекинском аэропорту в Китае отмечали праздник Цинмин. Честный, надежный Сяовэй, который давно выполнял в студии вспомогательную работу, поехал домой к семье в Аньхуэй, чтобы почтить могилу отца. Проезжая в тумане по безлюдной сельской местности, он наткнулся на перекрывшую дорогу полицейскую машину. Из нее вышли два офицера и спросили, не из Пекина ли он едет. Сяовэя забрали в окружное управление общественной безопасности, где четверо только что прилетевших из Пекина полицейских стали его расспрашивать о нашей компании FAKE. Сяовэй, простодушный деревенский человек, объяснил, что в его обязанности входило отвечать на звонки и покупать продукты, а больше он ничего не знал.

После трех часов перекрестного допроса полицейский спросил: «А про Жасмин знаешь?»

Услышав после многочисленных бессмысленных вопросов знакомое слово, Сяовэй закивал головой, словно лошадь, и уверенно ответил: «Да, знаю».

Полицейские навострили уши и уставились на него, а Сяовэй продолжал. «Цветок жасмина очень ароматный, — сказал он, — и растет на юге Китая».

Горько разочарованные столь бесполезным ответом полицейские настояли на том, что его нужно отправить в Пекин для дальнейшего допроса. В ту ночь Сяовэй отлично спал, впервые в жизни попав в гостиницу. Полицейский велел ему спать на кровати, а сам улегся на полу рядом с дверью, чтобы тот не сбежал. На следующее утро его ждало еще одно приключение: он впервые в жизни летел на самолете.

Других тоже задержали, в том числе моего соавтора Лю Чжэнгана, моего бухгалтера и еще одного коллегу — и никто не знал, куда их увезли. Квартиру Ван Фэнь обыскивал десяток полицейских, которые сделали опись ее имущества и все сфотографировали. Ее дважды вызывали в полицейский участок, где Ай Лао стоял грудью за мать и все время твердил полицейскому «до свидания», пытаясь таким образом прекратить допрос.

На следующий день после моего задержания в интернете

появилась порочащая меня статья. Согласно информационному агентству «Синьхуа», меня подозревали в уклонении от уплаты налогов и взятках от иностранцев. «Ай Вэйвэя называют художником, но на самом деле он политический оппортунист». Нанятые государством онлайн-комментаторы придумывали небылицы, ставящие под сомнение мою порядочность и оскорбляющие мать, Ван Фэнь и даже сестру Линлин, с которой мы почти не общались.

Пятого апреля мои подписчики в Twitter запустили онлайн-кампанию под лозунгом «Свободу Ай Вэйвэю», которая вскоре набрала более тысячи семисот подписей. Ай Сяомин, ученый и режиссер из Гуанчжоу, опубликовала открытое письмо, которое начиналось с заявления: «Сегодня каждый из нас стал Ай Вэйвэем». В письме были такие слова: «Ай Вэйвэя забрали. Вероятно, он вернется через пару дней, но, возможно, лишь через много лет. Но его аудитория насчитывает сотни тысяч людей, в большинстве своем молодых. У Ай Вэйвэя останется эта аудитория, и бесчисленное множество людей будут следовать его идеалам и осуществлять их на практике. В этом смысле Ай Вэйвэй победит, что бы ни случилось».

Отовсюду звучали призывы освободить меня. Огромное количество сочувствующих выкладывали на своих страничках мою фотографию, иностранные художники и организации подписывали письма протеста, а лондонская галерея «Тейт Модерн» даже разместила на фасаде гигантскую надпись «Свободу Ай Вэйвэю». В Гонконге изображение моего лица нанесли краской на пешеходные переходы и в метро, а по ночам проецировали его на стены барака, где размещались китайские военные. Госсекретарь США Хиллари Клинтон публично выразила свою озабоченность, а лидеры Германии, Великобритании и Франции отправили совместное письмо властям Пекина, в то время как Европейский союз выпустил ряд заявлений. Позже полицейские мне говорили, что, если бы не весь этот «шум», меня могли выпустить куда раньше.

Мое исчезновение воскресило в памяти матери проявления несправедливости, которые пришлось пережить моему отцу. Вопреки советам друзей и родственников, она опубликовала в интернете объявление «о пропаже человека», потому что к своим семидесяти восьми годам приноровилась обходить запреты ради того, чтобы оставаться в курсе происходящего со мной.

Мое освобождение стало такой же резонансной новостью, как и задержание. Утром 22 июня начали появляться твиты о моем предстоящем освобождении, и, когда я добрался до студии в Цаочанди, иностранные репортеры уже толпились там в

ожидании подтверждения информации. Новостное агентство «Синьхуа» выпустило сообщение о том, что принадлежащая Ай Вэйвэю компания FAKE совершила ряд правонарушений, среди которых уклонение от уплаты налогов и уничтожение вещественных доказательств, но благодаря сотрудничеству со следствием и по причине проблем со здоровьем меня выпустили под залог.

Некоторое время казалось, что жизнь вернулась в привычную колею. Когда я приезжал в свою мастерскую в арт-квартале Цзою, то слышал непрерывный лязг ударов металла по металлу, и звук то повышался, то понижался в постоянном ритме. За год до этого я купил более двухсот тонн искореженной арматуры из разрушенных вэньчуаньских школ и отправил ее в Пекин. Теперь десяток рабочих ковал каждый кусок стали, возвращая ему исходную форму — выпрямляя так, будто они только что сошли со станка. Весь этот шум наполнял меня благодарностью за то, что дело продолжалось даже во время моего заключения. Скульптурная инсталляция «Прямо» (Straight) потом будет выставлена на Венецианской биеннале 2013 года.

По всей студии были установлены дополнительные камеры слежения, и, чтобы облегчить себе жизнь, полицейские выстроили рядом с нами небольшое двухэтажное здание, так что могли наблюдать за происходящим прямо оттуда. Каждое утро туда заходили двое мужчин с черными портфелями и проводили там весь день. О всяком своем перемещении я должен был сообщать полиции, и на то, чтобы покинуть студию, требовалось их разрешение.

После моего освобождения жизнь наполнилась самыми разными эмоциями — любовью и ненавистью, счастьем и грустью. Каждый день, казалось, имел мифологическое, символическое значение, ведь глупость и фальшь стали основой моей жизни, а мои ежедневные трудности были всего лишь частью общей картины. Я никогда не забывал о постоянном присутствии врагов прямо под моими воротами, и любое самое мелкое происшествие заставляло меня нервничать. Я не тешил себя фантазиями о будущем и не ожидал от него ничего особенного. Я просто жил сегодняшним днем.

На сорок четвертый день после моего освобождения, решив, что больше не могу молчать, я поприветствовал в Twitter тех, кто меня поддерживал, а также упомянул физическое и психологическое давление, которому подвергались мои сотрудники, пока я был в заключении. Нарушая наложенные на меня запреты, я рисковал снова оказаться под стражей, но потеря свободы самовыражения была равноценна тюрьме. Количество

моих подписчиков в Twitter достигло 100 000, и, когда я впервые за несколько месяцев снова писал твит, на мгновение мне показалось, что все как в старые добрые времена. Но, конечно, все изменилось.

Как и раньше, мы с Ван Фэнь каждый день водили Ай Лао гулять в соседний парк. Они так много вынесли, пока я отсутствовал. Чтобы объяснить ребенку мое исчезновение, Ван Фэнь пришлось придумать, что меня задержала в Великобритании работа над крупным проектом, и, когда меня освободили, Ай Лао строго сказал: «Папа, не работай больше в Лондоне, пожалуйста». Теперь он знал правду, и я поклялся не покидать его ни при каких обстоятельствах.

Однажды, вскоре после моего освобождения, Ай Лао лежал рядом со мной и рассматривал мое лицо. «Ай Вэйвэй, — сказал он, — если ты пошире раздвинешь брови, будешь счастливым». Ай Лао всегда называл меня полным именем.

— Ты хороший папа, — продолжал он, — и у меня тоже будет сын, и у этого сына будет сын, и у того сына тоже будет сын.

— А как ты думаешь, что было, когда Ай Вэйвэя забрали? — спросил я. Его ответ меня обескуражил.

— Ничего страшного, — сказал он. — Они тебе делали рекламу, чтобы ты стал еще более знаменитым.

В другой раз он сказал Ван Фэнь: «Дураки все делают по-своему. Я хочу сказать, что даже если кто-то дурак, пусть делает, что хочет. Плохие парни тоже все делают не так, я заметил».

Он всегда был любознательным и однажды спросил меня:

— Пап, сколько времени прошло? Уже сто дней?

— О чем ты? С каких пор?

— С тех пор, как мы были обезьянами.

Ему было что сказать и моим подписчикам. «Правда кривды не боится». По его словам, это из стихотворения о весне.

— Как ты думаешь, какая польза от любви? — как-то спросила его мать.

— Любовь дает нам чувства, — ответил он.

— Так что такое, по-твоему, любовь?

— Любовь? — Он задумался. — Любовь — это бутылка с водой, которую легко разбить, но если вы бросите ее на пол, она не разобьется.

Ай Лао сделал множество открытий. «Каждый, кому удается спастись, будет притворяться мертвым».

— Что стряслось, Ай Лао? — спросил я. — Чем ты недоволен?

— Папа, знаешь, чем я недоволен? Я чувствую, что время в этом мире идет слишком быстро. Поэтому придумай что-нибудь,

чтобы оно шло медленнее. Ты же такой находчивый энтомолог. Единственный способ — грустить. Когда я грущу, время идет медленнее.

Однажды в студии Ай Лао повернулся ко мне и очень серьезно сказал: «Я не просто делаю то, что мне хочется, — я сначала что-то делаю, а потом смотрю, что получается».

У него обнаружился особый интерес к словам, стало развиваться языковое чутье. Тринадцатого августа он написал стихотворение бабушке. «Огонь, почему ты так жарко горишь? Ничего не отвечает Марс, знай себе дальше горит. Меркурий и Марс далеко-далеко, не встретиться им никогда, между ними пустыня, а в пустыне пагода».

Однажды, сидя в машине, я рассказывал ему истории и спросил:

— Что следует написать на надгробии героя?

— Папа, напиши вот что, — сказал он, — «Надеюсь, легкий ветерок с любовью веет над его могилой».

Мне понравились эти слова. «Оставь их для меня», — подумал я.

Из-за того, что мой паспорт все еще был в органах государственной безопасности, в октябре 2011 года я не смог приехать на открытие своей персональной выставки под названием «Отсутствующий» (Absent) в Музее изобразительных искусств Тайбэя, точно так же я не мог посещать открытия других своих выставок еще четыре года. И мне, и кураторам этих выставок мое отсутствие приносило немало проблем, но при этом оно демонстрировало необходимость борьбы за свободу слова, несмотря на возможные жертвы.

Хотя меня и выпустили под залог, я знал, что ничего хорошего ждать от властей не приходится. Во время моего секретного содержания под стражей, а потом и на еженедельных допросах после освобождения я часто слышал от сотрудников госбезопасности такие слова: «Ай Вэйвэй, нам надоели твои нападки на государство и правительство. Мы тебе устроим страшную смерть: всем расскажем, какую беспутную жизнь ты вел, как ты уклонялся от уплаты налогов, какой ты неблагонадежный». Они собирались разделаться со мной так же, как с любым другим политическим оппонентом: повесить на меня сфабрикованное дело. Я всегда отвечал на это одно и то же: «Неужели вы думаете, что молодежь этому поверит?» «Ну, — говорили они, — 90 процентов людей поверят».

Первого ноября 2011 года, через несколько месяцев после моего освобождения под залог, правительство обвинило FAKE в

уклонении от уплаты налогов, а два дня спустя судебные приставы из пекинского Управления по местным налогам доставили в студию в Цаочанди налоговое извещение на сумму 15,22 миллиона юаней (что составляет около 2,4 миллиона долларов). Они потребовали, чтобы FAKE в течение пятнадцати дней выплатила всю сумму, включавшую в себя налоговую задолженность, пеню и штраф. «Пока не оштрафуют, ты не заткнешься!» — как выразились полицейские.

Сумма штрафа была беспрецедентной, заоблачной и превышала годовой доход огромной корпорации вроде China Railway Group. На счету FAKE было всего две тысячи юаней. Если я не могу выплатить всю сумму, сказали они мне, то можно платить частями, а еще можно закрыть компанию. Этого они и добивались.

Я не готов был согласиться с состряпанным против меня обвинением в неуплате налогов, так что подал апелляцию, хотя заранее знал, каким будет результат. По закону тот, кто подает апелляционную жалобу, сначала должен вернуть не уплаченный в срок налог, но такая гигантская сумма обычно отбивает у людей охоту жаловаться. Я же был только рад возможности прояснить факты и потребовать справедливости, так что попросил Пу Чжицяна (адвоката, который защищал активиста из Чэнду Тань Цзожэня) представлять FAKE в суде, а еще нанял адвоката по налоговым делам, пустив в ход апелляцию против решения пекинского Управления по местным налогам.

Это была авантюра, в которой мы никак не могли выиграть. Но меня это не смущало, и я делал все возможное, чтобы довести дело до открытого разбирательства. Но суд не разрешил моему адвокату прочитать и скопировать документы, на основании которых был начислен налог, а также отказал нам в открытом слушании. Изменить решение невозможно, так как приказ был спущен сверху. «Если государство говорит, что ты не заплатил налоги, не спорь. Ты что, совсем идиот? Разве государство когда-нибудь меняет свое мнение? Если оно желает твоей смерти, то у тебя нет шансов выбраться живым — даже не думай об этом!»

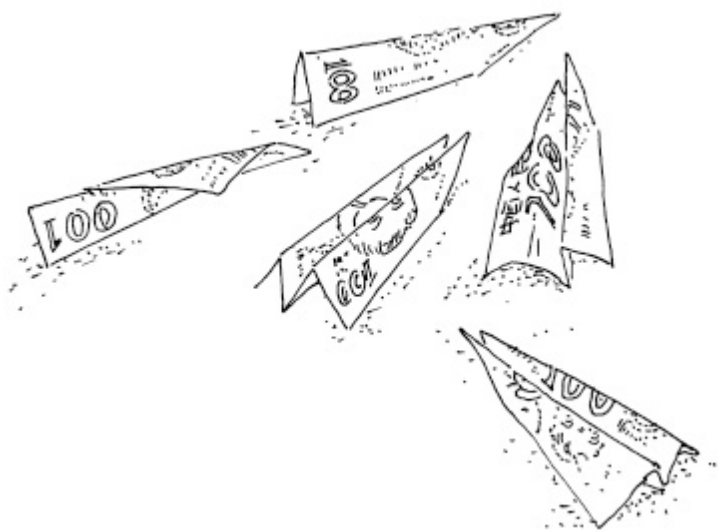
Но чудеса случаются. К вящему удивлению и ужасу органов государственной безопасности и налогового управления, я пошел напролом и опубликовал в интернете новости о происходящем, заявив, что собираюсь принять законные меры по защите своих прав. Зло должно быть разоблачено, писал я своим читателям. Только тогда появляется шанс добиться справедливости.

Мое заявление немедленно вызвало бурное обсуждение в интернете, и я обратился за финансовой поддержкой для оплаты юридических услуг. Это вызвало небывалый отклик, и

пользователи интернета стали переводить деньги еще активнее, чем в случае наших проектов «Гражданское расследование» или «Праздник речного краба». Внезапная волна сочувствия и материальное выражение солидарности продемонстрировали масштаб общественного возмущения злоупотреблениями, сопряженными с тайным заключением, а также подковерными манипуляциями в суде.

В первый день после публикации на мой счет поступило более пяти тысяч пожертвований на общую сумму 1,1 миллиона юаней. А утром мы обнаружили, что лужайка во дворе студии усеяна розовыми бумажными самолетиками — их сложили из купюр в сто юаней и запустили через стену.

За десять дней я получил 28 479 денежных переводов на общую сумму почти 9 миллионов юаней. Все пожертвования сопровождались сообщениями: оптимистичными, решительными, восторженными. Их слова о том, что я не одинок, их переводы дали мне почувствовать растущую силу их поддержки. Уведомления о новых онлайн-пожертвованиях приходили мне на телефон, и его экран не переставал мигать до глубокой ночи. Свою денежную поддержку люди воспринимали как знак доверия мне.



Писатель Ван Сяошань приехал ко мне с женой, они привезли целую сумку наличных — эти деньги они копили, чтобы купить машину. «Вэйвэй, бери все», — сказала его жена. Все сплотились, будто собрались вокруг огонька, чтобы не дать ветру задуть его. Каждый день то на улице, то в парке ко мне подходили молодые люди и говорили: «Мы на вашей стороне».

Меня глубоко тронуло сообщение от незнакомой подписчицы из Шэньчжэня:

> Здравствуйте, Тетушка, я знаю, что у вас дел невпроворот, так что не буду звонить по телефону. Я пишу лишь для того, чтобы попросить долговую расписку.
>
> Вчера я перевела вам миллион юаней. Я не топ-менеджер, а простая женщина, проработала почти двадцать лет в финансовой индустрии. Я не считаю себя богатой, и сумма, которую я отправила, составляет почти половину моих накоплений к моим годам. Но я хочу одолжить их вам в трудный час.
>
> Несмотря на то что я могу навлечь на себя неприятности, я все же хочу это сделать. Это полная глупость? Может, и так, но я уже сорок лет как глуповата, так что не вижу смысла меняться.
>
> Учитывая, что я ваш самый крупный кредитор, могу ли я попросить написать мне долговую расписку? Можно спокойно указать там мое настоящее имя на случай, если они попытаются назвать это «незаконным займом».
>
> Меня зовут Сунь Вэйбин. 9 ноября 2011 года.

Тетушка (*шэньшэнь*) — одно из моих многочисленных прозвищ, на китайском оно созвучно слову «божество» (*шэнь*), как меня тоже часто называли. (Когда я спросил полицейских в Чэнду, почему они меня избили тогда в гостинице, один из них сказал: «Ха! Да просто ты строишь из себя божество какое-то», подразумевая жаргонное выражение «изображать божество» (*чжуан шэнь*), что значит «мистифицировать, морочить голову». С тех пор сторонники в интернете стали называть меня «Божок Ай».) Смелость написавшего письмо продемонстрировала мне силу народа, а он, со своей стороны, видел в моих действиях будущее нашего общества.

Буквально за одну ночь у меня появилось около тридцати тысяч «кредиторов», что сделало меня самым популярным должником страны. Каждый день я часами сидел за столом, выписывая долговые расписки. Каждая обладала уникальным дизайном, где имена кредитора и заемщика, а также сумма займа были аккуратно выведены от руки ровными столбиками, традиционным шрифтом. Я ставил также свою подпись и печать, а в верхнем правом углу добавлял парочку штампов в виде саманной лошадки или семян подсолнечника, что окончательно скрепляло соглашение. (Саманная лошадка — вымышленное создание, похожее на альпаку, символизирующее сопротивление

цензуре в интернете; по-китайски это название звучит как матерное оскорбление.) А затем расписка отправлялась кредитору по почте вместе с парочкой керамических семечек — семян свободы — и копией одного из моих документальных фильмов. Мое искусство снова оказалось неразрывно связано с гражданским активизмом.

Шестнадцатого ноября 2011 года, предоставив необходимые документы о выплате налогов, я смог потребовать пересмотра решения. В последний день года меня позвали в Управление общественной безопасности, чтобы обсудить мои действия. Ответственный за мое дело сотрудник не ожидал, что все настолько осложнится. Он знал меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что я не сдамся, и невольно уважал за твердость. В этот раз он выражался очень откровенно:

— Ай Вэйвэй, ты ведь знаешь, что стал лишь пешкой в этой игре — может, непростой, но все равно пешкой. Ты родился в этой стране, в подлинно социалистической семье, а теперь ты, со своим хорошим английским и высоким статусом, стал пешкой в руках Запада с его нападками на Китай. Ты же понимаешь, что пешками рано или поздно жертвуют? Тебе можно только посочувствовать. — Он явно говорил не от своего имени, а передавал слова начальства.

— Неужели вы думаете, что своим влиянием в Китае я обязан поддержке Запада? — не сдержался я.

— На фоне населения в 1,3 миллиарда твои тридцать тысяч сторонников — это ничто, — возразил он. — Последние полгода, — продолжил он, — ты нарушал все свои обязательства. Ты писал в Twitter, затеял судебное разбирательство, раздавал интервью, делал заявления в интернете и устраивал видеотрансляции.

Он также заявил, что я использовал в своих интересах Пу Чжицяна и своего друга адвоката Лю Сяоюаня, который первым сделал мне денежный перевод в интернете.

— Может, я и не смогу тебя заткнуть, но я уж точно могу заткнуть их, — добавил он. — Я собираюсь избавиться от всех без исключения пешек, которые тебя защищают, и в конце концов выведу из игры и тебя.

Я оценил его прямоту.

— Какое дело органам государственной безопасности до иска о налоговом правонарушении? — спросил я. — И почему вы так не хотите предать дело огласке?

Он стал говорить медленнее.

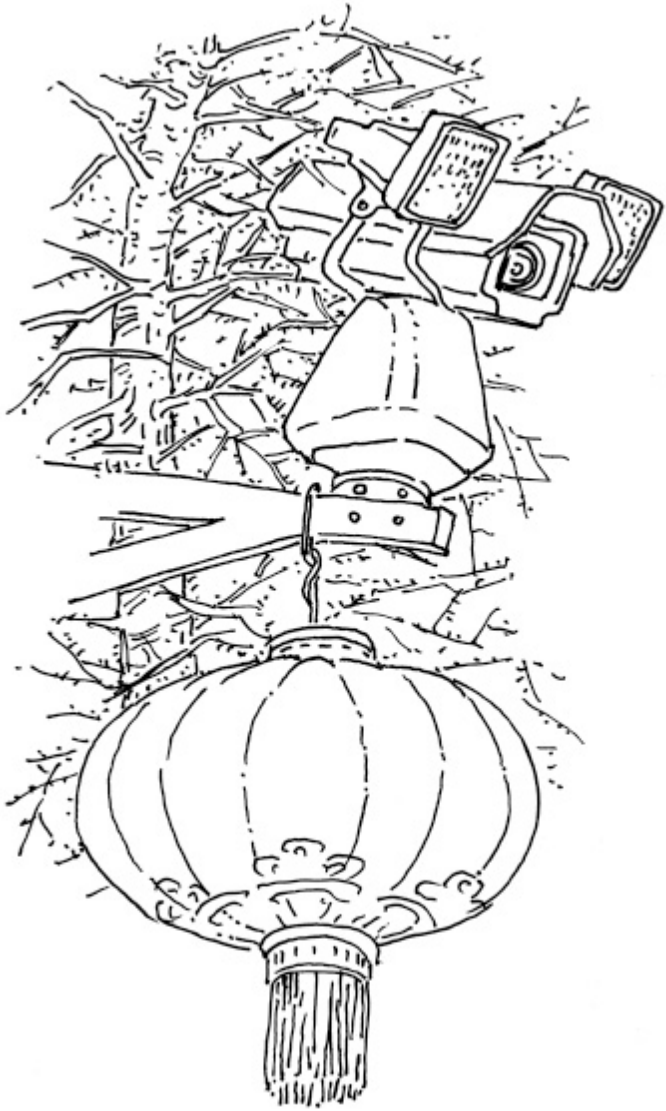
— Мы могли все это утрясти, усек? Неважно, что ты будешь делать, вердикт по поводу налогов предрешен.

По сути, он говорил вот что: если я просто замолчу, прошлое останется в прошлом. Наконец, заметил он, если в будущем меня снова заключат под стражу, я не смогу сказать, что меня не предупреждали. Я должен был признать: безусловно, таких предупреждений он высказал немало.

Это дело тянулось еще восемнадцать месяцев. В июне 2013 года Чаоянский окружной народный суд города Пекина вынес вердикт, согласно которому действия и процедуры пекинского Управления по местным налогам находились в рамках закона, а принятые меры сочтены надлежащими, так что мою апелляцию отклонили. Четвертого августа, после второй апелляции, Пекинский народный суд промежуточной инстанции № 2 вынес свой вердикт, поддержав первое решение, так что дело о налоговом правонарушении оспорить не удалось.

Мы с Лю Сяоюанем отправились слушать оглашение вердикта — тогда мне впервые позволили присутствовать в зале суда. Судья зачитал вердикт дважды. Когда я спросил, является ли он членом Коммунистической партии, он просто продолжил сидеть молча, потупив глаза. Я не смог сдержаться и закричал ему: «Позор! Вам это еще припомнится!» Но результат был неудивителен. Власти удержали крупную сумму депозита, которую я внес, когда подавал апелляцию, и в течение следующих двух лет я постепенно выплатил все займы своим кредиторам.

С момента моего исчезновения за моими новостями внимательно следили друзья, а после освобождения, конечно, усилилась полицейская слежка. В качестве подарка органам государственной безопасности я решил позволить им наблюдать за всем, что делаю, с кем встречаюсь и даже как сижу перед компьютером или сплю на кровати, — для этого я добровольно воссоздал систему надзора, какая была в период моего заключения. «Коли вас так интересуют мои частные дела, я обеспечу вам полный доступ к моей жизни», — так я это объяснял.



Чтобы отметить эти нововведения, я повесил традиционный красный фонарик под каждой камерой наблюдения, установленной властями по периметру здания на Цаочанди, 258, что придало угрюмой серой улице праздничную атмосферу. Второго апреля 2012 года, за день до первой годовщины моего исчезновения, я установил веб-камеры у рабочего стола и над кроватью и стал транслировать видео на weiweicam.com, где можно было видеть каждую секунду моей повседневной жизни. В следующие сорок семь часов и девять минут число посещений страницы достигло 5,2 миллиона, а особо неуклюжие позы, в которых я спал, так забавляли зрителей, что они делали

скриншоты и публиковали их. Но поздним вечером 4 апреля видеотрансляция внезапно оборвалась — безусловно, не по моей вине. Все наши трудности не опишешь, но именно когда повседневный опыт перестает подчиняться логике, свою силу начинает демонстрировать искусство.

В те времена мы с Ван Фэнь и Ай Лао, несмотря на смог, часто ходили гулять в парк Чаоян. У западного входа в парк был книжный магазин, и вскоре мы заметили, что в дни наших прогулок двое мужчин, явно не испытывающих интереса к книгам, торчали на балконе этого магазина, попивая чай, куря одну за другой сигареты и фотографируя парковку.

Однажды весной 2012 года мы гуляли в парке с нашей подругой Ся Син. Ай Лао дремал у матери за спиной, обняв ее руками за плечи. Неожиданно к нам подбежал мой водитель Сяо Пан и сказал: «Видите тех двоих? Они весь день ходят за нами». Не в силах больше терпеть постоянное преследование, я погнался за ними, а за мной и Ся Син, и вскоре я нагнал одного из агентов — им оказался мужчина средних лет в голубой футболке и с перекинутой через плечо камерой.

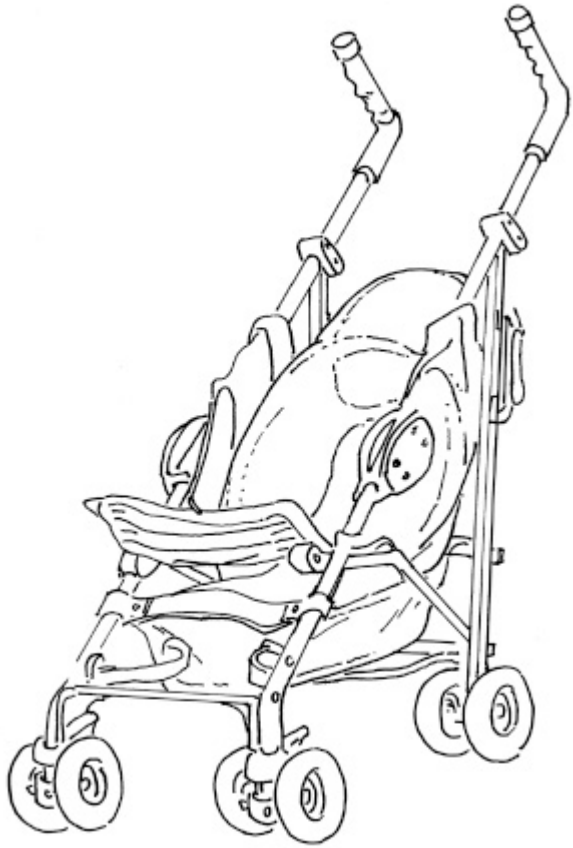
«Эй, вы что-то уронили!» — крикнул я, но он ускорил шаг и не обернулся. Я схватил его за сумку, и, пока мы боролись, оттуда выпала маленькая камера Olympus. Ся Син мигом схватила ее и успела вытащить карту памяти, после чего отдала хозяину.

Мы вернулись в студию в сумерках, и сотрудники уже разошлись по домам. Когда я вставил в компьютер эту карту памяти, увиденные фотографии привели меня в замешательство. Одна серия фото была посвящена тому, как Сяо Пан сидит на лавочке в парке; некоторые кадры крупным планом запечатлели его спину и ноги. Я увидел там ресторан тайванской сети Din Tai

Fung, где мы вчера ели, в том числе снимки здания снаружи, коридора, туалетов и кассового аппарата. Но от других фотографий у меня пробежал мороз по коже: на них была запечатлена коляска, в которой я возил Ай Лао. Какого отца не ужаснет мысль, что он не может защитить собственного ребенка? Я практически ощутил ледяное дыхание врага на шее. Благодаря этой карте памяти я смог заглянуть в головы своих противников и увидеть, какие детали они так маниакально отслеживали, как они оцифровывали подозреваемых и превращали живых людей в плоские картинки, которые можно просматривать в любой момент.

Власть повсюду распустила свои щупальца, и я почувствовал себя уязвимым, хотя это было направлено не лично против меня, а против каждого человека, ведь у любого есть тайные слабые места, которые он пытается спрятать от других.

Несмотря на постоянную угрозу вмешательства со стороны государства, я теперь был полон решимости возобновить свои провокации. Моя война с властями была похожа на видеоигру: каждый раз, когда меня убивали, я возрождался. Власти могут использовать любые способы нападения или наблюдения за мной, но я могу обратить их себе на пользу с помощью публичной деятельности и изобретательных ответных акций, сохраняя роль, которой они опасались больше всего, — роль общественного активиста и художника. Свобода самовыражения стала главным смыслом моего искусства, потому что личная свобода — это высшая ценность.



В некотором смысле я был пессимистом, поскольку жил в эпоху, когда было невероятно трудно добиться даже малейших перемен. Но в то же время я был оптимистом, ведь тягу человека к свободе невозможно подавить — всегда находится способ так или иначе выразить ее.

В конце 2012 года я принял приглашение посетить первое выступление Элтона Джона в Пекине. Перед началом представления мы с Ван Фэнь повели Ай Лао за кулисы, чтобы познакомить его с британским певцом. Тот сидел в гримерке один, на рейле висел целый ряд концертных костюмов, а на столе были выложены очки всех вообразимых стилей. Элтон тепло поприветствовал нас и обнял Ай Лао, сфотографировался с ним и подарил очки с ярко-красными дужками.

На концерт пришло пять тысяч восторженных фанатов, и Элтон Джон, исполнив первую часть песен, отошел от фортепиано, чтобы сказать речь. Он объявил, что посвящает свое выступление человеку, смелостью и идеями которого восхищается. А затем произнес мое имя. Дальнейшие его слова

потонули в аплодисментах.

Среди зрителей я чувствовал себя не в своей тарелке. Но, услышав, как другой артист подчеркивает свою приверженность свободе художественного самовыражения, невзирая на последствия, воспрянул духом. Великодушный жест Элтона напомнил мне о дружбе моего отца и Пабло Неруды, которая преодолевала и огромное географическое расстояние между ними, и все препятствия на их пути. Потом я узнал, что после выступления гримерку Элтона оцепила полиция. Он больше не сможет приехать и снова выступить перед своими преданными китайскими поклонниками.

В мае 2013 года мой друг рок-музыкант Цзосяо Цзучжоу помог мне записать песню «Глупец Бои[45]», а также видеоклип, воссоздающий сцены моего заключения, подробности которого люди хотели узнать. Нашу первую совместную с Цзосяо рок-н-ролльную запись я опубликовал на YouTube под названием «Божественная комедия» (The Divine Comedy). Примерно в тот же период я закончил серию крупных скульптур под названием S.A.C.R.E.D[46]. С помощью шести стальных боксов мы реалистично воспроизвели шесть сцен из моей жизни в заключении, подобно тому, как диорамы иллюстрируют жизнь первобытного человека. Когда эту работу выставили в Венеции, моя мать, которой на тот момент пошел девятый десяток и для которой это была ее последняя в жизни поездка за границу, смогла заглянуть через крошечные окошки в каждый из этих металлических боксов и получить представление о том, как я провел тогда восемьдесят один день.

В качестве более изящной формы протеста я придумал следующее: за воротами студии я прислонил к молодому дереву гинкго велосипед и ежедневно в девять утра клал в его корзинку букет свежих цветов, делал фото и выкладывал его в Instagram[47]. Я начал пользоваться Instagram[48] 7 августа 2011 года, через полтора месяца после освобождения из-под стражи, и делился там происходящим в своей жизни и селфи с новыми знакомыми. Теперь я намеревался каждый день выполнять этот ритуал с фотографией свежих цветов, пока мне не вернут паспорт и свободу передвижения. Цветы служили живым символом потери свободы и в легкой, лиричной форме демонстрировали стойкость — молчаливые и прекрасные, каждый день при любой погоде они неизменно были свежими. Искусство всегда связано с неопределенностью жизни, а эмпатия и доверие — неотъемлемые условия плодотворной дискуссии. Акт возложения цветов в корзину велосипеда устанавливал именно такую связь. Можно было заставить исчезнуть меня, но не искусство, ведь и поэзия

моего отца продолжала жить в памяти людей, даже когда сам он находился в ссылке.

В апреле 2014 года моя персональная выставка «На каком основании?» открылась в Бруклинском музее — своей последней остановке в туре по разным городам. В то же время я активно занимался подготовкой новой работы для осенней экспозиции на острове Алькатрас, в бывшей федеральной тюрьме в заливе Сан-Франциско, где когда-то держали в заточении «худших из худших». Я считал этот проект бесценной возможностью связать собственные испытания и страдания политзаключенных всего мира. Я создал серию инсталляций, в их числе были выложенные на полу, как древнеримские мозаики, крупные портреты 176 узников совести из разных стран, изготовленные из кирпичиков Lego. Я хотел продемонстрировать солидарность с ними и выразить уважение за стойкость в борьбе.

Я вспоминал, как был тронут мой отец, когда в долгий период изгнания в Синьцзяне получил открытку от бесстрашного поклонника, написавшего, что его поэзия не забыта. Больше всего заключенные нуждаются в подтверждениях, что внешний мир существует. Соответственно, в секции выставки под названием «Искренне ваш» (Yours Truly) посетители по желанию могли написать что-нибудь на открытке, адресованной одному из

бесчисленных невольников. Многие пользовались этой возможностью.

Несмотря на то, что я сталкивался с личными преследованиями, я не чувствовал себя одиноким. Мне запретили путешествовать, но это вынужденное ограничение не мешало мне работать — напротив, оно подпитывало. У меня вдохновение рождается в сопротивлении, а без него мои усилия оставались бы бесплодными. Мне повезло иметь настоящего — и могущественного — врага, это сделало свободу осязаемой, ведь свобода проистекает из жертв, которые человек приносит ради нее. Мешает только трусливое сердце, а искусство — противоядие от страха. Я не нуждался в сострадании, ведь смелость сама по себе — эстетическое чувство, и лишь преобразование подлинных чувств в нечто, понятное большинству, позволяет искусству избежать истощения.

В 2014 году я готовил большую персональную выставку в Берлине, а параллельно принял участие в выставке «Не следуй за ветром» (Don't Follow the Wind). Она была устроена в зоне отчуждения вокруг Фукусимы в Японии, откуда после радиационной аварии, вызванной землетрясением 2011 года, все жители были эвакуированы. Наряду с двенадцатью другими художниками в знак памяти об аварии я создал произведение, отражающее влияние этой трагедии на жизни десятков тысяч переселенных людей. Моя работа под названием «Луч надежды» (A Ray of Hope) состояла в следующем. В одном из брошенных домов я установил лампы на солнечных батареях, обеспечив тем самым освещение для будущих жителей, а заодно на комоде и книжной полке я поместил фотографии Ай Лао и самого себя. Каждый вечер в пустом доме в городе-призраке зажигаются огни, которых никто не видит. Однажды в далеком будущем, когда радиация уже исчезнет и место станет безопасным для людей, кто-нибудь наконец увидит мою работу.

Еще в феврале 2011 года, незадолго до ожидаемого открытия моей персональной выставки в пекинском Центре современного искусства Улленса (UCCA), куратор объявил мне, что все отменяется. Он не стал вдаваться в подробности и только сказал, мол, это произошло «по известным вам причинам». Многие годы Центр служил символом новообретенной открытости китайского общества, но в итоге его главной заботой стали коммерческие прибыли (которые зависели от дружбы с властями). Спустя два месяца, в тот самый день, когда в пекинском аэропорту меня отвели в сторонку, а потом увезли в секретную тюрьму, в Гонконге на аукционе Sotheby's была продана часть коллекции

современного китайского искусства Гая Улленса за немалую сумму в 427 миллионов гонконгских долларов (почти 55 миллионов долларов США).

А теперь, в апреле 2014 года, нечто подобное случилось, когда открывалась выставка, посвященная 15-й годовщине Премии современного китайского искусства (Chinese Contemporary Art Award — CCAA) на Электростанции искусства в Шанхае. За двадцать минут до открытия в галерею прибыло несколько особенных гостей. Это были чиновники из шанхайского Управления по делам культуры; и по их настоянию из списка художников на стене выставочного зала убрали мое имя. Ули Сигг, один из почетных гостей, как раз входил в галерею, когда рабочие сушили феном закрашенное на стене место, где только что было мое имя. Мой швейцарский друг был настолько этим озадачен, что сфотографировал эту нелепую сцену и отправил мне фото. В своей речи на церемонии открытия Сигг тактично выразил свое огорчение подобным вмешательством: «Я глубоко сожалею, что в последний момент перед открытием работы одного из наших крупнейших художников не смогли представить на выставке». Переводчик предусмотрительно опустил эти слова.

В 2008 году я был награжден Премией CCAA за выдающиеся достижения на протяжении всей жизни, а в предыдущие три года входил в отборочный комитет. На этой выставке показывали работы около сорока китайских художников, и все они знали и меня, и мои произведения, но ни один не выразил протест, как будто не было никакого акта цензуры и вымарывать мое имя — абсолютно нормально.

Допущение искажения истории — первый шаг к допущению унижения в реальной жизни. Чтобы выразить протест, я опубликовал в своем Instagram[49] фотографию ящиков с моими семенами подсолнуха, которые вынесли из выставочного зала и закрыли в кабинете.

На следующий месяц в Центре современного искусства Улленса открылась выставка «Ханс ван Дейк: 5000 имен». Ретроспектива была посвящена вкладу Ханса в современное искусство Китая в 1990-х годах и демонстрировала особую значимость этого периода. В нее входило три моих работы, но вскоре я обнаружил, что мое имя исключили из списка художников в пресс-релизе: список начинался с буквы C и завершался Z, а меня нигде не упоминали. А в рассказе о карьере Ханса на этой выставке говорилось только о его сотрудничестве с «другими людьми» в проекте «Архивы и хранилище китайского искусства», тем самым его сотрудничество со мной из истории вычеркивалось.

Я немедленно позвонил директору музея и сказал, что это неприемлемо и что я забираю работы с выставки. Будучи другом и коллегой Ханса, я хотел остаться верным памяти о нашем сотрудничестве. Когда я впоследствии спрашивал полицейских, почему мое имя и произведения пытались скрыть, они отвечали: «Ты же знаешь, что мы не связываемся с иностранными галереями. Это они сами сделали — подавай на них в суд, если хочешь».

Теперь многие иностранные галереи пытались проникнуть на китайский рынок, спеша подать очередное блюдо на банкете глобализации. Всего через несколько дней после того, как меня похитили в апреле 2011 года, в Национальном музее Китая на площади Тяньаньмэнь открылась сенсационная китайско-немецкая экспозиция «Искусство просвещения», на устроение которой были потрачены огромные средства. Говорят, это самый крупный музей в мире, но большую часть времени выставочные залы пустовали. Возможно, некоторые представители китайского руководства и нанесли официальный визит, но вряд ли он послужил их просвещению.

Вы спросите: «Зачем этим организациям ехать в такую даль, чтобы подвергаться унижениям?» В некотором извращенном смысле китайская диктатура выступает идеальным партнером для свободного мира, так как делает то, чего Запад не может себе позволить, а эпизодические унижения кажутся приемлемой ценой, если таким образом поддерживается слава и процветание западного партнера. К сожалению, свобода, которую так ценят на Западе, теряет смысл, если Запад не борется за нее в других странах.

Внесение моего имени в черный список стало прямым следствием моего толкования искусства как формы социального вмешательства в интересах справедливости и равенства. Когда люди путают добро и зло, побеждают прагматизм и соображения выгоды. Мой протест директор Центра современного искусства Улленса объяснил репортеру *The New York Times* тем, что я не люблю скромные вернисажи без прессы. Этот обтекаемый комментарий никак не оправдывал акт самоцензуры.

Настоящий выбор — это сложно, потому что суть выбора обнаруживается именно в его сложности. Понимать исторический период не менее сложно, ведь так называемая история — это часть самопознания. Перед лицом авторитаризма большинство кураторов и художников теряют дар речи, и своим компромиссом с совестью они сводят на нет любую эстетику и этику. А я не способен на компромисс. Но в этой эхо-камере единственный ответ на мой хриплый боевой клич — его же отзвуки.

Сегодняшняя цензура затрагивает все стороны жизни — от интернета и газет до книг, концертов и выставок. Она сводит на нет человеческое чувство собственного «я» и личные переживания: идеи уступают подчинению, речь превращается в лесть, а существование сводится к низкопоклонству.

В такой среде цензура щедро награждает практическими преимуществами тех, кто согласен с ней сотрудничать. Они просто должны приспособиться к требованиям властей, зная, что стоит хотя бы немного не угодить хозяину и у них не будет шанса выжить, так как их процветание никогда не было результатом свободной конкуренции. Для благополучной жизни в условиях цензуры нужны сообразительность и готовность к сотрудничеству; правила игры примитивны и просты, но игнорировать их нельзя. Если вы не готовы заявить о себе через сопротивление, единственный способ добиться признания — низкопоклонство и расшаркивания.

Всякие расследования, касающиеся свободы самовыражения, неизбежно приводят к вопросам о легитимности государственной власти. Это объясняет, почему никто не хочет говорить о свободе слова, и почему мое имя везде запретили, и почему я могу существовать только в виртуальном пространстве. Авторитаризм боится искусства, которое затрагивает множество разных уровней и несет разные смыслы.

Если бы мой протест на выставке «5000 имен» ограничился только отзывом работ, он не вызвал бы особого резонанса. Но мир искусства был взбудоражен тем, что я просил и других людей заявить о своей позиции по этому вопросу. Согласно одной из точек зрения, я лишал других художников «негативной свободы»[50] — другими словами, отказывал им в праве ничего не делать.

Разве в государстве, которое не гарантирует своим гражданам политических прав, свободы самовыражения, свободы собраний, есть место «негативной свободе»? В хитром и уклончивом Китае «негативная свобода» — просто синоним цинизма и трусости.

В итоге я понял, что столкнулся не просто с гигантской деспотической политической системой, а с расширением бесплодных территорий, где насмехаются над свободой, поощряется предательство и ценится обман.

Однажды мартовским утром 2014 года кто-то позвонил в дверной колокольчик. Сяовэй открыл дверь, вошли два незнакомца — один держал в руке такой огромный букет гвоздик, что закрывал им лицо. Тот, что постарше, начальник отдела в Управлении общественной безопасности, заговорил первым.

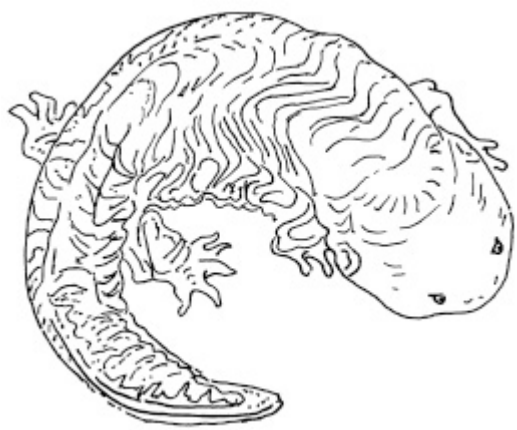
«Сегодня 27 марта, особенный день».

Сначала я не понял, о чем речь. Тогда он объяснил: исполнилось 104 года со дня рождения Ай Цина, и начальство поручило ему вручить мне цветы, чтобы почтить память моего отца. Он спросил, куда поставить букет и есть ли в доме бюст отца.

Бюста не было, и я даже не вспомнил о его дне рождения.

Гость отметил, что мой отец принадлежал к первому поколению революционеров. «То, что мы делаем сейчас, нужно соотносить с историей». Он пообещал, что у меня все наладится, и даже назвал дату, когда мне вернут паспорт. «Поверьте, я бы не стал вас обманывать», — заверил он.

Но в названную им дату паспорт мне не вернули. Вместо этого в назначенный день агент государственной безопасности открыл багажник своего черного седана и передал мне упаковку сушеной говядины, пачку чая и гигантскую живую саламандру — редкое животное, которое я никогда раньше не видел, — а также рецепт ее приготовления. (Я запомнил только первую строку инструкции: нужно прибить ее гвоздем к разделочной доске, а затем разрубить на куски. Мы не стали этого делать и оставили саламандру в качестве домашнего питомца.)



Мы с агентом тогда проболтали на улице не менее получаса. «Не ходите на встречу с канадским министром иностранных дел, когда он приедет в Китай на следующей неделе», — предупредил он, не пытаясь даже скрывать, насколько внимательно они следят за моим общением с людьми; я думал, что о предстоящем событии знают только двое — атташе канадского посольства по вопросам политики и сам посол. Уходя, полицейский сказал, что «там наверху» очень озабочены предотвращением любой огласки, а также намекнули, что в противном случае им придется еще на

некоторое время задержать мой паспорт. Но он заверил меня, что это всего лишь вопрос времени, нужно только запастись терпением. «Вы пользуетесь таким влиянием, а из-за движения „Захвати Сентрал“ (Occupy Central) в Гонконге здесь и так уже все на ушах и беспокоятся, что вы усугубите проблему». «А разве не ваши люди сделали меня таким влиятельным?» — возразил я.

Перед ужином того же дня мне позвонил другой агент — тот, что вез меня домой после освобождения из тайного заключения. Он спросил, не смогу ли я принять двух черепашек, которых он купил своему отцу, а тому из-за возраста оказалось слишком тяжело за ними ухаживать. Тем вечером Сяо Пан встретился с ним у входа в парк и забрал черепашек.

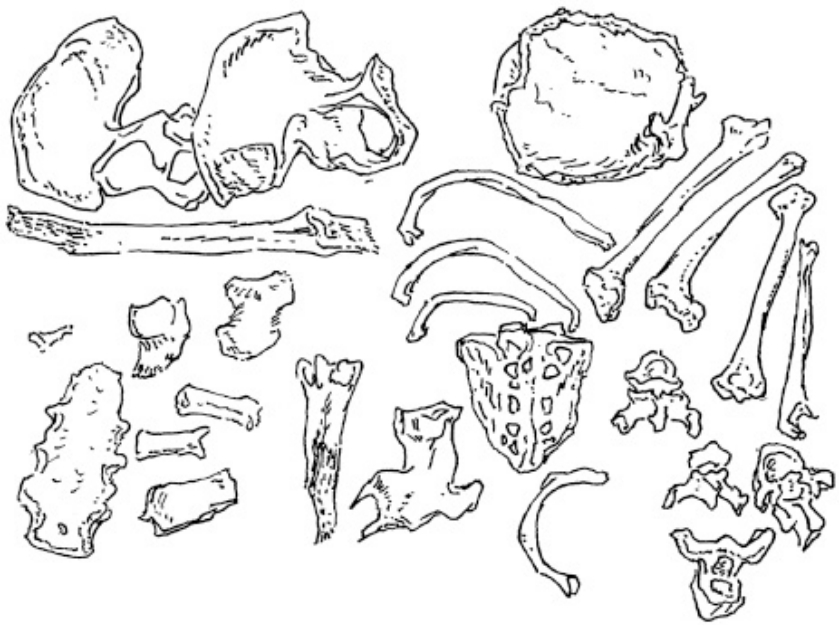
Две привезенные из Бразилии черепашки неподвижно лежали в деревянном ящике, их панцири украшал необычный узор. Человек передал Сяо Пану инструкции по уходу на бумажке, в которой было написано, что ежедневно в час дня их нужно мыть теплой водой, это способствует их регулярной дефекации. Качество их экскрементов также необходимо было контролировать: отсутствие в кале белых комочков — сигнал, что черепашки заболели и их нужно отвезти к ветеринару. Сяо Пан не испытывал энтузиазма по поводу усыновления двух черепашек, но мне казалось, что нужно помочь агенту, раз он просит. Он нам доверился, и больше ему не к кому было обратиться.

Хотя власти больше не принимали мер против меня, ситуация омрачилась тем, что летом 2014 года полиция арестовала многих моих знакомых. Адвоката Пу Чжицяна задержали только за то, что он присутствовал на вечеринке в честь двадцать пятой годовщины демократического движения 1989 года; арестовали и других адвокатов-правозащитников.

Однажды в середине июня на пороге студии в Цаочанди появился мужчина примерно моего возраста. Оказалось, что режиссер Ай Сяомин (которая собирала подписи в мою поддержку) попросила его кое-что доставить. Он передал мне потрепанный чемодан, отказавшись войти в дом. Уже собравшись уходить, он спросил, не могу ли я дать ему несколько семян подсолнечника для одного знакомого «правого элемента». «Случайно не для вашего отца?» Он кивнул, и, глядя ему вслед, я видел в нем себя.

Открыв чемодан, я обнаружил в нем побелевшие кости, завернутые в старые газеты. Кусок черепа, несколько ребер и позвонков, часть тазовой кости, несколько пальцев ног — все это были человеческие кости из Цзябяньгоу, из провинции Ганьсу. В конце 1950-х годов тысячи «правых элементов» были сосланы в пустыню для «трудового перевоспитания», и подавляющее

большинство из них погибло от голода и болезней, а их кости время от времени обнаруживались в песках. Ай Сяомин наткнулась на эти останки, когда снимала фильм о том событии. Вспоминая мои работы, посвященные погибшим в вэньчуаньском землетрясении детям, она собрала эти материальные свидетельства другой ужасной человеческой трагедии.



Останки (Remains), 2015 год

Одну за другой я выкладывал кости на стол. Они провели больше пятидесяти весен и лет в этой безжизненной пустыне, где их освещали только солнце, луна и звезды. Подобно стволам мертвых деревьев, они потеряли и цвет, и все признаки того, что когда-то были живыми, хотя нити иссохшей ткани все еще болтались на одной из костей, напоминая связку растрепанных шнурков. Упорядочить эти фрагменты скелета не представлялось возможным.

Держа их в руках, я вспомнил одно из ранних стихотворений отца:

Я археологу не верю.
Предположим,
Среди руин, где некогда торжествовала жизнь,
Спустя столетья и тысячелетья

Он раскопает жалкие останки,
Мои останки,
Неужели он
Определит, что в этом древнем хламе
В двадцатом веке бушевало пламя?

А разве сможет он
Найти в земных глубинах
Вобравшие в себя страдание людское
Слезинки тех, кто жертвовал собою?
К истокам слез заказаны пути;

Они укрыты за стеной железной,
Но ключ к железной двери не потерян,
Герои жаждали дойти до этой двери
И падали — их было много, павших, —
И умирали на штыках
Перед порогом к той заветной цели.

О, если бы, пытливый археолог,
Ты мог бы эти слезы обнаружить
И рядом с ними бросить горсть жемчужин,
Добытых из морских глубин,
Жемчужину затмили б слезы эти,
Сверкающие сквозь тысячелетья,
И мы распяты на кресте
Двадцатого столетья,
И наши муки
Не менее мучительны, чем муки
Распятого из Назарета.

Рука врага на нас надела
Венец терновый,
С бледного чела
Стекали капли алой крови,
Но мы еще ни разу не сказали
О ярости, бушующей в груди, —
Последнее мы не сказали слово!

Конечно, мы не станем обольщаться.
Сбываются надежды, только редко.
Но мы себя грядущему вверяем —
Потомки вспомнят нас,
Как ныне

Мы вспоминаем наших предков,
Вступивших в схватку с дикими зверями.
И на лице далекого потомка
Появится спокойная улыбка,
Спокойная и долгая улыбка, —
Я готов
Идти на смерть.
Провижу ту улыбку[51].

Улыбка, 1937 год

В августе 2014 года я наблюдал, как Ван Фэнь взяла за руку уже четырехлетнего Ай Лао и они медленно шли в сторону зала вылета пекинского аэропорта. Они собрались вылететь в Берлин, где как раз завершилось строительство студии, которым я занимался три года. Как и я, Ай Лао пошел по стопам моего отца и покидал страну, в которой родился. Пройдет много лет, и он поймет, почему это было необходимо. Я считаю, что это был смелый поступок с их стороны.

Перед отъездом Ай Лао сказал мне: «Я хочу, чтобы это стихотворение было у тебя, когда мне исполнится восемь лет. Но я даю его заранее — оно обо мне пятилетнем».

Ветер дует на запад.
Вода течет на восток.
Я стою здесь,
Вспоминая этот чудный пейзаж.

Три года назад,
Когда я был еще мал,
Я уже был умен.

Прощай, страна.

Замороженный молоток Ай Лао, 2015 год

Когда Ван Фэнь и Ай Лао скрылись из виду, я почувствовал, что у меня гора с плеч свалилась. Больше не нужно было волноваться об их безопасности. За последние пять лет — кроме того периода, когда меня похитили, — я день за днем наблюдал, как растет Ай Лао, надеясь, что он никогда не вырастет и всегда будет умещаться у меня на плечах и мы будем вместе гулять вокруг пруда, ловя стрекоз над листьями лотоса или кузнечиков на лужайке. Но в тот момент я не знал, увижу ли их когда-нибудь снова.

Впоследствии во время одного из наших видеозвонков Ай Лао сказал мне, что положил в морозилку молоток. «Это подарок для тебя, — объяснил он. — Молоток будет вместо Ай Вэйвэя. Пусть полиция сколько хочет ругается, Ай Вэйвэй — всегда Ай Вэйвэй, он не изменится. Лед растает, а молоток все равно останется молотком».

Однажды, когда мы болтали по телефону, он попросил, чтобы я перестал говорить, что скучаю по нему. «Время пройдет, и ты привыкнешь», — твердо заявил он.

Когда наш разговор закончился, он сказал Ван Фэнь:

«Помнишь, как несколько месяцев назад я плакал после разговора с ним? Я думал, что Ай Вэйвэй не сможет уехать, что они его не отпустят».

В другой раз он вдруг спросил меня: «Ай Вэйвэй, это тебя полиция задержала или Коммунистическая партия?»

Я не знал, что ответить. Если бы я мог четко ответить на этот вопрос, то наверняка распутались бы и другие проблемы, как распарывается одежда, если распустить шов. Вопрос, который задал Ай Лао, уже давно не давал мне покоя — он касался и политической легитимности, и моей самоидентификации.

Шестнадцатого декабря 2014 года Ай Лао написал мне записку китайскими иероглифами: «Сердце спокойно и хорошо». Он сам придумал этот афоризм: если сердце спокойно, то ты все делаешь хорошо.

«Я думаю, что плохие люди всегда сильные, — сказал Ай Лао. — Им нужно быть сильными, чтобы делать плохие вещи. Поэтому если хочешь стать сильнее, нужно делать что-то плохое — но не слишком много, иначе сам станешь плохим».

Ван Фэнь сказала ему: «Твой отец считает, что в мире нет совершенства. А ты что думаешь?» «Думаю, что есть, — ответил Ай Лао. — Жизнь совершенна». «Не надо все время думать: справедливо это или несправедливо, — добавил он. — Иногда справедливо то, что несправедливо. Например, если ты получил что-то, чего нет у другого, — это необязательно несправедливо, потому что, может, у него и так уже больше вещей, чем у тебя».

Двадцать первого июня 2015 года был день накануне четвертой годовщины моего освобождения. Небо над Пекином уже больше месяца было чистым, и так приятно было чувствовать, как нежный ветерок овевает лицо, и вдыхать свежий воздух. Последнее время я регулярно писал, и казалось, мое сознание полностью отделилось от повседневной рутины и наполнилось воспоминаниями. Но в тот день мне вдруг захотелось найти место, где меня держали под арестом: оно не давало мне покоя, закрепившись в подсознании в качестве символа скрытой власти — настолько могущественной, что она сбивала мой внутренний компас и заставляла сомневаться в себе. Я хотел снова увидеть это место, на этот раз свежим взглядом. Так что мы с Сяо Паном сели в машину.

Во время заключения я не смог раздобыть никакой информации о расположении тюрьмы; охранники так же, как и я, были в неведении. Но уже после моего освобождения один из них, отслужив, пришел ко мне повидаться и показал селфи, сделанное в его спальне. Я заметил у него за спиной окошко, за которым

угадывался многоквартирный дом. Охранник вспомнил, что однажды их ротный командир обронил название места — «Виноградник». Впоследствии я смог его отыскать с помощью Google Maps.

В тот день мы, словно ведомые сверхъестественной силой, без единого ошибочного поворота проехали большую часть Пекина, нас будто магнитом притягивало к искомому месту. Мы остановились у жилого комплекса. Справа от него располагался небольшой парк.

У высотного многоквартирного дома женщина средних лет болтала с человеком, выгуливающим собаку. В конце тропинки к каменной ограде примыкало двухэтажное здание, где меня держали. Оно было по другую сторону ограды, и его окружали камеры наблюдения и электрическая изгородь. Внешний вид здания полностью соответствовал тому, что я помнил о нем: будто соединились две половинки расколотого нефритового диска, не оставив ни малейшего зазора. Я забрался на крышу близстоящего жилого дома, посмотрел на здание, где меня прятали, и сфотографировал его. А затем в приподнятом настроении я позвонил Ван Фэнь, чтобы рассказать о своей находке.

К лету 2015 года власти, казалось, перестали бояться, что я доставлю им проблемы в Гонконге. Четыре года моего домашнего ареста подошли к концу; каждое утро на протяжении шестисот дней я исправно украшал велосипедную корзинку у входа в студию свежими цветами. Восемнадцатого июня агент государственной безопасности Чжао спокойно протянул мне мой паспорт, когда мы сидели в машине. Я сделал селфи с паспортом и опубликовал фото в Instagram[52]. Теперь, наконец, я мог улететь в Берлин.

Чиновникам службы безопасности было далеко не все равно, куда я решу отправиться. Они не хотели, чтобы я выбрал США, пусть даже это была западная страна, где я провел больше всего времени. Предпочтительным вариантом, по их мнению, была Германия — они попросили меня подать официальную заявку на выезд в Германию для повторного обследования после травмы головы.

Тот период характеризовался тесным экономическим сотрудничеством Китая и Германии. Си Цзиньпин приезжал в Германию в марте 2014 года, а в июле того же года федеральный канцлер Ангела Меркель посещала Китай в шестой раз за свой срок на этом посту. С января по август 2014 года объем торговли между двумя странами достиг 117,3 миллиарда долларов, что на

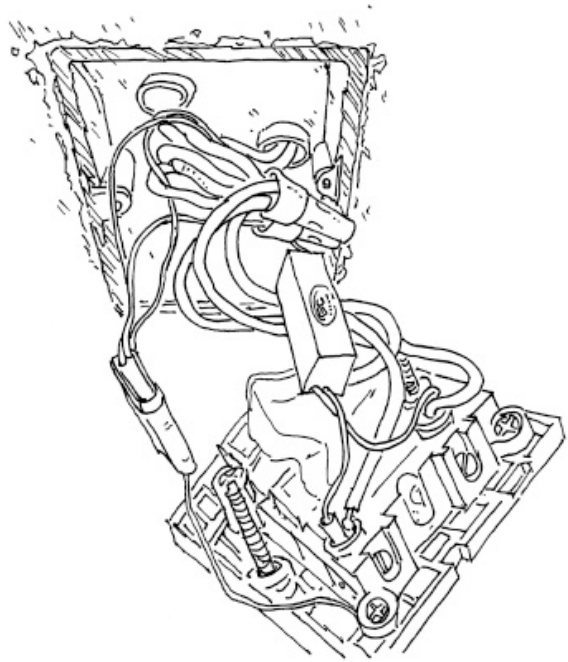
12 процентов выше, чем за тот же период годом раньше. В Германии работало более двух тысяч предприятий с китайскими инвестициями, и вскоре Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии. Мне выдали немецкую визу по ускоренной процедуре, всего за несколько дней.

Я также планировал посетить Великобританию, где на осень того года в Лондоне намечалась моя выставка в Королевской академии художеств. Но в ответ на просьбу предоставить мне шестимесячную британскую визу посольство Великобритании в Пекине заявило, что я утаил судимость (имелось в виду обвинение в уклонении от уплаты налогов). Я сделал все возможное, чтобы разъяснить ситуацию, указав, что меня подставили и похитили из-за антиправительственной оппозиционной деятельности и что мне так и не предъявили официального обвинения, но сотрудников консульства это не убедило. В итоге пришлось вмешаться Терезе Мэй, министру внутренних дел Соединенного Королевства.

В свою очередь, американские дипломаты в Пекине пригласили меня в посольство на встречу с послом, но когда я пришел, меня сразу спросили: «Почему вы не приезжаете в Америку?» В ответ я мог лишь вздохнуть: я только-только вытащил одну ногу из трясины, и мне предстоял долгий путь.

Незадолго до моего отъезда в Германию власти попытались демонтировать жучки, установленные ими ранее в стенах студии (я знал, что они там есть). В свое время я отпраздновал эту находку, взорвав пару петард около передатчика. Но я хотел оставить эти устройства на память. «Это же секретные устройства, — сказал я полиции. — Их не существует. Как я могу вам вернуть то, чего не должно быть?» Они до сих пор у меня.

Тридцатого июля мы с моим другом Ся Сином «под защитой» службы безопасности прибыли в аэропорт. Нас отвели в специальную зону ожидания, интерьер которой выглядел точь-в-точь как зал приемов Дома народных собраний — удобные кресла, большой ковер, картины на стенах. Мне выдали посадочный талон и проводили к выходу на посадку на рейс до Мюнхена.



Подслушивающее устройство, которое я нашел по адресу Цаочанди, 258

Сейчас больше всего на свете я мечтал увидеть Ай Лао. Я хотел, чтобы мы больше никогда не разлучались. Самолет приземлился в Мюнхене в пять часов вечера. Я прошел таможенный контроль раньше, чем успели прибыть Ван Фэнь и Ай Лао, так что заметил издалека, как они идут в мою сторону. Я знал, как они счастливы меня видеть, а они не стали бурно демонстрировать свои чувства, и казалось, будто мы не расставались. Но Ай Лао сказал, что мы с Ван Фэнь — два кусочка пазла и теперь он может их сложить.

Наша с Ай Лао связь напоминает мне собственные отношения с отцом, ведь Ай Лао рано повзрослел, как и я. Я всегда старался отдавать ему должное. Даже если ему до этого нет дела, он мой главный судья, и его одобрение — главная мера успеха моих стараний. Когда я вспоминаю своего отца, я сожалею о том, что в ранние годы меня мало интересовали его трудности, что не проявлял по отношению к нему сочувствия и понимания. В те долгие недели тайного заточения мои главные опасения были связаны не с тем, что могу никогда больше не увидеть сына, а с тем, что не дал ему возможности по-настоящему узнать меня. И тогда мне пришла в голову мысль: если меня выпустят, то для того, чтобы сократить разделяющую нас пропасть, я должен

записать все, что мне известно об отце, и честно рассказать сыну о себе — о том, что значит для меня жизнь, почему так важна свобода и почему автократия так боится искусства. Я надеялся, что мои убеждения превратятся в нечто такое, что он сможет увидеть и понять и умом, и сердцем. Так что, если Ай Лао когда-нибудь захочет узнать больше, все будет готово — и моя собственная история, и история его деда.

Прошлое и настоящее в моей жизни разделились, как кости мертвого животного, со скелета которого давно пропала вся соединительная ткань, и, как я ни стараюсь, мне все еще сложно осмыслить мой жизненный опыт в целом. Ту же проблему я обнаруживаю в своем искусстве. Хотя я не знаю, насколько на меня влияет окружение, оно никогда не ослабляло мое чувство ответственности перед реальностью. Подобно человеку, идущему в ночи под дождем, я знал, что каждый шаг приближает меня к цели, но где же моя цель?

Поскольку искусство обнажает самые сокровенные истины, оно способно нести важную идею. Я считаю, что любая защита свободы неотделима от предпринимаемых усилий, ведь свобода — это не цель, а направление движения, и возникает она именно в процессе сопротивления. Моя ответственность художника состоит в том, чтобы сделать эту идею завораживающей, чтобы от нее захватывало дух. Даже если мое искусство иногда кажется иллюзорным по сравнению с тем, против чего я выступаю, оно останется как часть материальной культуры. Я продолжаю бороться за равенство, ведь именно равенство позволяет человеку максимально реализовать личные интересы в контексте группы. Иными словами, как сказал Ай Лао, «справедливость означает, что все счастливы».

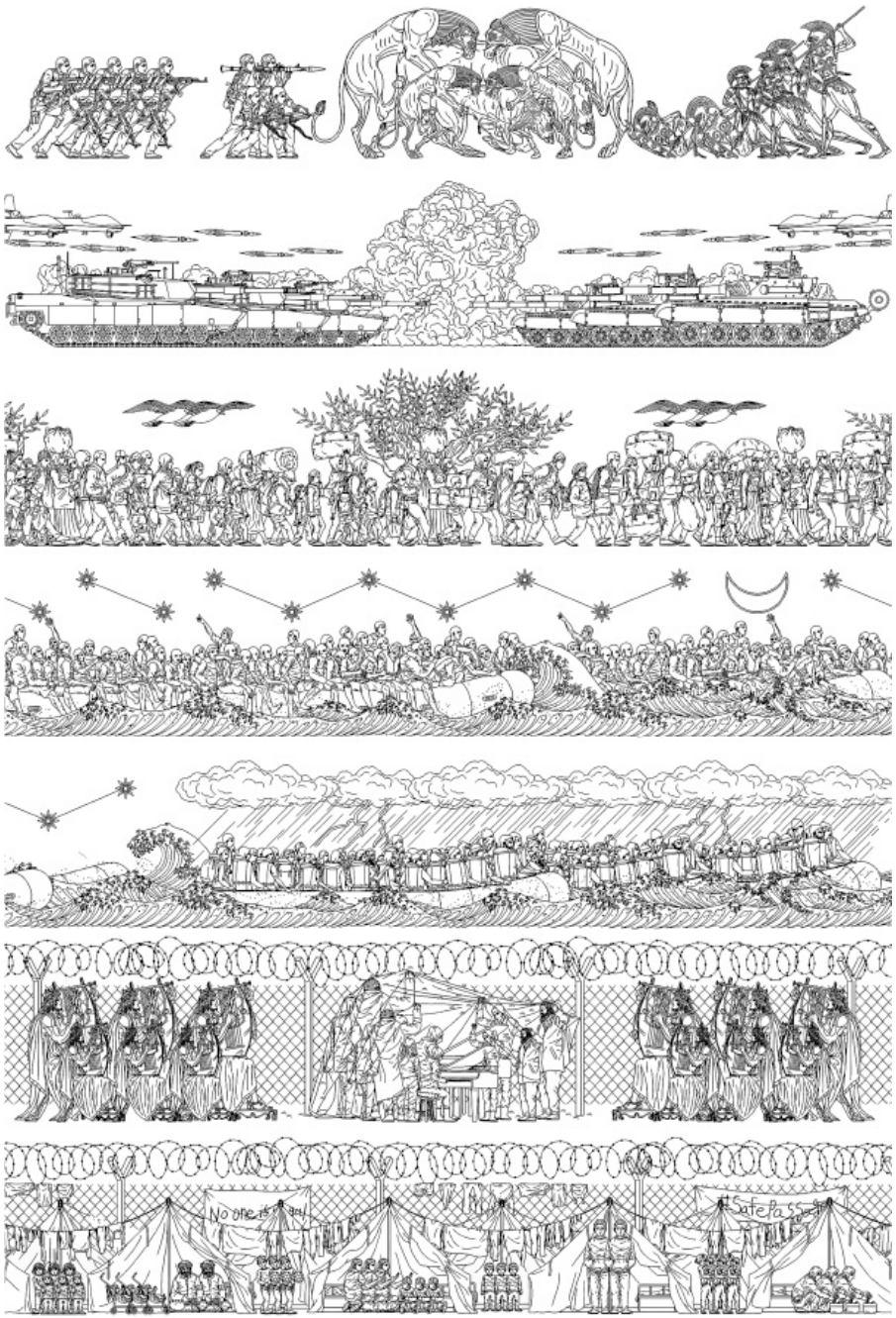
Несмотря на все сложности, с которыми мне пришлось столкнуться, я неуклонно шел своим путем, сознательно избрав свою миссию, я сохранял хладнокровие, даже когда оказывался на краю пропасти, и благодарен за те возможности, которые таит неизвестность.

Меня не волнует, как далеко я зайду или куда эта дорога может меня завести; неважно, что произойдет в будущем, я, несомненно, буду частью этого будущего. Для меня худшее, что может случиться, — это потерять способность к самовыражению, так как это означало бы утрату стремления ценить жизнь и действовать соответственно. Иного пути для меня не существует.

Права, которые я всячески стараюсь защитить, должны быть доступны каждому, но все издержки, связанные с этим, — моя проблема. Эта мысль придает мне сил. Я вспоминаю слова,

написанные отцом после поездки к развалинам древнего города в Синьцзяне, который стоял на Шелковом пути:

> От тысячи лет радостей и печалей
> нет и следа.
>
> Живущий — живи же как следует, в полную силу,
> Не жди, что земля будет помнить.



Что еще я могу добавить? Здесь мне надо остановиться, потому что в этих воспоминаниях не на все я имею право. Я споткнулся на том, что никогда мне не принадлежало, так бывает с пауком, который никак не может сплести нормальную паутину и при очередной попытке рвет уже сделанное.

Моя жизнь пришлась на потрясающую эпоху, чьи благословенные и гибельные моменты говорят о ее величии, а вместе они образуют более или менее правдивую картину. В то же время жизненные иллюзии продолжают влиять на мое бытие. Скажу, пожалуй, так: в те месяцы, пока я не мог воссоединиться с Ай Лао, я записывал то, чего предпочел бы не помнить, так что именно с помощью воспоминаний я смогу все это забыть.

Послесловие

В конце декабря 2015 года мы с Ван Фэнь повезли Ай Лао на греческий остров Лесбос. Это было наше первое совместное путешествие после того, как мне вернули паспорт. За несколько месяцев до нашего приезда к острову ежедневно начали прибывать лодки по десять и больше человек; на них были беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана. Когда я приехал туда и своими глазами увидел все усугубляющийся кризис, связанный с наплывом беженцев, мне пришлось полностью поменять свои планы.

В тот день под бирюзовым небом передо мной расстилалось Эгейское море. Вдалеке я увидел что-то оранжевое, похожее на плот, медленно приближающийся к берегу. Когда он подплыл ближе, я смог рассмотреть резиновую шлюпку, набитую беженцами в оранжевых спасательных жилетах. Я впервые встретил мигрантов, бегущих из растерзанной войной страны, и эта встреча разрушила все мои предрассудки, столкнув лицом к лицу с миром страдания и отчаяния. При виде этой лодки я пережил чувства, близкие к священному откровению.

Лодка пристала, и я услышал плач младенцев вперемежку с криками взрослых. А затем женщины в длинных платьях и бородатые мужчины стали по очереди выбираться из шлюпки на берег. Некоторые настолько ослабели, что их пришлось нести, и они в изнеможении падали на песок.

Хотя я наблюдал эту сцену собственными глазами, потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить увиденное. Я хотел знать, кто эти люди, что привело их к чужим берегам. Они взволнованно вскрикивали и всхлипывали, но я видел, что в глубине души у них безмолвие, здесь они не были дома и не искали помощи и сочувствия. Я ощущал, какой чужой и негостеприимной должна была им казаться эта новая земля. Глядя на их страдания, я чувствовал, будто умирает частичка меня самого.

В последующие месяцы я снимал документальный фильм об этом кризисе, а чтобы лучше понять его причины и последствия, я стал много путешествовать: в лагеря для беженцев на востоке Турции в районе, соседствующем с охваченным войной севером Сирии; в поселения палестинских беженцев в Ливане, основанные более шестидесяти лет назад; в огромные лагеря сирийских беженцев в Иордании и нейтральную зону на северной границе страны. Я съездил в Иерусалим и блокированный сектор Газа, а затем на американо-мексиканскую границу.

Я наведался в новый приют для беженцев в Темпельхофе, бывшем крупном аэропорту Берлина. Но не смог найти никого, кто был готов признать, что это теперь просто лагерь для беженцев, ведь со времен Второй мировой войны европейцы открещивались от мысли, что на их континенте происходят такие трагедии. Я съездил в Идомени, что на границе Греции и Македонии, где застряло более десяти тысяч беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и Пакистана: дорогу, ведущую на север, в Европу, вдруг перекрыли, разбив надежды и мечты бесчисленных семей, которым пришлось покинуть свои дома. Проведя несколько месяцев за интервью и съемками, я полнее осознал масштаб и серьезность этой ужасающей гуманитарной катастрофы.

На протяжении этого периода постоянно появлялись новости о беженцах, утонувших при попытке пересечь море: в 2015 году в Эгейском море тонуло по два ребенка в день, и люди в конце концов устали от таких историй. В большинстве европейских стран беженцам не предоставляли никакой помощи, и дискриминация людей, переживших вооруженный конфликт, часто была не менее жестока, чем сами войны, от которых они бежали. И, что самое горькое, никакие опасности путешествия и трудности, поджидающие на другом берегу, не могли ослабить их решимость. Они продолжают прибывать, словно наводнение, главное для них было, чтобы их дети выжили, несмотря на предвзятое отношение к ним, только бы не видеть, что им угрожает смерть на истерзанной войной родине.

Я возвращаюсь мыслями к отцу, к тем дилеммам, с которыми он сталкивался, и решениям, которые ему приходилось принимать. Когда человек переносит испытания, больше всего он хочет, чтобы следующее поколение избежало страданий, подобных его собственным: для изгнанников дети становятся последней надеждой, ведь, если потерять своего ребенка, переезд теряет всякий смысл. И мой отец, и мой сын, и я сам пришли к одному и тому же: все мы уехали из родной страны. Чувство принадлежности чрезвычайно важно для самоидентификации, ведь только с ним можно найти душевный покой. Как гласит китайское изречение, «обрети мирное пристанище и прими свой удел» (*ань шэнь ли мин*). Не имея чувства принадлежности, потеряв язык, я испытываю тревогу и сомнения перед лицом столь же тревожного мира.

Лесбос помог мне понять, чего мне не хватает, а это, в свою очередь, помогло увидеть, как жизнь в изгнании, повлиявшая на моего отца, теперь формирует и личность моего ребенка, подобно тому, как тень следует за формой. С 2011 года, когда в Сирии

разгорелся конфликт, дома пришлось покинуть почти десяти миллионам беженцев — они оставили места, наполненные воспоминаниями, и потеряли связь и со своим языком, и со своими эмоциями. Когда пропадает память одного человека или целого народа, остается печаль, похожая на бездонную черную дыру.

Отказ забывать обогащает жизнь новыми реалиями, и этот акт неповиновения стал моей миссией. В 2016 году я решил обернуть классические колонны берлинского Концертного зала тысячами спасательных жилетов, а для своей выставки «Закон путешествия» (Law of the Journey) в Национальной галерее Праги я создал резиновую лодку длиной в двести футов (61 м), наполненную 260 резиновыми человеческими фигурами. В 2017 году, работая над документальным фильмом «Человеческий поток» (Human Flow), я собрал одежду, которую носили беженцы, скитаясь по Европе с места на место. В своих бесконечных путешествиях им часто приходилось бросать привезенные из дома вещи, которые какое-то время дарили им тепло и комфорт. В освободившихся лагерях беженцев мы собирали оставленные детские игрушки, женские шарфы и мужские куртки, и я отправлял все эти брошенные пожитки в свою берлинскую студию, где их чистили и каталогизировали. Этим проектом я надеялся напомнить тем, кто живет спокойной жизнью, что внешне все мы похожи и отличают нас друг от друга только обстоятельства, воспоминания и взгляды. Если придерживаться такого взгляда, неужели мы не сможем положить конец неприятию, отчуждению и враждебности?

Мои работы, посвященные мигрантам, по форме соотносятся с проектами, интересовавшими меня в прошлом. Кем бы меня ни считали — художником, активистом, гражданином, — я всегда стремился объединить эти разные роли и добиться в своих исследованиях, документальных фильмах и выставках эффективного взаимодействия между формой и языком. Кризис с наплывом беженцев дал мне возможность выйти за рамки противостояния китайской диктатуре и перейти к более универсальным наблюдениям за человеческой природой, полнее выразить свое понимание прав человека.

Художественное творчество так персонифицировано, что часто идет вразрез с задачами государства, и мои произведения обычно противоречат воле большинства и воле государства. Все мы неизбежно несем отпечаток своей эпохи и культуры, а искусство служит лишь первопроходцем коллективной рефлексии: оно привлекает внимание группы людей, или нации, к какому-то вопросу и расширяет границы познания.

Я политический изгнанник, и мое понимание свободы заставляет меня противостоять авторитаризму своей родной страны. Решив уехать из Китая, я лишился чувства принадлежности и незыблемых основ, плывя по течению, словно ряска. Но теперь моя страна столкнулась с очень похожей проблемой, поскольку она отвергает память и отказывается честно признать необходимость построения здорового общества и учреждения справедливого политического устройства. В то время как Китай становится все более могущественным, моральный упадок страны сеет тревогу и настроения неопределенности во всем мире.

Сегодня все больше людей вынуждены покидать родные места по самым разнообразным причинам: из-за войны, религиозной дискриминации, политического преследования, экологической ситуации, голода, бедности. Сумеем ли мы когда-нибудь справиться с этими напастями? Способна ли цивилизация, построенная на страданиях других, продолжаться бесконечно? И кто может быть уверен, что ему самому не придется однажды расстаться с домом и отправиться к чужим берегам только для того, чтобы там столкнуться с дискриминацией и необходимостью умолять о сочувствии?

Судьбы трех наших поколений — моего отца, моего сына и меня самого — тесно переплетены с бесчисленными судьбами других людей, которых мы не знаем и никогда не встретим. Поэтому мне особенно важно высказать то, что у меня на душе, поделиться этим с другими и быть услышанным. Самовыражение — суть человеческого бытия. Не будь звука человеческих голосов, тепла и цвета в нашей жизни, не будь внимательных взглядов, Земля была бы всего лишь бесчувственным камнем, висящим в космосе.

Благодарности

Идея написать эту книгу пришла мне в голову после того, как в 2011 году меня задержала полиция. В период вынужденной изоляции я почувствовал потребность осмыслить мои отношения с отцом, Ай Цином. Хотя мы не были эмоционально близки, наша связь, несомненно, сказалась на моем выборе жизненного пути и на ситуации, в которой я оказался. Отчасти и мне пришлось пережить те личные испытания и политические репрессии, с которыми столкнулся отец, и, подобно ему, я получил клеймо врага народа. Так я решился написать о его и о своей жизни и поделиться этими воспоминаниями с сыном, Ай Лао, которому на момент моего ареста исполнилось два года. Когда меня выпустили после восьмидесяти одного дня заключения, первым делом я стал надиктовывать свою историю на пленку, начиная с похищения и последовавших за ним событий, чтобы не упустить детали, пока они свежи в памяти.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Питера и Эми Бернстайн, при содействии которых мне удалось подписать договор о публикации книги с Penguin Random House. Я безмерно благодарен им за это.

С момента моего ареста прошло уже почти десять лет, и я радуюсь завершению этого проекта не в последнюю очередь потому, что понимаю, как слабо был изначально подготовлен к обсуждению событий и исторических реалий, затронутых в книге. В связи с этим я хотел бы поблагодарить авторов более ранних биографий моего отца, это Чэн Гуанвэй, Ло Ханьчао, Е Цзинь и Чжоу Хунсин. Приведенные в их работах материалы и хронологические таблицы оказались очень полезными для меня. Я также с благодарностью признаю бескорыстный вклад членов команды моей студии, которые проверяли достоверность бесчисленных фактов как семейной истории, так и национальной, которая часто грешит неоднозначностью и неточностью официальных записей. Особенно хочу отметить великодушную помощь Сюй Е, который был вовлечен в этот проект от начала до конца. Другие члены моей команды: Дженнифер Ын и Сунь Мо — помогали мне с проверкой фактов и корректурой, а Кимберли Сун, Яп Чхиньчхинь и Ли Дунсюй — с редактированием иллюстраций и фотографий. Я выражаю признательность Маргарите Федоровой и Пьерпаоло Пренолато из Damocle Edizioni, которые подобрали шрифты для обложки книги.

Хочу выразить сердечную благодарность редакторам Crown, которые поверили в меня и следили за работой над рукописью на

всех этапах. При первой редактуре бесценные советы, полученные от Рейчел Клейман и Меган Хаузер, задали мне нужное направление по переработке текста. Я также воспользовался рекомендациями второй команды редакторов, Джиллиан Блейк и Либби Бертон, которые предложили серьезно изменить структуру книги; благодаря их опыту и полезным инструкциям по поводу того, как сделать книгу наиболее удобной для чтения, она приняла свой окончательный вид. Я также благодарю Дэвида Дрейка и Молли Стерн, чьи предложения и поддержка были незаменимы.

Моя отдельная благодарность переводчику Аллану Барру. Я считаю, что мне очень повезло работать с ним. Глубокое понимание китайской истории и культуры помогло Аллану справиться с моим текстом на китайском, а его естественная и ясная манера изложения во многом компенсировала недостатки моего исходного текста. Благодаря простому, непринужденному стилю повествования перевод, несомненно, порадует англоязычных читателей.

И наконец, я хотел бы поблагодарить свою мать Гао Ин и сестру Линлин, которые помогли отыскать нужные материалы и проверить точность деталей, а также брата Ай Даня, который подбадривал меня и давал советы по писательскому мастерству. Я благодарю свою спутницу жизни Ван Фэнь и нашего сына Ай Лао; без их поддержки и понимания на протяжении последних десяти лет мне было бы очень сложно закончить эту книгу.

Ай Вэйвэй,

4 марта 2021 года

Описания иллюстраций

Жуи, 2006 год

Жуи — традиционный китайский церемониальный жезл, символ богатства и бессмертия. В фарфоровой скульптуре «Жуи» (Ruyi) Ай использовал формы человеческих органов.

Набросок Шанхая, 1979 год

Рисунок изображает вид Шанхая. В первый год обучения в Пекинской киноакадемии Ай приезжал туда на стажировку; это была его первая поездка в Шанхай.

Лес, 1977 год

Этот рисунок был использован на обложке антологии поэзии Ай Цина «Избранные стихотворения Ай Цина», опубликованной в Китае в 1979 году.

Рисунки фигур, 1982 год

Рисунки, которые Ай сделал на занятии в Калифорнийском университете в Беркли в первый год пребывания в США.

Висячий человек (Hanging Man), 1985 год

Ай в качестве оммажа французскому художнику Марселю Дюшану изобразил его профиль с помощью проволочной вешалки.

Битье бело-голубых чаш с рисунком дракона, 1996 год

Рисунок разбитой антикварной фарфоровой чаши.

Бамбуковый палец (Bamboo Finger), 2015 год

Это рисунок из серии работ Ай Вэйвэя «Изучение перспективы» (Study of Perspective, с 1995 года по настоящее время).

Взрыв (Bang), 2013 год

Рисунок инсталляции из деревянных табуретов. «Взрыв» был выставлен в павильоне Германии на Венецианской биеннале в 2013 году.

Фрагменты (Fragments), 2005 год

Рисунок инсталляции, сделанной из колонн и стропил разобранных храмов эпохи Цин (1644–1912).

Эскиз к «Шань хай цзину» (Study of Shanhaijing), 2015 год

Рисунок серии работ из бамбука, сделанных с применением традиционных технологий изготовления воздушных змеев. «Шань хай цзин» («Каталог гор и морей») — китайский трактат о мифологии и географии (IV век до н. э.).

Шаблон (Template), 2007 год

Из снесенных домов были спасены тысяча и одна деревянная дверь и оконная рама эпохи Мин (1368–1644). «Шаблон» выставлялся на двенадцатой «Документе» в Касселе. После того как работу снесла гроза, Ай заявил, что работа обрела новое лицо.

Арматура, 2012 год

Рисунок деформированного куска арматуры, найденного после сычуаньского землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года. Среди восьмидесяти тысяч жертв этого землетрясения было более пяти тысяч учеников, задавленных обломками обрушившихся школ. Ай собрал искореженную арматуру среди обломков этих зданий и использовал в работе.

Эскиз к работе «Круг животных / Головы Зодиака» (Study of Circle of Animals/Zodiac Heads), 2011 год

Рисунок серии скульптур, изображающих двенадцать голов животных.

Семена подсолнечника (Sunflower Seeds), 2010 год

Ай засыпал пол Турбинного зала галереи «Тейт Модерн» сотней миллионов фарфоровых семечек.

Речные крабы / Хэ Се (He Xie), 2010 год

Рисунок фарфоровой скульптуры, в которой Ай изобразил речных крабов. На китайском «хэсе» — омоним слова «гармония», которое используется в качестве эвфемизма для государственных репрессий.

Панда для панды (Panda to Panda), 2015 год

Рисунок сувенирной игрушки. Игрушка набита измельченными копиями документов Агентства национальной безопасности, опубликованных Эдвардом Сноуденом, а внутри — устройство для чтения карт и карта памяти MicroSD.

Пепельница, 2011 год

Рисунок пепельницы, наполненной окурками.

Мраморная коляска, 2014 год

Рисунок работы «Мраморная коляска» — мраморной скульптуры, изображающей коляску сына Ай Вэйвэя.

Останки (Remains), 2015 год

Рисунок произведения «Останки» — фарфоровой скульптуры, изображающей человеческие останки. Кости были собраны в пустыне, где находился трудовой лагерь для ссылки тысяч интеллигентов; многие из них погибли от болезней и истощения.

Жучки, 2015 год

Рисунок подслушивающего устройства, спрятанного в розетках студии Ай Вэйвэя.

Одиссея, 2016 год

Рисунок обоев, изображающих странствующих беженцев.

Об авторе

Ай Вэйвэй родился в 1957 году в Пекине, столице Китая. В начале 1980-х годов жил в США, в 1993 году вернулся в Пекин, а с 2015 года живет в Европе.

Ай Вэйвэй — художник, который защищает права человека и свободу слова. Он активный пользователь социальных сетей, и его работы хорошо знакомы широкой публике. Среди его выставок — «Сказка» (Fairytale) в рамках двенадцатой «Документы» в Касселе (2007), «Семена подсолнечника» (Sunflower Seeds) в «Тейт Модерн» в Лондоне (2010), «Свидетельство» (Evidence) в Мартин-Гропиус-Бау в Берлине (2014), «Ай Вэйвэй» в Королевской академии художеств в Лондоне (2015), «Может, да, а может, нет» (Maybe, Maybe Not) в Музее Израиля в Иерусалиме (2017), «Ай Вэйвэй о фарфоре» (Ai Weiwei on Porcelain) в Музее Сакыпа Сабанджи в Стамбуле (2017), «Хорошие заборы — хорошие соседи» (Good Fences Make Good Neighbors) в Нью-Йорке (2017–2018), «Корни» (Raiz) в OCA в Сан-Паулу (2018) и «Около 20:20» (Circa 20:20) в Лондоне (2020). В числе его полнометражных документальных фильмов — «Человеческий поток» (Human Flow, 2017) и «Коронация» (Coronation, 2020).

Ай Вэйвэй — лауреат нескольких наград, в том числе Премии Вацлава Гавела за творческое инакомыслие, вручаемой Фондом защиты прав человека, и премии «Посол совести» от организации «Международная амнистия» (2015).

О переводчике с китайского языка на английский

Аллан Барр — автор труда на китайском языке о литературной инквизиции времен империи Цин под названием «Цзяннаньское бедствие: дело Чжуан Тинлуна и „Истории империи Мин“ в текстах современников» (*Цзяннань и цзе: Цин жэнь бися дэ Чжуан ши шиань* 江南一劫:清人笔下的庄氏史案), а также переводчик нескольких книг современных китайских писателей, в том числе «Десять слов про Китай»[53] Юй Хуа и «Это поколение» (This Generation) Хань Ханя. Он преподает китайский язык в Помонском колледже, штат Калифорния.

Источники иллюстраций

[1] судно André Lebon.

M. M. — CCI Aix Marseille Provence Collection, photography copyright © Marie Caroll. Reprinted by permission of Marseille Cultural Review

[2] предоставлено Цзян Фэном

Все иллюстрации — рисунки автора, если не указано иное.

Все фотографии в конце книги предоставлены автором.

Фотографии

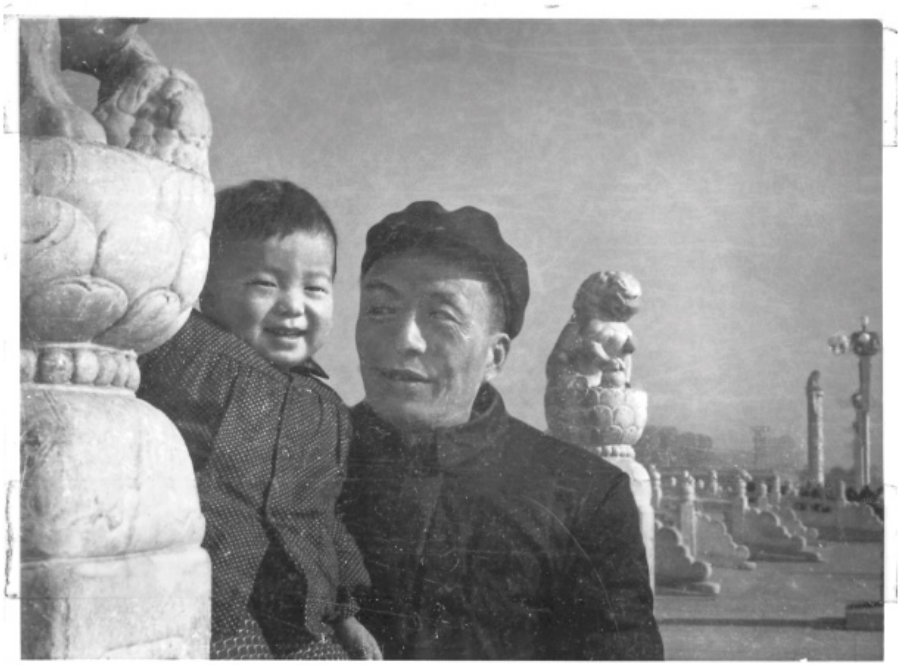
Ай Цин в пригороде Парижа, Франция, сентябрь 1930 года. Слева направо: Тан Ихэ, У Цзожэнь, Ай Цин и Чжоу Гуй

Ай Цин в Чанчжоу, провинция Цзянсу, Китай, 1936 год, когда он преподавал китайский язык в женском педагогическом училище в Уцзине

Пабло Неруда и Ай Цин на лодке в Ухане, Китай, июль 1957 года

Ай Вэйвэй и Ай Цин в Госхозе 852, провинция Хэйлунцзян, Китай, 1958 год

Ай Вэйвэй в Госхозе 852, провинция Хэйлунцзян, Китай, 1958 год



Ай Вэйвэй с Ай Цином на площади Тяньаньмэнь, Пекин, Китай, ноябрь 1959 года

Гао Ин и Ай Вэйвэй в Шихэцзы, автономный район Синьцзян, Китай, 1962 год

Ай Цин и Ай Вэйвэй дома в Дунчэне, Пекин, 1980 год

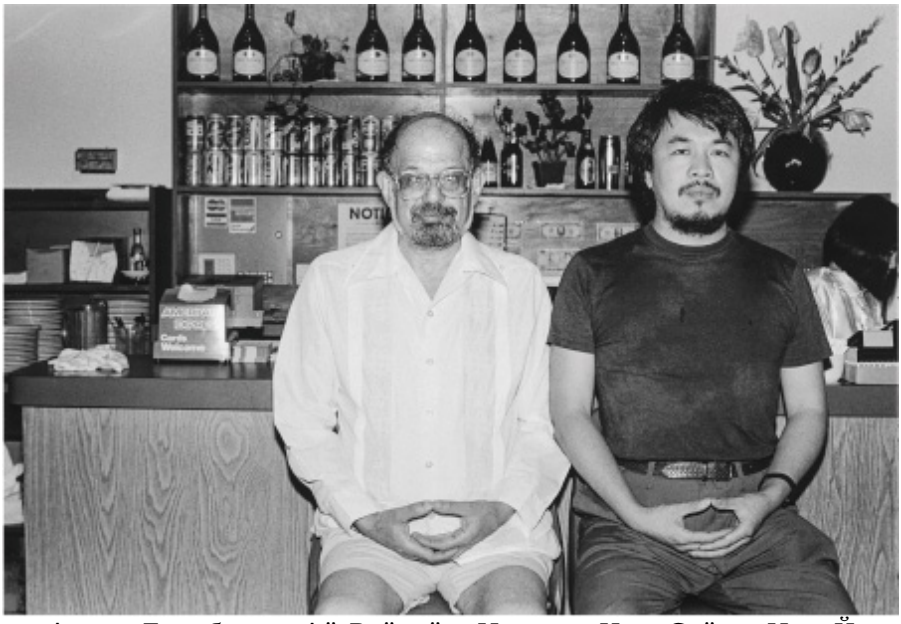
Ай Цин после освобождения из лагеря «трудового перевоспитания», Пекин, 1980 год

Ай Вэйвэй в Нижнем Ист-Сайде, Нью-Йорк, 1985 год

Ай Дань и Ай Вэйвэй перед входом в клуб Pyramid, Нью-Йорк, 1987 год

Ай Вэйвэй стоит позади работы Марселя Дюшана «Быть увиденным (с другой стороны стекла)» (To Be Looked At (fr om the Other Side), Музей современного искусства, Нью-Йорк, 1987 год

Ай Вэйвэй на Таймс-сквер, 1987 год



Аллен Гинзберг и Ай Вэйвэй в Нижнем Ист- Сайде, Нью-Йорк, 1988 год

Кит Харинг на демонстрации ACT UP в Нью- Йорке, 1989 год

Площадь Тяньаньмэнь, Пекин, 1995 год

Июнь 1994 года, черно-белая фотография

Падающая глиняная ваза эпохи Хань, 1995 год, три черно-белые фотографии

Ай Вэйвэй и Ай Цин в своем доме в Дунсы Шисаньтяо, Пекин, 1995 год

Глиняная ваза эпохи Хань с логотипом Coca-Cola, империя Западная Хань (206 г. до н. э. — 24 г. н. э.); краска, 25 × 28 × 28 см, 1993 год

Студия Ай Вэйвэя в Цаочанди в процессе строительства, Пекин, 1999 год

Жак Херцог, Ай Вэйвэй и Пьер де Мёрон на стройплощадке Национального стадиона, Пекин, 2007 год

Ай Вэйвэй в клинике Мюнхенского университета, Мюнхен, Германия, сентябрь 2009 года

Ай Лао, гуляющий по «Семенам подсолнечника» в «Тейт Модерн», Лондон, 2010 год

Ай Вэйвэй и его «Круг животных» (Circle of Animals). Собака. 2010 год, бронза, 302,3 × 134,6 × 172,7 см

«Прямо» (Straight), арматура, 2500 × 600 см (2008–2012 годы), и «Список имен» (Namelist), содержащий 5196 имен школьников, ставших жертвами сычуаньского землетрясения, черно-белая печать (2008–2011 годы). Инсталляция, показанная в Бруклинском музее, Нью-Йорк, 2014 год

Ван Фэнь и Ай Лао, воссоединившиеся с Ай Вэйвэем, Мюнхен,

Германия, 30 июля 2015 года

Ай Вэйвэй на берегу острова Лесбос, Греция, 2016 год

Рекомендуем книги по теме

Источник
Айн Рэнд

Лондон: Биография
Питер Акройд

Клятва Ганнибала: Жизнь и войны величайшего врага Рима
Джон Превас

Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

Стивен Пинкер

notes

Примечания

1

Перевод Ю. А. Дрейзис.

2

Перевод Ю. А. Дрейзис.

3

Ай Вэйвэй родился в 1957 году в Пекине. — *Прим. ред.*

4

Конфуций — латинизированный вариант имени Кун-фу-цзы. Конфуций происходил из знатного рода Кун. — *Прим. пер.*

5

Оруэлл Джордж. Фунты лиха в Париже и Лондоне / Пер. с англ. Веры Домитеевой. — СПб.: Азбука-классика, 2003.

6

Аннам (букв. «Укрощенный юг») — название северной части современного Вьетнама в период китайской колонизации. — *Прим. науч. ред.*

7

Перевод Ю. А. Дрейзис.

8

Перевод Ю. А. Дрейзис.

9

Согласно общепринятой системе транскрипции китайского языка на русский язык (системе Палладия), имя Чан Кайши на русском должно записываться как Цзян Цзеши. Но, поскольку информация о нем впервые попала в русский через переводы с других языков, устоявшееся написание — Чан Кайши. — *Прим. пер.*

10

Перевод Ю. А. Дрейзис.

11

Скорее всего, имеется в виду сборник фантастических новелл «Странные истории Ляо Чжая» (*Ляо чжай чжи и*) китайского писателя Пу Сунлина (1640–1715). — *Прим. науч. ред.*

12

Перевод Ю. А. Дрейзис.

13

Перевод Л. Е. Черкасского.

14

Перевод Ю. А. Дрейзис.

15

Перевод Л. Е. Черкасского.

16

Шанхайская резня 1927 года — массовое истребление китайских коммунистов, учиненное 12 апреля 1927 года силами Гоминьдана и его союзниками в Шанхае. — *Прим. ред.*

17

Перевод Ю. А. Дрейзис.

18

Перевод Ю. А. Дрейзис.

19

Перевод И. С. Смирнова.

20

Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. — М.: Издательство иностранной литературы, 1953. — С. 119–173. (Последнее предложение цитаты в опубликованном тексте «Выступлений на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани» отсутствует.) — *Прим. науч. ред.*

21

Это буквальный перевод слова 走狗 *цзоугоу* — уничижительного обозначения беспринципного человека, слепо следующего чьим-то приказам, холуя. Мао Цзэдун часто употреблял его применительно к американским империалистам. — *Прим. ред.*

22

Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. — Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 1969. — С. 113–120. — *Прим. науч. ред.*

23

С 1368 по 1405 год, а потом с 1928 по 1949 год Пекин называли Бэйпин. Это связано с переносом столицы в Нанкин в указанные периоды, так как Пекин буквально означает «Северная столица», а Нанкин — «Южная столица». — *Прим. пер.*

Ли — китайская мера длины, равная 0,5 км. — *Прим. науч. ред.*

25

Большой энциклопедический словарь китайского языка, составленный в 1936 году. — *Прим. пер.*

Деятельность Meta Platforms inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

27

«Речь на Всекитайском совещании КПК по вопросам пропагандистской работы» (12 марта 1957 года). — *Прим. науч. ред.*

28

Перевод Ю. А. Дрейзис.

29

Перевод Ю. А. Дрейзис.

30

Перевод Ю. А. Дрейзис.

31

Перевод В. Н. Марковой.

32

Уорхол Энди. Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот). — М.: Ад Маргинем, 2016.

33

The Cooper Union for the Advancement of Science and Art — частное учебное заведение на Манхэттене. — *Прим. ред.*

Напиток из молока и содовой с сиропом. — *Прим. ред.*

35

Марсель Дюшан первым ввел в художественную практику понятие «реди-мейд» (англ. ready-made — «готовый»), подразумевающее, что создание произведения искусства происходит в момент помещения предмета массового производства в художественный контекст — в музей, галерею, на выставку. — *Прим. ред.*

36

ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power — СПИД-коалиция для мобилизации силы, международная организация, добивающаяся улучшения качества жизни больных СПИДом, а также соответствующих законодательных изменений. — *Прим. пер.*

37

Лимб (лат. limbus — «рубеж, край, предел») — в католичестве промежуточное состояние или место пребывания не попавших на небеса душ, не совпадающее, однако, с адом или чистилищем. — *Прим. ред.*

38

Перевод Ю. А. Дрейзис.

39

Терракотовая армия — около 8000 статуй воинов и лошадей, найденных в месте их захоронения у мавзолея императора Цинь Ши-хуанди в Сиане. — *Прим. ред.*

40

Морской контейнер 40 футов имеет длину 12,192 м, ширину — 2,438 м, высоту — 2,591 м. — *Прим. ред.*

41

Китайское название фильма — «Хуалянь Ба эр» (букв. «Румяное дитя Сычуани»). — *Прим. науч. ред.*

42

В изобразительных видах искусства репрезентативное искусство противопоставлено абстрактному и подразумевает узнаваемые образы из реального мира. — *Прим. ред.*

Деятельность Meta Platforms inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

Деятельность Meta Platforms inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

45

Бои — один из легендарных сыновей иньского правителя Гучжу-цзюня, его история служит примером братской любви: они с братом Шуци отказались от управления государством в пользу друг друга. — *Прим. науч. ред.*

46

Аббревиатура S.A.C.R.E.D. образована первыми буквами названий шести сцен, представленных в проекте: Supper (Ужин), Accusers (Обвинители), Cleansing (Очищение), Ritual (Ритуал), Entropy (Энтропия) и Doubt (Сомнение). По звучанию аббревиатура S.A.C.R.E.D. отсылает к слову sacred — «святой, священный, сакральный» и т. д. — *Прим. ред.*

Деятельность Meta Platforms inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

Деятельность Meta Platforms inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

Деятельность Meta Platforms inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

50

Автором понятия «негативная свобода» считается Исаак Берлин, который в лекции 1958 года «позитивной свободе» противопоставляет «негативную». Последняя, в частности, предполагает невмешательство посторонних в жизнь индивида и является центральной идеей либертарианского мировоззрения. — *Прим. ред.*

51

Перевод Л. Е. Черкасского.

Деятельность Meta Platforms inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

53

Юй Хуа. Десять слов про Китай / Пер. с кит. Р. Г. Шапиро. — М.: Астрель, 2012. — *Прим. науч. ред.*